# Отверженные. Часть IV. Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени

# Виктор Гюго

Перевод Н. А. Коган

### Книга первая

### Несколько страниц истории

#### Глава 1

#### Хорошо скроено

Два года, 1831-й и 1832-й, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет — как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслоившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то возникают, то исчезают ежеминутно под грозовыми облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души.

Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты.

Попытаемся это сделать.

Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение, иначе говоря, была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного — мира; у всех одно притязание — умалиться. Это означает — жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, великие люди — нет, покорно благодарим, довольно их видели, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на Прузия, а Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй — с Робеспьером, третий — с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели.

Уставшее самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитое богатство ищут, требуют, умоляют, добиваются — чего? Пристанища. Они его обретают. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом. Они довольны. Однако в это же время возникают некоторые факты, которые заявляют о себе и в свою очередь стучатся в дверь. Эти факты порождены революциями и войнами, они есть, они существуют, они имеют право занять свое место в обществе, и они занимают его. Чаще всего факты — это квартирмейстеры и фурьеры, только подготовляющие квартиры для принципов.

И вот что открывается тогда перед политическим мыслителем.

Пока утомленные люди требуют покоя, совершившиеся факты требуют гарантий. Гарантия для фактов — то же, что покой для людей.

Это то, что Англия требовала от Стюартов после протектората; это то, что Франция требовала от Бурбонов после Империи.

Эти гарантии — требование времени. Волей-неволей приходится на них соглашаться. Короли их «даруют», в действительности же их дает сила обстоятельств. Истина глубокая и полезная, чего Стюарты не подозревали в 1660 году и что даже не пришло в голову Бурбонам в 1814-м.

Обреченная династия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела роковую наивность верить, что дарует именно она и что дарованное может быть ею взято обратно; что дом Бурбонов обладает священным правом, а Франция не обладает ничем, что политические права, пожалованные Людовиком XVIII, — всего только ветвь священного права, отломленная династией Бурбонов и милостиво дарованная народу до того дня, когда королю заблагорассудится взять ее обратно. Однако уже по тому неудовольствию, которое причинял Бурбонам этот дар, они должны были чувствовать, что он исходит не от них.

Они были угрюмы в девятнадцатом веке. Они хмурились при каждом новом подъеме нации. Бурбоны «надулись» — воспользуемся этим ходовым выражением, то есть народным и верным. Народ это видел.

Династия полагала, что она сильна, так как Империя исчезла перед нею, словно театральная декорация. Она не заметила, что сама появилась таким же способом. Она не видела, что находится в тех же руках, которые убрали прочь Наполеона.

Она полагала, что у нее есть корни, потому что за нею прошлое. Она заблуждалась: она составляла только часть прошлого, а прошлым была Франция. Корни французского общества были не в Бурбонах, а в нации. Эти скрытые и живучие корни составляли не право какой-либо одной семьи, а историю народа. Они тянулись повсюду, но только не под троном.

Дом Бурбонов был для Франции блистательным и кровавым средоточием ее истории, но он не представлял больше важнейшего элемента ее судьбы и необходимой основы ее политики. Можно было обойтись без Бурбонов; без них и обходились двадцать два года; здесь был пробел, а они этого и не подозревали. Да и как могли они это подозревать, — они, полагавшие, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII — в день битвы при Маренго? Никогда, от первых дней истории, государи не были столь слепы перед лицом фактов и перед той долей божественной власти, которую эти факты содержат и возвещают. Никогда еще эти притязания бренного мира, именующиеся правом королей, не отрицали до такой степени высшего права.

Это существеннейшая ошибка Бурбонов, приведшая их к тому, что они вновь наложили руку на гарантии, «дарованные» в 1814 году, на эти «уступки», как они их называли. Печальное явление! То, что они именовали своими «уступками», было нашими завоеваниями; то, что они называли «незаконным захватом», было нашим законным правом.

Когда, по ее мнению, час пробил, Реставрация, вообразив, что она победила Наполеона и укоренилась в стране, то есть поверив в свою силу и устойчивость, внезапно приняла решение и отважилась на удар. Однажды утром она стала лицом к лицу с Францией и, возвысив голос, начала оспаривать право народное и право личное: у нации верховное главенство, у гражданина — свободу. Другими словами, она попыталась отнять у нации то, что делало ее нацией, и у гражданина то, что делало его гражданином.

В этом сущность тех знаменитых актов, которые называются июльскими ордонансами.

Реставрация пала.

Она пала по справедливости. Тем не менее, признаем это, она не была до конца враждебной всем формам прогресса. Бок о бок с нею свершилось немало великих событий.

При Реставрации нация привыкла совмещать споры со спокойствием, чего не было при Республике, и величие — с миром, чего не было при Империя. Сильная и свободная Франция являлась ободряющим примером для других народов Европы. При Робеспьере слово взяла Революция; при Бонапарте слово взяли пушки; при Людовике XVIII и Карле Х слово взяла мысль. Ветер утих, светоч зажегся снова. На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума. То было великолепное, поучительное и привлекательное зрелище. В течение пятнадцати лет, при невозмутимом мире, совершенно открыто действовали великие принципы, столь старые для мыслителя, столь новые для политического деятеля: равенство перед законом, свобода совести, свобода слова, свобода печати, доступ ко всем должностям всех способных людей. Так продолжалось до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в руках провидения.

Падение Бурбонов было исполнено величия, проявленного, однако, не ими, а нацией. Они покинули трон с чинной важностью, но без всякой внушительности; они ушли во тьму, но это не было одним из тех торжественных исчезновений, которые оставляют мрачный волнующий след в истории; это не было ни потустороннее спокойствие Карла I, ни орлиный клекот Наполеона. Они просто ушли, вот и все. Они сняли корону и не сберегли ореола. Они совершили это с достоинством, но не королевским. В какой-то степени они оказались ниже величия постигшего их несчастья. Карл Х по пути в Шербург распорядился сделать из круглого стола четырехугольный и, казалось, был более обеспокоен угрозой этикету, чем крушением монархии. Такая мелкость его натуры опечалила людей преданных, которые любили королевскую семью, и людей положительных, чтивших королевский род. Зато народ был достоин восхищения. Нация, атакованная однажды утром, почувствовала в себе столько силы, что даже не разгневалась на этот своего рода королевский вооруженный мятеж. Она дала отпор, но сдержалась, поставила все на место, вернула управление страной в рамки закона, Бурбонов — в изгнание и, увы, на этом остановилась. Она извлекла старого короля Карла Х из-под того балдахина, что осенял Людовика XIV, и тихонько поставила его на землю. Она коснулась особ королевского дома лишь с грустью и осторожностью. Не один и не несколько людей, а Франция, вся Франция, победоносная и опьяненная своей победой, казалось, вспомнила и осуществила перед всем миром эти замечательные слова Гильома дю Вэра, сказанные им после дня баррикад: «Тем, кто привык срывать цветы милости у великих мира сего и перепрыгивать, словно птичка с ветки на ветку, от скорбящих к преуспевающим, легко быть дерзким к своему государю, когда его постигнет злая судьба; я же всегда буду чтить жребий моих королей, особливо скорбящих».

Бурбоны унесли с собой уважение Франции, но не ее сожаление. Как мы уже сказали, они оказались мельче постигшего их несчастья. Они исчезли с горизонта.

Июльская революция тотчас приобрела друзей и врагов во всем мире. Одни устремились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись, каждый сообразно своей природе. Государи Европы, словно совы на этой утренней заре, в первую минуту ослепленные и растерянные, зажмурились и открыли глаза только для того, чтобы перейти к угрозам. Испуг их понятен, гнев вполне объясним. Эта странная революция почти не была потрясением, она даже не оказала побежденным Бурбонам чести обойтись с ними как с врагами и пролить их кровь. В глазах деспотических правительств, всегда заинтересованных в том, чтобы свобода очернила самое себя, Июльская революция была виновна в том, что, будучи грозной, она проявила кротость. Ничего, впрочем, не было против нее замышлено или предпринято. Самые напуганные, самые недовольные, самые раздраженные приветствовали ее. Как бы мы ни были эгоистичны и злопамятны, нам внушают таинственное уважение события, в которых ощущается соучастие кого-то, действующего в области более высокой, чем это дано человеку.

Июльская революция — торжество права, повергшего во прах грубый факт. Событие, исполненное величия.

Право, повергшее во прах грубый факт! Отсюда блеск революции 1830 года, отсюда и ее снисходительность. Торжествующему праву нет нужды прибегать к насилию.

Право — это все то, что истинно и справедливо.

Неотъемлемая черта права — пребывать вечно прекрасным и чистым. Факт, даже как будто самый неизбежный, даже наилучшим образом принятый современниками, если он существует только в качестве факта и если у него на это слишком мало права или вовсе никакого, бесповоротно обречен стать со временем уродливым, омерзительным, быть может даже, чудовищным. Если кто-нибудь пожелает удостовериться в том, насколько уродливым может оказаться факт на расстоянии веков, пусть обратит свой взор на Макиавелли. Макиавелли — это вовсе не злой дух, не демон, не презренный и жалкий писатель; он не больше чем факт. И этот факт характерен не только для Италии, но и для Европы, для всего шестнадцатого столетия. Он кажется отвратительным, он и есть таков с точки зрения нравственной идеи девятнадцатого века.

Эта борьба между правом и фактом длится со времен возникновения общества. Закончить поединок, сплавить чистую идею с реальностью человеческой жизни, заставить право мирно проникнуть в область факта и факт в область права — вот работа мудрых.

#### Глава 2

#### Дурно сшито

Но одно дело — работа людей мудрых и другое дело — работа людей ловких.

Революция 1830 года быстро закончилась.

Как только революция терпит крушение, ловкие люди растаскивают по частям корабль, севший на мель.

Ловкие люди нашего времени присваивают себе название государственных мужей; в конце концов это наименование «государственный муж» стало почти выражением арго. В самом деле, не следует забывать, что там, где нет ничего, кроме ловкости, всегда налицо посредственность. Сказать «человек ловкий» — все равно что сказать «человек заурядный».

Точно так же сказать: «государственный муж» — иногда значит то же, что сказать «изменник».

Итак, если поверить ловким, то революции, подобные Июльской, — не что иное, как перерезанные артерии; нужно немедленно перевязать их. Право, слишком громко провозглашенное, вызывает смятение. Поэтому, раз право утверждено, следует укрепить государство. Раз свобода обеспечена, следует подумать о власти.

Пока еще мудрые не отделяют себя от ловких, но уже начинают испытывать недоверие. Власть — пусть так. Но, во-первых, что такое власть? Во-вторых, откуда она?

Ловкие как будто не слышат заглушенных возражений и продолжают свое дело.

По мнению этих политиков, хитроумно прикрывающих выгодную для них ложь маской необходимости, первая потребность народа после революции, — если этот народ составляет часть монархической Европы, — это раздобыть себе династию. Таким способом, говорят они, можно обрести после революции мир, то есть время для того, чтобы залечить свои раны и починить свой дом. Династия прикрывает строительные леса и заслоняет госпиталь.

Однако не всегда легко добыть себе династию.

В сущности, первый одаренный человек или даже первый удачливый встречный может сойти за короля. В одном случае это Бонапарт, в другом — Итурбиде.

Но первая попавшаяся фамилия не может создать династию. Необходима известная древность рода, а отметина веков не создается внезапно.

Если стать на точку зрения «государственных мужей» со всеми подразумеваемыми оговорками, то каковы же должны быть качества появляющегося после революции нового короля? Он может — и это даже полезно — быть революционером, иначе говоря, быть лично причастным к революции, приложившим к ней руку, независимо от того, набросил ли он тень на себя при этом или прославился, брался ли за ее топор или действовал шпагой.

Какими качествами должна обладать династия? Она должна быть приемлемой для нации, то есть казаться на расстоянии революционной — не по своим поступкам, но по воспринятым ею идеям. Она должна иметь прошлое и быть исторической, иметь будущее и пользоваться расположением народа.

Все это объясняет, почему первые революции довольствуются тем, что находят человека — Кромвеля или Наполеона, и почему вторые во что бы то ни стало стремятся найти имя — династию Брауншвейгскую или Орлеанскую.

Королевские дома похожи на те фиговые деревья в Индии, каждая ветка которых, нагибаясь до самой земли, пускает корень и сама становится деревом. Любая ветвь королевского дома может стать династией, но при условии, что склонится к народу. Такова теория ловких.

Итак, вот в чем величайшее искусство: добиться, чтобы в фанфарах успеха зазвучала нота катастрофы, чтобы те, кто пользуется его плодами, в то же время трепетали перед ним; пробудить страх перед свершившимся событием, увеличить кривую перехода до степени замедления прогресса, обесцветить эту зарю, обличить и отбросить крайности энтузиазма, срезать острые углы и когти, обложить торжество победы ватой, плотно закутать право, завернуть народ-гигант во фланель и немедленно уложить его в постель, посадить на диету этот избыток здоровья, прописать Геркулесу режим выздоравливающего, растворить важное событие в мелких повседневных делах, предложить этот разбавленный лекарственной настойкой нектар умам, жаждущим идеала, принять предосторожности против слишком большого успеха, надеть на революцию абажур.

1830 год воспользовался этой теорией, уже примененной в Англии в 1688 году.

1830 год — это революция, остановившаяся на полдороге. Половина прогресса, подобие права! Но логика не признает половинчатости точно так же, как солнце не признает огонька свечи.

Кто останавливает революции на полдороге? Буржуазия.

Почему?

Потому что буржуазия — это удовлетворенное вожделение. Вчера было желание поесть, сегодня это сытость, завтра настанет пресыщение.

То, что случилось в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X.

Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия — это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Буржуа — это человек, у которого теперь есть время посидеть. Кресло — это вовсе не каста.

Но, желая усесться слишком рано, можно остановить самое движение человечества вперед. Это часто бывало ошибкой буржуазии.

Допущенная ошибка не может служить причиной образования класса. Эгоизм не является одним из подразделений общественного порядка.

В конце концов, — следует быть справедливым даже к эгоизму, — состояние, на которое уповала после потрясения 1830 года часть народа, именуемая буржуазией, нельзя назвать бездействием, слагающимся из равнодушия и лени и затаившим в себе крупицу стыда; это не было и дремотой, предполагающей мимолетное забытье, доступное сну; это был привал.

Привал — слово, имеющее двойной, особенный и почти противоречивый смысл: отряд в походе, то есть движение; остановка отряда, то есть покой.

Привал — это восстановление сил, это покой настороженный и бодрствующий: это совершившийся факт, который выставил часовых и держится настороже. Привал обозначает сражение вчера и сражение завтра.

Это и есть промежуток между 1830 и 1848 годом.

То, что мы называем здесь сражением, может также называться прогрессом.

Таким образом, для буржуазии, как и для государственных мужей, нужен был человек, олицетворявший это понятие — привал. Человек, который мог бы называться Однако-Ибо. Сложная индивидуальность, означающая революцию и означающая устойчивость, другими словами, утверждающая настоящее, являя собой наглядный пример совместимости прошлого с будущим.

Этот человек оказался тут же, под рукой. Имя его было Луи-Филипп Орлеанский.

Голоса двухсот двадцати одного сделали Луи-Филиппа королем. Лафайет взял на себя труд миропомазания. Он назвал Луи-Филиппа «лучшей из республик». Парижская ратуша заменила собор в Реймсе.

Эта замена целого трона полутроном и была «делом 1830 года».

Когда ловкие люди достигли своей цели, обнаружилась глубочайшая порочность найденного ими решения. Все это было совершенно вне абсолютного права. Абсолютное право вскричало: «Я возражаю!» Затем — грозное знамение! — оно вновь скрылось в тени.

#### Глава 3

#### Луи-Филипп

У революций тяжелая рука и верное чутье; они бьют крепко и метко. Даже у такой неполной революции, такой захудалой, подвергшейся осуждению и сведенной к положению младшей, как революция 1830 года, почти всегда остается достаточно пророческой зоркости, чтобы не оказаться несвоевременной. Затмение революцией никогда не бывает отречением.

Однако не будем слишком самоуверенными; даже революции, даже и они заблуждаются, и тогда видны крупные промахи.

Вернемся к 1830 году. Отклонившись от своего пути, 1830 год оказался удачливым. При том положении вещей, которое после куцей революции было названо порядком, монарх стоил больше, чем монархия. Луи-Филипп был редким человеком.

Сын того, за кем история, конечно, признает смягчающие обстоятельства, но в такой же мере достойный уважения, как отец — порицания, он обладал всеми добродетелями частного лица и некоторыми — общественного деятеля; заботился о своем здоровье, о своем состоянии, о своей особе, о своих делах, знал цену минуты и не всегда — цену года; воздержанный, спокойный, миролюбивый, терпеливый; добряк и добрый государь; был верен жене и держал в своем дворце лакеев, обязанных показывать буржуа его супружеское ложе, — хвастовство добропорядочной брачной жизнью стало полезным после выставлявшихся напоказ незаконных связей старшей ветви; знал все европейские языки и, что еще более редко, язык всех интересов и умел говорить на нем; был восхитительным представителем «среднего сословия», но превосходил его, будучи во всех отношениях более значительным, чем оно; отличаясь незаурядным умом и отдавая должное своей родословной, он прежде всего ценил свои внутренние качества и даже в вопросе о своем происхождении занимал весьма своеобразную позицию, объявляя себя Орлеаном, а не Бурбоном; когда он был только «светлейшим», он держался как первый принц крови, а в тот день, когда стал «величеством», превратился в настоящего буржуа; многоречивый на людях, но скупой на слова в тесном кругу близких; по общему мнению — скряга, но неуличенный; в сущности, это был один из тех бережливых людей, которые становятся расточительными, когда дело идет об их прихотях или выполнении долга; начитанный, но мало чувствующий литературу; дворянин, но не рыцарь; простой, спокойный и сильный; обожаемый своей семьей и слугами; обворожительный собеседник, трезвый государственный деятель, внутренне холодный, всегда поглощенный только насущной необходимостью, всегда учитывающий только сегодняшний день, не способный ни к злопамятству, ни к благодарности, он безжалостно пользовался лицами выдающимися, оставляя в покое посредственность, и хитро умел при помощи парламентского большинства перекладывать вину на те тайные объединения, которые глухо рокочут где-то под тронами; откровенный, порой неосторожный в своей откровенности, но в этой неосторожности удивительно ловкий; неистощимый в выборе средств, личин и масок; он пугал Францию Европой и Европу Францией; бесспорно, любил свою родину, но преимущественно свою семью; предпочитал власть авторитету и авторитет достоинству — склонность, пагубная в том смысле, что, ставя все на службу успеху, она допускает хитрость и не всегда отрицает низость, но зато в ней есть то преимущество, что она предохраняет политику от резких толчков, государство от ломки, общество от катастроф; это был человек мелочный, вежливый, бдительный, внимательный, проницательный, неутомимый, иногда противоречащий самому себе и берущий свое слово обратно; смелый по отношению к Австрии в Анконе, упрямый по отношению к Англии в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду; убежденно поет Марсельезу; недоступен унынию, усталости, увлечению красотой и идеалом, безрассудному великодушию, утопиям, химерам, гневу, тщеславию, боязни; он обладал всеми формами личной неустрашимости; генерал — при Вальми, солдат — при Жемапе; восемь раз его покушались убить, но он неизменно улыбался; смелый, как гренадер, неустрашимый, как мыслитель, он испытывал тревогу лишь пред возможностью потрясения основ европейских государств и был неспособен на крупные политические авантюры; всегда готовый подвергнуть опасности свою жизнь и никогда — свое дело; проявлял свою волю в форме влияния, предпочитая, чтобы ему повиновались как умному человеку, а не как королю; был одарен способностью к наблюдению, но не прозорливостью; мало интересовался ду́хами, но был отличным знатоком людей, иначе говоря, мог судить только о том, что видел; обладал здравым смыслом, живым и проницательным практическим умом, даром слова, огромной памятью; он всегда черпал из запаса этой памяти — единственная черта сходства с Цезарем, Александром и Наполеоном; зная факты, подробности, даты, собственные имена, он не знал устремлений, страстей, духовной многоликости толпы, тайных упований, сокровенных и темных порывов душ — одним словом, всего того, что можно назвать подводными течениями сознания; признанный верхними слоями Франции, но имевший мало общего с ее низами, он выходил из затруднений с помощью хитрости; он слишком много управлял и недостаточно царствовал; был своим собственным первым министром; неподражаемо умел создавать из мелких фактов препятствия для великих идей; соединял с подлинным умением способствовать прогрессу, порядку и организации какой-то дух формализма и крючкотворства; наделенный чем-то от Карла Великого и чем-то от ходатая по делам, он был основателем династии и ее стряпчим; в целом личность значительная и своеобразная, государь, который сумел упрочить власть, вопреки тревоге Франции, и мощь, вопреки недоброжелательству Европы, Луи-Филипп будет причислен к выдающимся людям своего века; он занял бы в истории место среди самых прославленных правителей, если бы немного больше любил славу и если бы обладал чувством великого в той же степени, в какой он обладал чувством полезного.

Луи-Филипп был красив в молодости и остался привлекательным в старости; не всегда в милости у нации, он всегда пользовался расположением толпы. У него был дар нравиться. Ему недоставало величия; он не носил короны, хотя был королем, не отпускал седых волос, хотя был стариком. Манеры он усвоил при старом порядке, а привычки при новом — то была смесь дворянина и буржуа, подходящая для 1830 года; Луи-Филипп являлся, так сказать, царствующим переходным периодом; он сохранил старое произношение и старое правописание и применял их для выражения современных взглядов; он любил Польшу и Венгрию, однако писал: polonois и произносил: hongrais[[1]](#footnote-1). Он носил мундир национальной гвардии, как Карл X, и ленту Почетного легиона, как Наполеон.

Он редко посещал обедню, не ездил на охоту и никогда не появлялся в опере. Не питал слабости к попам, псарям и танцовщицам, что являлось одной из причин его популярности среди буржуа. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком под мышкой, и этот зонтик надолго стал одним из слагаемых его славы. Он был немного масон, немного садовник, немного лекарь. Однажды он пустил кровь форейтору, упавшему с лошади; с тех пор Луи-Филипп не выходил без своего ланцета, как Генрих III — без своего кинжала. Роялисты потешались над этим смешным королем — первым королем, пролившим кровь в целях излечения.

Что касается жалоб истории на Луи-Филиппа, то здесь нужно кое-что отбросить; одни обвинения падают на монархию, другие — на царствование Луи-Филиппа, третьи — на короля; три столбца, каждый со своим итогом. Отмена прав демократии, отодвинутый на задний план прогресс, жестоко подавленные выступления масс, расстрелы восставших, мятеж, укрощенный оружием, улица Транснонен, военные суды, поглощение страны, реально существующей, страной, юридически признанной, управление на компанейских началах с тремястами тысяч привилегированных — за это должна отвечать монархия; отказ от Бельгии, с чересчур большим трудом покоренный Алжир и, как Индия англичанами, — скорее способами варваров, чем носителей цивилизации, вероломство по отношению к Абд-эль-Кадеру, Блей, подкупленный Дейц, оплаченный Притчард — за это должно отвечать время царствования Луи-Филиппа; политика, более семейная, нежели национальная, — за это отвечает король.

Как видите, сделав вычет, можно уменьшить вину короля.

Его важнейшая ошибка такова: он был скромен во имя Франции.

Где корни этой ошибки?

Скажем об этом.

В короле Луи-Филиппе слишком громко говорило отцовское чувство; высиживание семьи, из которой должна вылупиться династия, связано с боязнью перед всем и нежеланием быть потревоженным; отсюда крайняя робость, невыносимая для народа, у которого в его гражданских традициях имело место 14 июля, а в традициях военных — Аустерлиц.

Впрочем, если отвлечься от общественных обязанностей, которые должны быть на первом плане, то глубокая нежность Луи-Филиппа к своей семье была ею вполне заслужена. Его домашний круг был восхитителен. Там добродетели сочетались с дарованиями. Одна из дочерей Луи-Филиппа, Мария Орлеанская, прославила имя своего рода среди художников так же, как Шарль Орлеанский — среди поэтов. Она воплотила свою душу в мрамор, названный ею Жанной д’Арк. Двое сыновей Луи-Филиппа исторгли у Меттерниха следующую демагогическую похвалу: «Это молодые люди, каких не встретишь, и принцы, каких не бывает».

Вот, без всякого умаления, но и без преувеличения, правда о Луи-Филиппе.

Быть «принцем Равенством», носить в себе противоречие между Реставрацией и Революцией, обладать теми внушающими тревогу склонностями революционера, которые становятся успокоительными в правителе, — такова причина удачи Луи-Филиппа в 1830 году; никогда еще не бывало столь полного приспособления человека к событию; один вошел в другое, и воплощение свершилось. Луи-Филипп — это 1830 год, ставший человеком. Вдобавок за него говорило и это великое предназначение к престолу — изгнание. Он был осужден, беден и скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этот наследник самых богатых королевских поместий Франции продал свою старую лошадь, чтобы пропитаться. В Рейхенау он давал уроки математики, а его сестра Аделаида занималась вязаньем и шитьем. Эти воспоминания, связанные с особой короля, приводили в восторг буржуа. Он разрушил собственными руками последнюю железную клетку в Мон-Сен-Мишеле, устроенную Людовиком XI и послужившую Людовику XV. Он был соратником Дюмурье, другом Лафайета, он был членом клуба якобинцев; Мирабо похлопывал его по плечу; Дантон обращался к нему со словами: «молодой человек». В возрасте двадцати четырех лет, в 93-м году, он, тогда еще г-н де Шартр, присутствовал, сидя в глубине маленькой темной ложи в зале Конвента, на процессе Людовика XVI, столь удачно названного: «этот бедный тиран». Он видел все, он созерцал все эти головокружительные превращения; слепое ясновидение революции, которая сокрушила монархию в лице монарха и монарха вместе с монархией, почти не заметив человека во время этого яростного уничтожения идеи; он видел могучую бурю народного гнева в революционном трибунале, допрос Капета, не знающего, что ответить, ужасающее бессмысленное покачивание этой царственной головы под мрачным дыханием этой бури, относительную невиновность всех участников катастрофы — как тех, кто осуждал, так и того, кто был осужден; он видел века, представшие перед судом Конвента; он видел, как за спиной Людовика XVI, этого злополучного прохожего, на которого пало все бремя ответственности, вырисовывался во мраке главный обвиняемый — Монархия, и его душа исполнилась почтительного страха перед необъятным правосудием народа, почти столь же безличным, как правосудие бога.

След, оставленный в нем революцией, был неизгладим. Его память стала как бы живым отпечатком этих великих годин, минута за минутой. Однажды перед свидетелем, которому невозможно не доверять, он исправил по памяти весь список членов Учредительного собрания, фамилии которых начинались на букву «А».

Луи-Филипп был королем, царствующим при ярком дневном свете. Во время его царствования печать была свободна, трибуна свободна, слово и совесть свободны. В сентябрьских законах есть просветы. Хотя он и знал, какое разрушительное действие оказывает свет на привилегии, тем не менее он оставил свой трон освещенным. История зачтет ему эту лояльность.

Луи-Филипп, как все исторические деятели, сошедшие со сцены, сегодня подлежит суду человеческой совести. Его дело проходит теперь лишь первую инстанцию.

Час, когда история вещает свободным и внушительным голосом, еще для него не пробил; не настало еще время, когда она произнесет об этом короле окончательное суждение; строгий и прославленный историк Луи Блан сам недавно смягчил прежний приговор, который вынес ему; Луи-Филипп был избран теми двумя недоносками, которые именуются большинством двухсот двадцати одного и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией; и во всяком случае, с той нелицеприятной точки зрения, на которой должна стоять философия, мы могли судить его здесь, как это вытекает из сказанного нами выше, лишь с известными оговорками, во имя абсолютного демократического принципа. Пред лицом абсолютного всякое право, помимо права человека и права народа, есть незаконный захват. Но уже в настоящее время, сделав эти оговорки и взвесив все обстоятельства, мы можем сказать, что Луи-Филипп, как бы о нем ни судили, сам по себе, по своей человеческой доброте, останется, если пользоваться языком древней истории, одним из лучших государей, когда-либо занимавших престол.

Что же свидетельствует против него? Именно этот престол. Отделите Луи-Филиппа от его королевского сана, он останется человеком. И человеком добрым. Порою добрым на удивление. Часто, среди самых тяжких забот, после дня, проведенного в борьбе против дипломатии Европы, он вечером возвращался в свои покои и там, изнемогая от усталости и желания уснуть, — что делал он? Он брал судебное дело и проводил всю ночь за пересмотром какого-нибудь процесса, полагая, что давать отпор Европе — дело важное, но еще важнее вырвать человека из рук палача. Он возражал своему министру юстиции, он оспаривал шаг за шагом владения, захваченные гильотиной, у прокуроров, этих «присяжных болтунов правосудия», как он их называл. Иногда груды судебных дел заваливали его стол; он просматривал их все; ему было мучительно тяжело предоставлять эти несчастные обреченные головы их участи. Однажды он сказал тому же свидетелю, на которого мы ссылались: «Сегодня ночью я отыграл семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и вновь воздвигнутый эшафот был насилием над волей короля. Гревская площадь исчезла вместе со старшею ветвью, но вместо нее появилась застава Сен-Жак — Гревская площадь буржуазии; «люди деловые» чувствовали необходимость в какой-нибудь хоть с виду узаконенной гильотине; то была одна из побед Казимира Перье, представителя узкокорыстных интересов буржуазии, над Луи-Филиппом, представителем ее либеральных сторон. Луи-Филипп собственноручно делал пометки на полях книги Беккарии. После взрыва адской машины Фиески он воскликнул: «Как жаль, что я не был ранен! Я мог бы его помиловать». Другой раз, намекая на сопротивление своих министров, он написал по поводу политического осужденного, который представлял собой одну из наиболее благородных личностей нашего времени: «Помилование ему даровано, мне остается только добиться его». Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV.

А для нас, знающих, что в истории доброта — редкая жемчужина, тот, кто добр, едва ли не стоит выше того, кто велик.

Луи-Филипп был строго осужден одними и, быть может, слишком жестоко другими, поэтому вполне понятно, что человек, знавший этого короля и сам ставший призраком сегодня, предстательствует за него перед историей; это предстательство, каково бы оно ни было, несомненно и прежде всего бескорыстно; эпитафия, написанная умершим, искренна; тени дозволено утешить другую тень; пребывание в одном и том же мраке дает право воздать хвалу; и вряд ли нужно опасаться, что когда-нибудь скажут о двух могилах изгнанников: «Обитатель одной польстил другому».

#### Глава 4

#### Трещины под основанием

К тому времени, когда драма, о которой мы повествуем в этой книге, должна проникнуть в толщу одной из мрачных туч, заволакивающих начало царствования Луи-Филиппа, нам не следовало допускать недомолвок и необходимо было дать объяснение личности короля.

Луи-Филипп взошел на престол, не применяя насилия, без прямого воздействия со своей стороны, благодаря революционному повороту, несомненно очень далекому от действительной цели революции, но в котором он, герцог Орлеанский, никакого личного почина не проявил. Он родился принцем и считал себя королем по избранию. Он не сам дал себе эти полномочия, не присваивал их; они были ему предложены, и он их принял, пусть ошибочно, но глубоко убежденный, что предложение отвечало его праву, а согласие принять — его долгу. Отсюда его уверенность в законности своей власти. Да, мы утверждаем это по чистой совести, Луи-Филипп был уверен в законности своей власти, а демократия была уверена в законности своей борьбы с нею, поэтому вина за то страшное, что порождает социальные битвы, не падает ни на короля, ни на демократию. Столкновение принципов подобно столкновению стихий. Океан защищает воду, ураган защищает воздух; король защищает королевскую власть, демократия защищает народ; относительное, то есть монархия, сопротивляется абсолютному, то есть республике; общество истекает кровью в этой борьбе, но то, что сейчас является его страданием, станет позднее спасением. Во всяком случае, не приходится порицать борющихся: одна из двух сторон явно находится в заблуждении; право не стоит, подобно колоссу Родосскому, сразу на двух берегах — одной ногой опираясь на республику, другою — на монархию; оно неделимо и целиком находится на одной стороне; но заблуждающиеся заблуждаются искренно; слепой — не преступник, как вандеец — не разбойник. Припишем же эти страшные столкновения лишь роковому стечению обстоятельств. Каковы бы ни были эти бури, люди за них не ответственны.

Закончим наше изложение.

Правительству 1830 года тотчас же пришлось туго. Вчера родившись, оно должно было сегодня сражаться.

Едва успев утвердиться, оно сразу почувствовало смутное воздействие сил, направленных отовсюду на июльскую систему правления, столь недавно созданную и столь непрочную.

Сопротивление появилось на следующий же день; быть может даже, оно родилось накануне.

С каждым месяцем враждебность росла и из тайной стала явной.

Июльская революция, как мы отмечали, плохо встреченная королями вне Франции, была в самой Франции истолкована различно.

Бог открывает людям свою волю в событиях — это темный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы — переводы поспешные, неправильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают язык божества. Наиболее прозорливые, спокойные, глубокие расшифровывают его медленно, и когда они приходят со своим текстом, оказывается, что работа эта давно уже сделана — на площади выставлено двадцать переводов. Из каждого перевода рождается партия, из каждого искажения — фракция; и каждая партия полагает, что только у нее правильный текст, каждая фракция полагает, что истина — лишь ее достояние.

Нередко и сама власть является фракцией.

Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения, — это старые партии.

По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть божией милостью, если революции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение. Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным завершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и, даже обагренная кровью, она выживает. Революция не случайность, а необходимость. Революция — это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти.

Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения — отличные метательные снаряды. Они умело поражали эту революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони, — за недостатком логики; они нападали на эту революцию в ее королевском обличье. Они ей кричали: «Революция, а зачем же у тебя король?» Старые партии — это слепцы, которые целят метко.

Республиканцы, в свою очередь, кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом.

Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками, и с вечным правом.

Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранять мир — значило еще больше усложнить положение. Гармония, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир — разорительная политика цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повода. Подгоняемая во Франции прогрессом, она, в свою очередь, подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире.

А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда — все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей.

Вне политических партий в собственном смысле этого слова обнаружилось и другое движение. Демократическому брожению отвечало брожение философское. Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в такой же степени.

Мыслители размышляли, в то время как почва, — то есть народ, — изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в каком-то глухом эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые в одиночестве, другие объединившись в тесные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали свои ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени.

Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи.

Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья.

Человеческое благополучие — вот что хотели они добыть из недр общества.

Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли, почти до высоты религии. В цивилизации, такой, какою она создается, — отчасти богом и, гораздо больше, людьми, — интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, согласно закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики.

Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовым наименованием — социалисты, пытались просверлить скалу, чтобы забил из нее живой родник человеческого счастья.

Их труды охватывали все, начиная от смертной казни и кончая вопросом о войне. К правам человека, провозглашенным Французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.

Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не обсуждаем здесь исчерпывающим образом, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них.

Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам.

Первая проблема: создать материальные богатства.

Вторая проблема: распределить их.

Первая проблема включает вопрос о труде.

Вторая — вопрос о плате за труд.

В первой проблеме речь идет о применении производительных сил.

Во второй — о распределении жизненных благ.

Следствием правильного применения производительных сил является общественная мощь.

Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности.

Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства — справедливость.

Из соединения этих двух начал — общественной мощи вовне и личного благоденствия внутри — следует социальное процветание.

Социальное процветание означает: счастливый человек, свободный гражданин, великая нация.

Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое однобокое решение роковым образом приводит ее к двум крайностям: чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага — одним, все лишения — другим, то есть народу, причем привилегии, исключения, монополии, власть феодалов являются порождением самой формы труда. Положение ложное и опасное, ибо общественное могущество зиждется тут на нищете частных лиц, а величие государства — на страданиях отдельной личности. Это — дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало.

Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильность решениях. Уничтожить богатство — не значит его распределить.

Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них лишь одно.

Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или, как Англия, — материальным могуществом; вы будете неправедным богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет падать и погибать всякому себялюбию, всему тому, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи.

Само собой разумеется, что словами: Венеция, Англия мы называем здесь не народ, а определенный общественный строй — олигархии, стоящие над нациями, а не сами нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ — бессмертна. Отметив это, мы продолжаем.

Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, по-братски и точно установите оплату за труд соответственно с работой, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания основу зрелости; давая дело рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умейте создавать богатство и умейте его распределять; тогда вы будете обладать всем материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией.

Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот чего он искал в фактах, вот что он подготовлял в умах.

Усилия, достойные восхищения! Святые порывы!

Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного человека необходимость считаться с философами, смутно намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравновешивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное смутной покорностью высшему, неоспоримому праву, собственная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу — все это поглощало Луи-Филиппа почти болезненно и порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем.

Он чувствовал, что почва под ним в состоянии какого-то страшного распада, однако это не было полным разрушением, так как Франция оставалась Францией более, чем когда-либо.

Темные сгрудившиеся тучи покрывали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями — тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было поспешно придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание, столько было нездорового в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В этой тревоге, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому не ведомый дотоле, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась сумеречная тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты были облака.

Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном облике явил себя 1832 год. Народная нищета, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж — Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных — Фердинанд Испанский и Мигель Португальский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере зловещий стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, подстерегающие Францию раздраженные взгляды всей Европы, Англия — эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что колеблется, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской богоматери, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства — одна в городе мысли, другая в городе труда: в Париже война гражданская, в Лионе — война рабочих; в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени; багровый свет извергающегося вулкана на челе народа; пришедший в исступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холера — все это прибавляло к смутному гулу идей смутную сумятицу событий.

#### Глава 5

#### Факты, порождающие историю, но ею не признаваемые

К концу апреля все осложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали небольшие отдельные бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся, — признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье.

Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить.

Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными — как ни покажется странным применение двух этих эпитетов к кабачкам.

Правительство попросту и откровенно было там взято под сомнение. Открыто обсуждалось: *драться или сохранять спокойствие.* Кое-где в задних помещениях кабачков с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: *Ты дал согласие! Ты в этом поклялся!* Иногда поднимались на второй этаж в запертую комнату, и там происходили сцены, почти напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула.

В общих залах читали «крамольные» брошюры. *Они поносили правительство,* как сообщает секретное донесение того времени.

Там слышались такие слова: *Мне неизвестны имена вождей. Что до нас, то мы узнаем о назначенном дне только за два часа.* Один рабочий сказал: *Нас триста человек, дадим каждый по десять су — вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули.* Другой сказал: *Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не минет и двух недель, как мы сравняемся с правительством. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно схватиться вплотную.* Третий заявил: *Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны.* Время от времени появлялись люди, «хорошо одетые, по виду буржуа», «производили замешательство» и, держась «распорядителями», пожимали руки *самым главным,* потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: *Заговор созрел. Дело готово.* «Об этом твердили все, кто был там», — как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке какой-то рабочий закричал: *У нас нет оружия!* Один из его приятелей ответил: *Оно есть у солдат!*  — пародируя, сам того не зная, обращение Бонапарта к Итальянской армии. «Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны, — прибавляет один из рапортов, — то там они ее не сообщали друг другу». Непонятно, что еще они могли скрывать, сказав то, что ими было сказано.

Нередко такие собрания принимали вполне регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходил всякий, кто хотел, и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены страстным энтузиазмом, другие — потому что это им было *по пути на работу.* Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших.

Стали известны и другие красноречивые факты.

Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: *Должок мой, дядюшка, уплатит революция.*

У кабатчика, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки.

Рабочие сходились на улице Котт, у одного фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там имелся набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговки с рапир сняли. Один рабочий сказал: *Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей.* Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе.

Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: *Уже давно вовсю выделывают патроны.* На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: *Борто, виноторговец.*

Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей водочными настойками, какой-то бородач с итальянским акцентом, взобравшись на тумбу, громко читал необычное рукописное послание, казалось, исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались кучками слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были собраны и записаны: «...Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «...Будущее народа создается в наших безвестных рядах». «...Выбор возможен лишь один: действие или противодействие, революция или контрреволюция. Ибо в нашу эпоху больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа — вот в чем вопрос. Другого не существует». «...В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня.

Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно по причине этой дерзости. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы Св. Маргариты, вскричал: *«Я бабувист!»* Но за именем Бабефа народ учуял Жиске.

Между прочим этот прохожий говорил:

— Долой собственность! Левая оппозиция — это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы — мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся!

— Молчать, гражданин шпик! — крикнул ему рабочий.

Этот окрик положил конец его речи.

Бывали и таинственные случаи.

Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», который его спросил: «Куда идешь, гражданин?» — «Сударь, — ответил рабочий, — я не имею чести вас знать». — «Зато я тебя хорошо знаю, — сказал тот и прибавил: — Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай, если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобою следят». Потом, пожав рабочему руку, он ушел, сказав: «Мы скоро увидимся».

Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабачках, но и на улицах странные диалоги.

— Постарайся-ка получить поскорей, — говорил ткач краснодеревцу.

— Почему?

— Да придется пострелять малость.

Двое оборванных прохожих обменялись следующими примечательными словами, явно отдававшими жакерией:

— Кто нами правит?

— Господин Филипп.

— Нет, буржуазия.

Те, кто подумает, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Участники жакерии — это бедняки.

В другой раз слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления».

Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву круглой площади возле Тронной заставы, только и удалось расслышать, что: «Сделают все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу».

Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы.

«Вожаки», как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эсташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее эти вожаки всегда были в тени, и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательную сдержанность следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров.

— Кто ваш руководитель? — спросили его.

— *Я этого не знал, да и не разузнавал, кто он.*

Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные; иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки.

Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строящегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было еще разобрать следующие строки:

«...Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ...»

И в приписке:

«Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер № 5 (б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей».

Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более что немного подальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа.



Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв — это были *квинтурионы, центурионы, декурионы, разведчики,* а буквы *ю ог а* *1**фе* означали дату: 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся весьма примечательными указаниями: «К — *Банерель.* 8 ружей, 83 патрона. Человек надежный. Ц — *Бубьер.* 1 пистолет, 40 патронов; Д — *Роле.* 1 рапира, 1 пистолет, 1 фунт пороха; Р — *Тейсье.* 1 сабля, 1 патронташ. Точен; *Террор.* 8 ружей. Храбрец» и т. д.

Наконец тот же плотник нашел все внутри этой же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво был начертан следующий загадочный список.

Единство. Бланшар. Арбр-Сэк, 6.

Барра. Суаз. Счетная палата.

Костюшко. Обри-Мясник?

Ж. Ж. Р.

Кай Гракх.

Право осмотра. Дюфон. Фур.

Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.

Вашингтон. Зяблик. 1 пист. 86 патр.

Марсельеза.

Главенст. народа. Мишель. Кенкампуа. Сабля.

Гош.

Марсо. Платон. Арбр-Сэк.

Варшава. Тилли, продавец газеты «Попюлер».

Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, распознал ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат лишь истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Прав человека как будто произошло позже той даты, когда эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок.

Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться реальные дела. На улице Попенкур при обыске у старьевщика в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, одинаково сложенных пополам, а потом вчетверо; под этими листами были спрятаны двадцать шесть четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось:

Селитра — 12 унций.

Сера — 2 унции.

Уголь — 2 с половиной унции.

Вода — 2 унции.

Протокол обыска гласил, что ящик сильно отдавал запахом пороха.

Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных *Лотьер,* песню, озаглавленную «Рабочие, соединяйтесь!», и жестяную коробку, полную патронов.

Один рабочий, выпивая со своим приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать; тот, притронувшись к нему, обнаружил у него под курткой пистолет.

На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и маленький чугунный котелок с явными следами расплавленного свинца внутри.

Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции Баррикада-Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоящим возле постели, в руке он держал патроны, изготовлением которых был занят.

Во время обеденного отдыха рабочих заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикпюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под своей блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох несколько отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались.

Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня.

Как-то раз правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделю спустя было роздано еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало: «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра».

Все это брожение происходило в открытую и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все особенности этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» — тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваша супруга?»

Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?»

Другой лавочник говорил: «Дело начнется скоро, я это знаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед — маленький пистолет, за который он хотел семь франков.

Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не был исключением. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и тайного одновременно, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так: *Плювиоз, год 40-й республиканской эры,*  — общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям следующие многозначительные названия:

*Пики.*

*Набат.*

*Сигнальная пушка.*

*Фригийский колпак.*

*21 января.*

*Нищие.*

*Бродяги.*

*Робеспьер.*

*Нивелир.*

*Настанет день.*

Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался *Галльский союз* и *Организационный комитет городских самоуправлений.* Так образовались союзы: *Свобода печати, Свобода личности, Народное образование, Борьба с косвенными налогами.* Затем общество Рабочих — поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятью — сержант, двадцатью — младший лейтенант, четырьмя десятками — лейтенант; в ней никогда не знали друг друга больше чем пять человек. Эта выдумка, где осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоящий во главе центральный комитет имел две руки — общество Действия и Армию Бастилии. Легитимистский союз Рыцарей верности сеял смуту среди этих республиканских объединений. Он был разоблачен и изгнан.

Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были свои общества Прав человека, Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем.

В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, и учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярдов» на улице Матюрен Сен-Жак служили местом сборища студентов. Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же самые молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько обстоятельства допускали, были открытыми, и об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? — На улице Мира. — У кого? — На улице. — Какие секции были там? — Одна. — Какая именно? — Секция Манюэль. — Кто был ее руководителем? — Я. — Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять это опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? — Из Центрального комитета».

Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на пятьдесят второй полк, пятый, восьмой, тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком.

Таково было положение дел.

И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения.

Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работящее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард скрывалась потрясающая нищета; там же можно было найти людей пылкого и редчайшего ума. А именно нищета и ум являются особенно грозным сочетанием крайностей.

У предместья Сент-Антуан были еще и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда — одновременно и причина, и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, как только на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания и мысли.

Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, отмечены исторической известностью. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвеличивавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из глубин ее священные дуновения, — на те таверны, где столы были почти подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет *сивиллиным вином.*

Сент-Антуанское предместье — это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: Ingens[[2]](#footnote-2).

В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев.

Дикарей. Объяснимся по поводу этого выражения. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидающего революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками, неистово бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, общественной заботы для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации.

Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Они требовали света, сами скрытые под маской тьмы.

Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, мы признаем это, но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они кротко высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Что до нас, то если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами цивилизации и цивилизованными варварами, — мы выбрали бы первых.

Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропинкой.

Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути — в этом вся политика бога.

#### Глава 6

#### Анжольрас и его помощники

Незадолго до этого времени Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки.

Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен». Введя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал:

— Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем же примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это дело на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройтись по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, и сегодня же. Ты, Курфейрак, пойди взглянуть на политехников. Сегодня среда — у них день отдыха. Фейи, вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все здорово кипит. Баорель посетит Эстрападу. Прувер, масоны охладевают; ты принесешь нам вести о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику Дюпюитрена и пощупает пульс у Медицинской школы. Боссюэ прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Сам я займусь Кугурдой.

— Вот и все в порядке, — сказал Курфейрак.

— Нет.

— Что же еще?

— Очень важное дело.

— Какое? — спросил Курфейрак.

— Менская застава, — ответил Анжольрас.

Он немного помедлил, как бы раздумывая, потом снова заговорил:

— У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Совершенно необходимо поговорить с ними немного, но крепко. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на этого беспамятного Мариуса, малого, в общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы. Но у меня нет людей.

— А я? — сказал Грантэр. — Я-то ведь здесь.

— Ты?

— Я.

— Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать во имя принципов огонь в охладевших сердцах!

— Почему же нет?

— Да разве ты на что-нибудь годишься?

— Но я, некоторым образом, стремлюсь к этому.

— Ты ни во что не веришь.

— Я верю в тебя.

— Грантэр, хочешь оказать мне услугу?

— Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги.

— Хорошо, в таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай свой абсент.

— Анжольрас, ты неблагодарен.

— И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе? Ты способен на это?

— Я способен спуститься по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожирар, потом миновать Кармелитов, свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шерш-Миди, оставить за собой Военный совет, пробежать Старым Тюильри, проскочить бульвар, наконец, следуя по Менскому шоссе, перейти через заставу и попасть прямо к Ришфе. Я способен на это. И мои сапоги тоже способны.

— Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе?

— Не так чтобы очень. Однако я с ними на «ты».

— Что же ты им скажешь?

— Я поговорю с ними о Робеспьере, черт возьми! О Дантоне. О принципах.

— Ты?!

— Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен «Общественный договор», я знаю назубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». И по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, черт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд.

— Будь посерьезнее, — сказал Анжольрас.

— Уж куда серьезнее! — ответил Грантэр.

Анжольрас подумал немного и вскинул голову, словно человек, который принял решение.

— Грантэр, — сказал он значительно, — я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе.

Грантэр жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера.

— Красный, — сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса.

Потом энергично похлопал ладонью по двум пунцовым отворотам жилета у себя на груди.

Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо:

— Не беспокойся.

Затем решительно нахлобучил шляпу и отбыл.

Четверть часа спустя задняя комната кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись каждый по своему делу. Анжольрас, взявший на себя Кугурду, вышел последним.

Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, столь многочисленных по эту сторону Сены.

Анжольрас, шагая к месту встречи, обдумывал про себя положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развертываются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Здесь причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? Быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась в этот самый миг длинная пороховая дорожка — его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское и проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи — этого гражданина мира, с пылом Курфейрака, смехом Баореля, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, — все вместе производило своего рода электрическое потрескивание, повсюду и одновременно сопровождающееся искрами. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантэре. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по пути, — сказал он про себя. — Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим-ка, что делает Грантэр и чего он успел добиться».

На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он вошел, отпустив дверь, с размаху хлопнувшую его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом.

Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантэр, споривший со своим противником.

Грантэр сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору, и вот что услышал Анжольрас:

— Два раза шесть.

— Четверка.

— Свинья! У меня таких нет.

— Ты пропал. Двойка.

— Шесть.

— Три.

— Очко!

— Мне ходить.

— Четыре очка.

— Неважно.

— Тебе ходить.

— Я здорово промазал.

— Ты пошел правильно.

— Пятнадцать.

— И еще семь.

— Теперь у меня двадцать два. (Задумчиво.) Двадцать два!

— Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе.

— Та же двойка.

— Очко!

— Очко? Так вот тебе пятерка.

— У меня нет.

— Но ведь ты ее как будто выставил?

— Да.

— Пустышка.

— Ну и везет тебе! Да... Тебе повезло! (Длительное раздумье.) Два.

— Очко!

— Ни пятерки, ни очка. Не очень-то приятная штука для тебя.

— Домино!

— Черт тебя побери!

### Книга вторая

### Эпонина

#### Глава 1

#### Жаворонково поле

Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, на след которой он навел Жавера; но лишь только Жавер покинул лачугу, увозя с собой на трех фиакрах своих пленников, как Мариус в свою очередь ускользнул из дома. Было только девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом Латинского квартала: «по соображениям политическим» он жил теперь на Стекольной улице; этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно находило себе прибежище восстание. Мариус сказал Курфейраку: «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тюфяков, разложил его на полу и ответил: «Готово».

На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в лачугу Горбо, заплатил за квартиру и все, что причиталось тетушке Бурчунье, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего адреса, так что когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Бурчунью, ответившую ему: «Съехал!»

Тетушка Бурчунья была убеждена, что Мариус в какой-то мере был сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы подумал! — восклицала она, болтая с соседними привратницами. — Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девушка!»

У Мариуса было два основания для столь быстрой перемены жилья. Первое — испытываемый им теперь ужас при мысли об этом доме, где он видел так близко, во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом обличье, социальное уродство, быть может, еще более страшное, чем злодей богач: он видел злодея бедняка. Второе — его нежелание участвовать в каком бы то ни было судебном процессе, который, по всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против Тенардье.

Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к тому времени, когда была поставлена засада; тем не менее он пытался разыскать его, но безуспешно.

Прошел месяц, затем другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегдатая суда, он узнал, что Тенардье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков.

Мариус, у которого денег больше не было, брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярно занимаемые пять франков стали двойной загадкой: для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардье, получавшего их. «Для кого бы это?» — раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» — вопрошал себя Тенардье.

Однако Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди; его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение в этой тьме, совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом, — неведомые ему существа, составлявшие единственный смысл его жизни, единственную надежду в этом мире; и в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно: Урсулой она не звалась. А «Жаворонок» — только прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился седовласый рабочий, которого он встретил недалеко от Дома инвалидов. Теперь ему стало казаться вероятным, что этот рабочий и г-н Белый были одним и тем же лицом. Значит, он переодевался? В этом человеке было что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был ли он или не был отцом молодой девушки? Наконец, был ли он именно тем человеком, которого Тенардье якобы признал? Разве Тенардье не мог ошибиться? Сколько неразрешимых задач! Все это, правда, ничуть не умаляло ангельского очарования молодой девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска, страсть жгла его сердце, тьма стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог двинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самый инстинкт любви, исчезли ее внезапные озарения. Обычно то пламя, которое сжигает нас, вместе с тем и несколько просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти. Никогда он не говорил себе: «Не пойти ли туда-то? Не испробовать ли это?» Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь могла быть теперь изложена в нескольких словах: полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее! Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше не надеялся.

В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи, за своей спиной, ее леденящее дыханье. Во время всех этих треволнений, и давно уже, он бросил свою работу, а нет ничего более опасного, чем прерванный труд; это исчезающая привычка. Привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить.

Некоторая мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокую, и порождает в нем мягкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет там и здесь пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но слишком большая мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться мечте! Он думает, что легко воспрянет, и убеждает себя, что, так или иначе, это одно и то же. Заблуждение!

Мышление — работа ума, мечтательность — его сладострастие. Заменить мысль мечтой — значит принять яд за пищу.

Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть в конце концов низвергла его в мир химер, беспредметный и бездонный. В таких случаях выходят из дому только для того, чтобы мечтать. Ленивые попытки жить! Пучина и бурная, и стоячая! Но по мере того как работа уменьшалась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слабоволен. Праздный ум не приспособлен к скромной, расчетливой жизни. Наряду с плохим в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость гибельна, то великодушие здорово и похвально. Но человек бедный, щедрый, благородный и неработающий — погиб. Средства иссякают, потребности возрастают.

Это роковой склон, на который ступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные; он приводит к одной из двух ям — самоубийству или преступлению.

Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду.

Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра.

Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, которую он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, и, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе; чем безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа отчаявшаяся и мрачная видит этот свет на своем горизонте — то звезда ее ночи. Она, только она и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом, он смутно чувствовал, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились, что его жизнь изжита, и повторял про себя: «Только бы увидеть ее перед смертью!»

Лишь одна сладостная мысль оставалась у него: о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом, что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, она все еще любит его. Кто знает, не думает ли она о нем так же, как он думает о ней? Иногда, в неизъяснимые, знакомые всякому любящему сердцу часы, имея основания только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил: «Это ее думы нашли меня!» Потом он прибавлял: «И мои думы, быть может, также находят ее».

Это была иллюзия, и мгновение спустя, опомнясь, он сам покачивал головой, но она тем не менее успевала бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают к грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную, самую идеальную из грез, которыми любовь заполняла его мозг. Он называл это «писать к ней».

Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив. Он потерял способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более, чем когда бы то ни было, отличался проницательностью и прямотой. Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных; он судил обо всем правильно, но с какой-то нескрываемой подавленностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недосягаемой высоте.

При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало, и в каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому господь даровал душу, достойную любви и несчастья! Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении, не видел ничего истинного и ничего не знает.

Душа любящая и страдающая — возвышенна.

Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу лишь казалось, что мрачное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край этого бесконечного откоса.

— Как? — повторял он. — И я ее перед этим не увижу!

Если подняться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и идти некоторое время вдоль прежнего внутреннего бульвара, с левой его стороны, то добираешься до улицы Санте, затем до Гласьер, а далее, не доходя немного до речки Гобеленов, встречаешь нечто вроде поля, которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров является единственным местом, где Рейсдаль поддался бы соблазну отдохнуть.

Все там исполнено прелести, источник которой неведом; зеленый лужок, пересеченный протянутыми веревками, где сушится на ветру разное тряпье, старая, окруженная огородами ферма, построенная во времена Людовика XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами, полуразрушенные изгороди, вода, поблескивающая между тополями, женщины, смех, голоса; на горизонте — Пантеон, дерево, что возле Школы глухонемых, церковь Валь-де-Грас, черная, приземистая, причудливая, забавная, великолепная, а в глубине — строгие четырехугольные башни собора Богоматери.

Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть, поэтому-то никто и не приходит сюда. Изредка, не чаще, чем раз за четверть часа, здесь проезжает тележка или ломовой извозчик.

Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В тот день на бульваре оказалась редкость — прохожий. Мариус, глубоко пораженный почти диким очарованием местности, спросил его: «Как называется это место?»

Прохожий ответил: «Жаворонково поле».

И прибавил: «Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври».

Но после слова «Жаворонково» Мариус больше ничего не слышал. Порою человеком, погрузившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение, для этого довольно какого-либо слова. Мысль сразу сосредоточивается вокруг одного образа и не способна более ни к какому другому восприятию. «Жаворонок» — было название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. «Ах, — сказал он в каком-то беспричинном изумлении, свойственном этим таинственным беседам с самим собой, — так это ее поле. Здесь я узнаю, где она живет». Это было бессмысленно, но непреодолимо. И он каждый день стал приходить на Жаворонково поле.

#### Глава 2

#### Зародыши преступления в тюремном гнездилище

Успех Жавера в лачуге Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности.

Прежде всего, — и это являлось главной заботой Жавера, — ему не удалось сделать пленника бандитов собственным пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца; вполне возможно, что эта личность, представлявшая столь драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей.

Кроме того, ускользнул от Жавера и Монпарнас. Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «чертова франтика». Действительно, Монпарнас, встретив Эпонину, караулившую под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть Неморином с дочерью, чем Шиндерганнесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. Что до Эпонины, то Жавер снова «сцапал» ее. Но это было для него слабым утешением. Эпонина присоединилась к Азельме в Мадлонет.

Наконец, во время перевозки арестованных из лачуги в тюрьму Форс один из главных преступников, Звенигрош, исчез. Никто не знал, как это случилось, агенты и сержанты «ничего здесь не понимали», он словно превратился в пар, он выскользнул из ручных кандалов, он просочился сквозь щели кареты — а щели в ней были — и убежал; прибыв к тюрьме, только и могли сказать, что Звенигроша нет. Это было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли Звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не связан ли был этот человек с двойной загадкой — беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как проступка, так и возмездия? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на преступление, а задними на власть? Жавер никак не признавал этих сочетаний и возмутился бы при мысли о такой сделке; но в его отделении были и другие надзиратели, хотя и состоявшие под его начальством, но лучше посвященные в тайны префектуры, а Звенигрош был таким злодеем, что мог оказаться очень хорошим агентом. Иметь столь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать, выгодно для бандитов и удобно для полиции. Подобные мошенники о двух личинах существуют. Как бы то ни было, исчезнувший Звенигрош не отыскался. Жавер, казалось, был этим скорее раздражен, чем удивлен.

Что до Мариуса, «этого простофили адвоката, наверное струсившего», то Жавер, забывший его имя, не придавал ему большого значения. Кроме того, он — адвокат, значит, всегда разыщется. Но был ли он только адвокатом?

Следствие началось.

Судебный следователь нашел полезным одного из шайки Петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним.

Имя Брюжона — одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого Нового здания, который администрация именовала Сен-Бернарским двором, а воры — Львиным рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и подымающаяся в уровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых заржавленных железных ворот, ведущих в прежнюю часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, и под ним надпись:

###### БРЮЖОН, 1811

Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 года.

Последний, которого мы видели лишь мельком в засаде Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении.

Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустяк их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление — отнюдь не помеха для подготовки другого. Так художники, выставив картину в Салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской.

Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. То он целыми часами простаивал на дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, как идиот, созерцая гнусный прейскурант этой тюремной лавчонки, начинавшийся: «чеснок — 62 сантима» и кончавшийся: «сигара — 5 сантимов», то весь трясся, стучал зубами и, жалуясь на лихорадку, справлялся, не освободилась ли одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных.

Вдруг во второй половине февраля 1832 года узнали, что Брюжон, этот рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в пятьдесят су, — непомерная сумма, обратившая внимание начальника тюремной стражи.

Разузнав об этом и справившись с тарифом поручений, вывешенным в приемной тюрьмы, пришли к выводу, что пятьдесят су были распределены таким образом: из трех поручений одно было в Пантеон — десять су, другое в Валь-де-Грас — пятнадцать су, третье на Гренельскую заставу — двадцать пять су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу. А вблизи Пантеона, в Валь-де-Грас и у Гренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг: Процентщика, или Бизарро, Бахвала — каторжника, отбывшего наказание, и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции. Предполагалось, что они были связаны с Петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение относительно какого-то злодейского умысла. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона предупреждены.

Приблизительно через неделю после того, как приняли эти меры, ночью один из надсмотрщиков, надзиравший за нижней спальней Нового здания, уже собираясь опустить в ящик свой жетон, — таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выполнили свои обязанности, ибо каждый час в ящики, прибитые к дверям спален, опускается по жетону, — через глазок в дверях спальни увидел Брюжона, который, сидя на своей койке, что-то писал при свете ночника. Сторож вошел, Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти того, что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать.

Достоверно только, что на следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлемань в Львиный ров был переброшен «почтальон».

Заключенные называют «почтальоном» артистически скатанный хлебный шарик, который посылается «в Ирландию», иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения: через Англию, с одного берега на другой, то есть в Ирландию. Шарик падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную кому-либо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению; если же ее поднимает сторож или один из тайно оплачиваемых заключенных, которых в тюрьмах называют «наседками», а на каторге «лисами», то записка относится в канцелярию и вручается полиции.

На этот раз «почтальон» был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался не кто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки Петушиного часа.

«Почтальон» заключал в себе свернутую бумажку, содержавшую всего две строки:

«Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме. Сад за решеткой».

Это и писал Брюжон ночью.

Несмотря на надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сальпетриер, к одной своей «подружке», которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой, некоей Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардье в близких отношениях, о которых будет точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мадлонет.

Как раз в это самое время, ввиду недостатка улик против дочерей Тенардье при расследовании его дела, Эпонина и Азельма были освобождены.

Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку Брюжона к Бабету, поручив ей *осветить дельце.*

Эпонина отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к Маньон, жившей на улице Клошперс, сухарь, который Маньон передала любовнице Бабета в Сальпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означает: *нечего делать.*

Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке дозорных тюрьмы Форс — один, идя «допрашиваться», а другой, возвращаясь с допроса. «Ну, что улица П.?» — спросил Брюжон. «Сухарь», — ответил Бабет.

Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем.

Однако это привело к некоторым последствиям, правда, совершенно чуждым планам Брюжона. Читатель узнает о них в свое время.

Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие.

#### Глава 3

#### Видение дедушки Мабефа

Мариус никого больше не навещал, и только изредка ему случалось встретить дедушку Мабефа.

В то самое время, когда Мариус медленно спускался по мрачным ступеням, которые можно назвать лестницей подземелья, ведущей в беспросветную тьму, где слышишь над собой шаги счастливцев, спускался туда и г-н Мабеф.

«Флора Котере» больше не находила покупателей. Опыты с индиго в маленьком, плохо расположенном Аустерлицком саду окончились неудачей. Г-ну Мабефу удалось вырастить там лишь несколько редких растений, любящих сырость и тень. Однако он не отчаивался. Он добился хорошего уголка земли в Ботаническом саду, чтобы произвести там «на свой счет» опыты с индиго. Для этого он заложил в ломбарде медные клише «Флоры». Он ограничил завтрак двумя яйцами, причем одно из них оставлял своей служанке, которой не платил жалованья уже пятнадцать месяцев. И часто этот завтрак являлся единственной его трапезой за весь день. Он уже не смеялся своим детским смехом, стал угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно поступал, не посещая его больше. Но иногда, в часы, когда г-н Мабеф отправлялся в Ботанический сад, старик и юноша встречались на Госпитальном бульваре. Они не вступали в беседу и только грустно обменивались поклоном. Страшно подумать, что приходит минута, когда нищета разъединяет! Были приятелями, а стали друг для друга прохожими.

Книготорговец Руайоль умер. Мабеф знался теперь только со своими книгами, своим садом и своим индиго; в эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежда. Этого ему было достаточно, чтобы жить. Он говорил себе: «Когда я изготовлю синие шарики, я разбогатею, выкуплю из ломбарда медные клише, потом при помощи шумной рекламы и газетных объявлений ловко создам новый успех моей «Флоре» и куплю, уж я-то знаю где, «Искусство навигации» Пьера де Медина, с гравюрами на дереве, издания 1559 года». Пока же он целые дни работал над своей грядкой с индиго, а вечером возвращался к себе, поливал свой садик и читал книги. В это время ему было без малого восемьдесят лет.

Однажды вечером ему представилось странное видение.

Он вернулся к себе еще совсем засветло. Тетушка Плутарх, здоровье которой пошатнулось, была больна и лежала в постели. Обглодав вместо обеда косточку, на которой оставалось немного мяса, и съев кусок хлеба, найденный на кухонном столе, он уселся на опрокинутую каменную тумбу, служившую скамьей в его саду.

Возле этой скамьи стояло, как водилось прежде в плодовых садах, нечто вроде большого, сколоченного из брусьев и теса весьма ветхого ларя, нижнее отделение которого служило кроличьим садком, а верхнее — кладовой для фруктов. В садке не было больше кроликов, но в кладовой еще лежало несколько яблок. Это были остатки зимнего запаса.

Господин Мабеф, надев очки, принялся перелистывать и просматривать две книги, весьма его волновавшие и даже, что еще примечательнее в его возрасте, занимавшие до крайности. Природная робость способствовала некоторой его восприимчивости к суевериям. Первой из этих книг был знаменитый трактат президента Деланкра «О личинах демонов», вторая, in quarto, Мютор де ла Рюбодьера «О воверских дьяволах и бьеврских кобольдах». Последняя книжица интересовала его тем более, что сад его являлся местом, которое встарь посещали кобольды. Наступавшие сумерки окрасили в бледные цвета небо и в темные — землю. Читая, дедушка Мабеф поглядывал поверх книги, которую держал в руке, на свои растения и среди них на великолепный рододендрон, бывший его утешением. Вот уже четыре дня, как стояла жара, дул ветер, палило солнце и не выпало ни капли дождя; стебли растений согнулись, бутоны поникли, листья повисли — все это нуждалось в поливке. Вид рододендрона был особенно печален. Дедушка Мабеф принадлежал к числу тех людей, которые и в растениях чувствуют душу. Старик целый день проработал над своей грядкой индиго и выбился из сил; все же он встал, положил книги на скамью и отправился неверными шагами, совсем сгорбившись, к колодцу; но, ухватившись за цепь, не мог даже дернуть ее настолько, чтобы снять с крюка. Тогда он обернулся и поднял взгляд, полный мучительной тоски, к загоравшемуся звездами небу.

В вечернем воздухе была разлита спокойная ясность, которая смягчает боль человеческой души какой-то скорбной и вечной радостью. Ночь обещала быть столь же знойной, как и день.

«Все небо в звездах! — думал старик. — Нигде ни облачка! Ни одной дождинки!»

И снова опустил поднятую было голову. Затем, опять взглянув на небо, прошептал:

— Хоть бы одна росинка! Хоть капля жалости!

Он попытался еще раз снять цепь с крюка на колодце и не смог.

Туг он услышал голос, произнесший:

— Дедушка Мабеф, хотите, я полью ваш сад?

В то же время в изгороди послышался треск, словно через нее пробирался дикий зверь; из-за кустов вышла высокая худая девушка, которая остановилась против него, смело глядя ему в глаза. Казалось, это было не человеческое существо, а видение, порожденное сумерками.

Прежде чем дедушка Мабеф, который, как мы отмечали, легко приходил в смущение и легко пугался, мог произнести хотя бы один звук, девушка, чьи движения в темноте приобрели какую-то странную порывистость, сняла с крюка цепь, спустила в колодец и, вытащив наверх ведро, наполнила лейку, а затем добрый старик увидел, как это босоногое, одетое в драную юбчонку привидение стало носиться среди грядок, одаряя все вокруг себя жизнью. Шум воды, льющейся по листьям, наполнял душу дедушки Мабефа восхищением. Ему казалось, что теперь рододендрон счастлив.

Вылив одно ведро, девушка вытащила второе, затем третье. Она полила весь сад.

Когда она бегала по аллеям в развевающейся изорванной косынке, размахивая длинными костлявыми руками, черный ее силуэт чем-то напоминал летучую мышь.

Лишь только она окончила свое дело, дедушка Мабеф со слезами на глазах подошел к ней и положил ей руку на голову.

— Да благословит вас господь, — сказал он, — вы ангел, потому что вы заботитесь о цветах.

— Ну нет, — ответила она, — я дьявол, а впрочем, мне это все равно.

Старик, не ожидая ее ответа и не слыша его, воскликнул:

— Как жаль, что я так несчастен и так беден и не могу ничего сделать для вас!

— Кое-что вы можете сделать, — ответила она.

— Что же?

— Сказать мне, где живет господин Мариус.

Старик сначала не понял.

— Какой господин Мариус?

Он поднял свой тусклый взгляд, казалось, всматриваясь во что-то исчезнувшее.

— Да тот молодой человек, который прежде бывал у вас.

Тем временем г-н Мабеф усиленно рылся в памяти.

— А, да... — вскричал он, — понимаю, что вы хотите сказать. Стойте! Господин Мариус... барон Мариус Понмерси, черт возьми! Он живет... или, вернее, он там больше не живет... Ах, нет, я не знаю.

Разговаривая с нею, он наклонился, чтобы поправить веточку рододендрона.

— Подождите, — продолжал он, — теперь я вспомнил. Он очень часто проходит по бульвару в сторону Гласьер. На улицу Крульбарб. На Жаворонково поле. Идите туда. Там его легко встретить.

Когда г-н Мабеф выпрямился, уже никого не было, девушка исчезла.

Само собою разумеется, что он немного испугался.

«Право, — подумал он, — если бы мой сад не был полит, я бы решил, что это дух».

Часом позже, когда он лег спать, эта мысль к нему вернулась, и, засыпая, в тот неуловимый миг, когда мало-помалу мысль принимает форму сновидения, чтобы пронестись сквозь сон, подобно сказочной птице, превращающейся в рыбу, чтобы переплыть море, он невнятно пробормотал:

— В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о кобольдах. Не был ли это кобольд?

#### Глава 4

#### Видение Мариуса

Спустя несколько дней после того, как «дух» посетил дедушку Мабефа, однажды утром, в понедельник, — день, когда Мариус обычно брал взаймы у Курфейрака сто су для Тенардье, — Мариус опустил монету в сто су в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился «немного прогуляться», в надежде, что, возвратившись, будет лучше работать. Впрочем, это повторялось изо дня в день. Встав, он тотчас садился за стол с книгой и листом бумаги, думая состряпать какой-нибудь перевод, — как раз в это время он взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор — контроверзы Ганса и Савиньи; он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался написать хотя бы одну и не мог, он видел какую-то звезду, сиявшую между ним и бумагой, и вставал со словами: «Надо пройтись. Это меня оживит».

И шел на Жаворонково поле.

А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклей становились Савиньи и Ганс.

Он возвращался домой, пытался снова взяться за работу, но безуспешно; ему не удавалось связать ни одной оборванной нити своих мыслей. Тогда он говорил: «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И выходил каждый день.

Он жил скорее на Жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был таков: бульвар Санте, седьмое дерево от улицы Крульбарб.

В это утро он покинул свое седьмое дерево и уселся на парапете набережной речки Гобеленов. Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распустившуюся и блестевшую листву.

Он думал о «ней». И его думы, переходя в упрек, обращались к нему самому; он с горечью размышлял о своей лени, об этом параличе души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца.

У него даже не было сил отчаиваться. Однако сквозь эту грустную сосредоточенность, сквозь этот поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже монологом, настолько ослабела в нем способность к действию, Мариус все же воспринимал впечатления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны — шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга; с другой — шум работы. Эти-то веселые звуки и навеяли на него глубокую задумчивость, почти переходившую в размышления.

Отдавшись этому восторженно-угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос:

— А вот и он!

Он поднял голову и узнал ту несчастную девочку, которая пришла к нему однажды утром, — старшую дочь Тенардъе, Эпонину: теперь ему было известно ее имя. Странно, на вид она еще больше обнищала, но похорошела — перемена, на которую она отнюдь не казалась прежде способной. Она осуществила двойной прогресс: на пути к свету и к нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату, только теперь ее лохмотья были на два месяца старее: дыры стали шире, рубище еще омерзительнее. У нее был тот же хриплый голос, тот же поблекший и сморщенный от загара лоб, тот же бойкий, блуждающий и неуверенный взгляд. На ее физиономии еще сильней, чем прежде, проступало то неопределенное испуганное и жалкое выражение, которое придает нищете знакомство с тюрьмой.

В волосах у нее запутались стебельки соломы и сена, но по иной причине, чем у Офелии: она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале.

И несмотря на все это, она была хороша. О юность, какая звезда сияет в тебе!

Она остановилась перед Мариусом, на бледном ее лице появился слабый проблеск радости и что-то напоминавшее улыбку.

Некоторое время она молчала, словно не в силах была говорить.

— Все-таки я вас нашла! — сказала она наконец. — Дедушка Мабеф правильно сказал про этот бульвар! Как я вас искала, если бы вы знали! Я была под арестом. Знаете? Две недели! Меня выпустили! Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не отвечаю. Мне не хватает двух месяцев. Сколько я вас искала! Целых шесть недель. Значит, теперь вы там не живете?

— Нет, — ответил Мариус.

— А! Понимаю. Из-за того дела? До чего неприятны эти полицейские налеты. Вы, значит, переехали? Послушайте, почему вы носите такую старую шляпу? Молодой человек, такой, как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, дедушка Мабеф называет вас бароном Мариусом, а дальше — не упомню как. Но ведь вы не барон? Бароны — они старые, они гуляют в Люксембургском саду, перед дворцом, где много солнышка, они читают «Ежедневник», по су за номер. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. Ну, скажите, где вы живете теперь?

Мариус не отвечал.

— Ах, — продолжала она, — у вас рубашка порвалась! Я вам зашью.

Она прибавила с печальным выражением:

— Вы как будто не рады меня видеть?

Мариус молчал; она тоже помолчала минутку, потом вскричала:

— А все-таки если я захочу, то вы будете очень рады!

— Как? — спросил Мариус. — Что вы этим хотите сказать?

— Ах, вы прежде говорили мне «ты»! — заметила она.

— Ну хорошо, что же ты хочешь сказать?

Она закусила губу; казалось, она колеблется, словно борясь с собой. Наконец, по-видимому, решилась.

— Тем хуже, но все равно. Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете: «А, вот это хорошо!» Бедный господин Мариус! Помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу...

— Да, да! Говори же!

Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала:

— Я знаю адрес.

Мариус побледнел. Вся кровь хлынула ему к сердцу.

— Какой адрес?

— Адрес, который вы у меня просили!

И прибавила как бы с усилием:

— Адрес... Ну, вы ведь сами знаете...

— Да, — пролепетал Мариус.

— Той барышни!

Произнеся это слово, она глубоко вздохнула.

Мариус вскочил с парапета, на котором он сидел, и вне себя схватил ее за руку.

— О! Так проводи меня! Скажи! Проси у меня чего хочешь! Где это?

— Пойдемте со мной, — ответила она. — Я не знаю точно номера и улицы. Это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом, я вас провожу.

Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не опьяненного, охваченного восторгом Мариуса:

— О, как вы рады!

Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонину за руку.

— Поклянись мне в одном!

— Поклясться? Что это значит? Ах! Вы хотите, чтобы я поклялась вам?

И она засмеялась.

— Твой отец!.. Обещай мне, Эпонина! Поклянись, что ты не скажешь этого адреса отцу!

Она обернулась к нему, ошеломленная.

— Эпонина! Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина?

— Обещай мне сделать то, о чем я тебя прошу!

Но она, казалось, не слышала.

— Как это мило! Вы назвали меня Эпониной!

Мариус взял ее за обе руки.

— Но ответь же мне! Ради бога! Слушай внимательно, что я тебе говорю, поклянись мне, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу!

— Моему отцу? — переспросила она. — Ах, да, моему отцу! Будьте спокойны. Он в одиночке. Очень он мне нужен, отец!

— Да, но ты мне не обещаешь! — вскричал Мариус.

— Ну, пустите же меня! — рассмеявшись, сказала она. — Как вы меня трясете! Хорошо! Хорошо! Я обещаю! Клянусь! Мне это ничего не стоит! Я не скажу адреса отцу. Ну, идет? В этом все дело?

— И никому?

— Никому.

— А теперь, — сказал Мариус, — проводи меня.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Идем. О, как он рад! — вздохнула она.

Сделав несколько шагов, она остановилась.

— Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите позади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я.

Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой.

Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему и как бы в сторону, она проговорила:

— Кстати, вы ведь обещали мне кое-что?

Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков, предназначенных для Тенардье. Он вынул их и сунул в руку Эпонине.

Она разжала пальцы, уронила монету на землю и, мрачно глядя на него, сказала:

— Не нужны мне ваши деньги.

### Книга третья

### Дом на улице Плюме

#### Глава 1

#### Таинственный дом

В середине прошлого столетия председатель парижской судебной палаты, у которого была тайная любовница, — в ту эпоху знатные господа выставляли своих любовниц напоказ, а буржуа их прятали, — построил «загородный домик» в предместье Сен-Жермен, на пустынной улице Бломе, ныне именуемой Плюме, недалеко от того места, что некогда называлось «Бой зверей».

Этот дом представлял собой двухэтажный особняк: две залы в первом этаже, две комнаты во втором, внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак, перед домом сад с широкой решеткой, выходящей на улицу. Сад занимал почти арпан, — только его и могли разглядеть прохожие. Но за особняком был еще узенький дворик, а в его глубине — низкий флигель из двух комнат, с погребом, словно приготовленный на тот случай, если придется скрывать ребенка и кормилицу. Из флигеля, через потайную калитку позади него, можно было выйти в длинный, узкий коридор, вымощенный, но без свода, и извивавшийся между двух высоких стен. Скрытый с замечательным искусством и как бы затерявшийся между оградами садов и огородов, все углы и повороты которых он повторял, этот проход вел к другой потайной калитке, открывавшейся в четверти мили от сада, почти в другом квартале, в пустынном конце Вавилонской улицы.

Господин председатель пользовался именно этим входом, так что даже если бы кто-нибудь следил за ним неотступно и установил его ежедневные таинственные отлучки, то не мог бы догадаться, что идти на Вавилонскую улицу — значит отправиться на улицу Бломе. Благодаря ловко прикупленным земельным участкам изобретательный судья смог проложить потайной ход у себя, на своей собственной земле, и, стало быть, не опасаясь никакого надзора. Позднее он распродал небольшими участками, под сады и огороды, землю по обе стороны этого коридора, и собственники участков полагали, что перед ними просто пограничная стена, не подозревая даже о существовании длинной вымощенной тропинки, змеившейся между двух заборов, среди их гряд и фруктовых садов. Только одни птицы видели эту любопытную штуку. Возможно, малиновки и синички прошлого столетия немало посплетничали насчет господина председателя.

Каменный особняк, построенный во вкусе Мансара, отделанный и обставленный во вкусе Ватто — рокайль внутри, рококо снаружи, — окруженный тройной цветущей изгородью, производил впечатление какой-то скрытности, кокетливости и важности, как и подобает капризу любви и судебного ведомства.

Этот дом и проход, исчезнувшие теперь, еще были на месте пятнадцать лет тому назад. В 93-м году некий медник купил дом на слом, но так как он не мог уплатить всей суммы в срок, его объявили несостоятельным. Таким образом, дом, предназначенный на слом, сломил медника. С тех пор дом оставался необитаемым и постепенно ветшал, как всякое здание, которому присутствие человека не сообщает больше жизни. Он сохранил всю свою старую меблировку и снова продавался или сдавался внаймы; выцветшее и малоразборчивое объявление, висевшее на решетке сада с 1810 года, извещало об этом тех десять или двенадцать горожан, которые в течение года проходили по улице Плюме.

К концу Реставрации те же прохожие могли заметить, что объявление исчезло и даже открылись ставни первого этажа. Дом и в самом деле был занят. Окна его украсились занавесочками — признак того, что там жила женщина.

В октябре 1829 года явился человек солидного возраста и снял усадьбу целиком, включая, разумеется, и задний флигель, и внутренний проход, кончавшийся на Вавилонской улице. Он велел привести в прежний вид два потайных выхода этого коридора. В доме, как мы упоминали, сохранилась почти вся старая обстановка господина председателя; новый жилец приказал кое-что обновить, прибавил там и сям то, чего не хватало, перемостил кое-где двор, восстановил выпавшие из стен кирпичи, ступеньки на лестнице, бруски в паркете, стекла в окнах и, наконец, вместе с молодой девушкой и старой служанкой незаметно переехал туда, словно проскользнув, а не открыто вступив хозяином в свой дом. Соседи не болтали об этом по той причине, что соседей не было.

Этот скромный жилец был Жан Вальжан, молодая девушка — Козетта. Служанка, по имени Тусен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты, была старая дева, провинциалка и заика — три качества, повлиявшие на решение Жана Вальжана взять ее с собой. Он снял дом на имя г-на Фошлевана, рантье. На основании всего того, что было рассказано раньше, читатель, без сомнения, еще быстрее признал Жана Вальжана, чем это удалось сделать Тенардье.

Почему Жан Вальжан покинул монастырь Малый Пикпюс? Что с ним случилось?

Ничего не случилось.

Как читатель помнит, Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что в нем в конце концов заговорила совесть. Он видел Козетту каждый день, он ощущал, как растет и крепнет в нем отцовское чувство, он нежно лелеял этого ребенка, он говорил себе, что она принадлежит ему, что никто ее не отнимет и так будет длиться бесконечно, что она, наверно, сделается монахиней, ибо ее каждый день к этому мягко понуждали, что монастырь, таким образом, станет для нее, как и для него, вселенной, что он там состарится, а она вырастет, потом и она состарится, а он умрет, что — о восхитительная надежда! — они никогда не разлучатся. Размышляя об этом, он впал в сомнение. Он подверг себя допросу. Он спрашивал себя, имеет ли он право на все это счастье, не создано ли оно из чужого счастья, из присвоенного и утаенного им, стариком, счастья этого ребенка? Не было ли это кражей? Он говорил себе, что это дитя имело право узнать жизнь, прежде чем отказаться от нее; что отнять у ребенка заранее, и как бы помимо его согласия, все радости под предлогом спасения от всех испытаний, воспользоваться его неведением и одиночеством, чтобы искусственно взрастить в нем жизненное призвание, — значит изуродовать человеческое существо и солгать богу. И, кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Козетта, отдав себе отчет во всем этом и сожалея о своем монашестве? Последняя мысль, менее самоотверженная, чем другие, почти эгоистическая, была для него невыносима. Он решил покинуть монастырь.

Он решился на это с отчаяньем, признав, что должен так поступить. Что касается препятствий, то их не было. Пять лет жизни, проведенных между этими четырьмя стенами со времени его исчезновения, должны были уничтожить или рассеять всякий страх. Он мог спокойно появиться среди людей. Он состарился, и все изменилось. Кто его узнает теперь? И кроме того, если предположить самое худшее, угроза опасности существовала только для него одного, и он не имел права присуждать Козетту к монастырю на том основании, что сам был присужден к каторге. Да и что такое опасность по сравнению с долгом? Наконец, ничто не мешает ему быть осмотрительным и принять меры предосторожности.

К этому времени воспитание Козетты было почти полностью закончено.

Остановившись на определенном решении, он стал ожидать случая, который не замедлил представиться. Умер старый Фошлеван.

Жан Вальжан испросил приема у достопочтенной настоятельницы и сказал ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, отныне позволяющее ему жить не работая, он оставляет службу в монастыре и берет с собою дочь; но так как было бы несправедливо, чтобы девочка, не принявшая монашеского обета, бесплатно воспитывалась в обители, то он смиренно просит достопочтенную настоятельницу согласиться на возмещение в пять тысяч франков, которое он и предлагает иноческому общежитию за пять лет, проведенных Козеттой под его кровом.

Так Жан Вальжан покинул монастырь Неустанного поклонения.

Оставляя монастырь, он сам нес, не доверяя носильщику, небольшой чемодан, ключ от которого всегда имел при себе. Чемоданчик возбуждал любопытство Козетты, так как от него исходил запах бальзама.

Заметим тут же, что отныне он не расставался с этим чемоданом и всегда держал его в своей комнате. То была первая, а иногда и единственная вещь, которую он уносил во время своих переселений. Козетта смеялась над этим и называла чемодан *неразлучным,* добавляя: «Я ревную к нему».

Однако Жан Вальжан вновь вышел на волю не без глубокой тревоги.

Он снял дом на улице Плюме и укрылся там под именем Ультама Фошлевана.

В это же время он снял две другие квартиры в Париже, чтобы не слишком привлекать внимание, всегда проживая на одной улице, и иметь возможность, в случае необходимости, исчезнуть при малейшей тревоге, — словом, не быть захваченным врасплох, как в ту ночь, когда он таким чудесным образом спасся от Жавера. Эти два помещения были убогими и бедными с виду квартирками в двух кварталах, весьма отдаленных друг от друга, — одна на Западной улице, другая на улице Вооруженного человека.

Время от времени вместе с Козеттой, но без Тусен он отправлялся то на улицу Вооруженного человека, то на Западную улицу, чтобы провести там месяц, полтора. Он пользовался там услугами привратников и выдавал себя за живущего в предместье рантье, у которого было пристанище и в городе. Столь высокая добродетель имела три жилища в Париже, чтобы ускользнуть от полиции.

#### Глава 2

#### Жан Вальжан — национальный гвардеец

Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свое существование следующим образом.

Козетта со служанкой занимала особняк; у нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с ковровыми обоями и широкими креслами; Козетта была и хозяйкой сада. Жан Вальжан велел поставить в спальне Козетты кровать с балдахином из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице Фигье-Сен-Поль у старухи Гоше; желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к этим древностям легкую и изящную обстановку, подобающую молодой девушке: этажерку, книжный шкаф и книги с золотыми обрезами, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, несессер золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные, подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели вышитые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминающем сторожку, где была складная кровать с тюфяком, некрашеный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу — его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой, к столу ему подавали пеклеванный хлеб. Когда Тусен перебралась в дом, он ей сказал: «Здесь хозяйка — барышня». — «А вы, су-сударь?» — спросила озадаченная Тусен. «Я гораздо больше, чем хозяин: я — отец!»

В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козетту под руку, шел с нею на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье — к обедне, обычно в церковь Сен-Жак-дю-О-Па, именно потому, что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный, Жан Вальжан щедро раздавал там подаяние, и в церкви вокруг него толпились нищие; последнее обстоятельство и послужило причиной послания Тенардье, направленного «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Плюме. Тусен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для запасов дров и вина воспользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами пещеры, по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину председателю: во времена «загородных домиков» и «приютов страсти нежной» не было любви без грота.

К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет; но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в национальной гвардии; он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в эту эпоху, распространились и на монастырь Малый Пикпюс — на это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого Жан Вальжан в глазах мэрии был особой почтенной и, следовательно, достойной вступить в ряды национальной гвардии.

Три или четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и нес свою караульную службу, впрочем, весьма охотно; то было законное переодевание, которое связывало его со всеми другими людьми, оставляя в то же время обособленным. Жану Вальжану уже минуло шестьдесят лет — возраст законного освобождения от воинской службы; но ему нельзя было дать больше пятидесяти, к тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Лобо. У него не было общественного положения, он скрывал свое имя, скрывал свое подлинное лицо, скрывал свой возраст, скрывал вес и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походить на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством, — в этом заключалось все его честолюбие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешностью он стремился уподобиться буржуа.

Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дома вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая всем своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один, а это бывало обычно вечером, то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было — предосторожность или скромность? И то и другое. Козетта привыкла к тому, что в жизни ее много загадочного, и едва замечала странности отца. Что касается Тусен, то она почитала Жана Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жана Вальжана, сказал ей: «Это какой-то чудак». Она ответила: «Это святой».

Ни Жан Вальжан, ни Козетта, ни Тусен не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, — разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка всегда была заперта. Сад Жан Вальжан оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания.

Но в этом он, быть может, заблуждался.

#### Глава 3

#### Foliis ac frondibus[[3]](#footnote-3)

Сад, разраставшийся на свободе в продолжение полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок тому назад прохожие останавливались на улице, засматриваясь на него и не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Не один мечтатель в ту пору, и при этом не раз, пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной, шаткой, запертой на замок решетки, покривившейся меж двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками.

Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи, несколько шпалер, сорванных временем и догнивавших на стене; от аллей и газонов не осталось следа; куда ни взглянешь, всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии, это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкои. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего к жизни; там было царство окруженного почетом произрастания. Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение карабкалось вверх, ветка склонялась долу, то, что расстилается по земле, встречалось с тем, что расцветает в воздухе, то, что колеблет ветер, влеклось к тому, что прозябает во мху; стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки — все это смешалось, перепуталось, переженилось, слилось; растительность в проникновенном и тесном объятии славила и свершала там, под благосклонным взором творца, на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов, свое святое таинство братства — символ братства человеческого. Этот сад уже не был садом — он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа.

В флореале эта огромная заросль, вольная за своей решеткой и в своих четырех стенах, страстно вступала в глухую работу вселенского размножения, содрогаясь на восходе солнца почти так же, как животное, которое вдыхает веяния космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки; потрясая по ветру своей чудесной зеленой гривой, она сыпала на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуга рос, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было упоительно смотреть, как хлопьями вихрился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов нежно сообщал что-то душе, и то, что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером словно испарения грез поднимались в саду и застилали его; он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью; пьянящий запах жимолости и повилики наплывал отовсюду, словно изысканный и тончайший яд; слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших на ветвях; там чувствовалась священная близость дерева и птицы: днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья.

Зимою заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода; сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капелек росы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по холодному и толстому ковру желтых листьев; но каков бы ни был этот обнесенный оградой уголок, каким бы ни казался в любое время года — весной, зимой, летом, осенью, — от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием бога; и старая заржавевшая решетка, казалось, говорила: «Этот сад — мой».

Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, в двух шагах — великолепные классические особняки улицы Варенн, совсем рядом — купол Дома инвалидов, недалеко — палата депутатов; пусть по соседству, на улицах Бургундской и Сен-Доминик, катили щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные омнибусы проезжали на ближайшем перекрестке, — улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушения былых состояний, безвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледно-зеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые; чтобы из глубины земли возникло и снова появилось среди этих четырех стен неведомое, дикое и нелюдимое величие и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющаяся там, где она себя проявляет, будь это муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу Нового Света.

На самом деле в природе нет ничего незначительного; тот, кто наделен даром глубокого проникновения в нее, знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего.

Алгебра приложима к облакам; излучение звезды приносит пользу розе; ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен созвездиям. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает о взаимопроникновении бесконечно великого и бесконечно малого, об отголосках первопричин в безднах отдельного существа и в лавинах творения? И клещ — явление значительное; малое велико, великое мало; все уравновешивается необходимостью; видение, устрашающее разум! Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь; в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу; одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает; ночь оделяет звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворящее начало усложняется — от образования метеора и до удара клювом, которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу; оно приводит равно к созданию дождевого червя и к появлению Сократа. Там, где кончается телескоп, начинается микроскоп. У кого из них поле зрения более велико? Выбирайте. Плесень — это плеяда цветов; туманность — муравейник звезд. Та же тесная близость, и еще более удивительная, между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других — и в конечном счете приводят мир материальный и мир духовный к одной и той же ясности. Явления природы беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь вселенной движется вперед и назад в неведомых объемах, вращая все в невидимой мистерии возникновения, пользуясь всем, не теряя даже грезы, даже сновидения, — здесь зарождая инфузорию, там дробя на части звезду, колеблясь и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная повсюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, называемой «я»; сводя все к душе — атому; раскрывая все в боге; смешивая все деятельные начала, от самых возвышенных до самых низменных, во мраке этого головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя — кто знает? быть может, лишь по тождеству закона — передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система зубчатых колес, первый двигатель которой — мошка, а последнее колесо — зодиак.

#### Глава 4

#### После одной решетки другая

Казалось, этот сад, созданный некогда для того, чтобы скрывать тайны волокитства, преобразился и стал достойным укрывать тайны целомудрия. В нем не было больше ни беседок, ни лужаек, ни темных аллей, ни гротов; здесь воцарился великолепный сумрак, который, сгущаясь то здесь, то там, ниспадал наподобие вуали отовсюду. Пафос вновь превратился в Эдем. Словно чье-то покаяние очистило этот укромный уголок. Эта цветочница предлагала теперь свои цветы душе. Кокетливый садик, имевший в свое время весьма подозрительную репутацию, снова стал девственным и стыдливым. Председатель, с помощью некоего садовника, — один из этих чудаков вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой — продолжателем искусства Ленотра, — исковеркал его, обкромсал, прилизал, выфрантил, приспособил для галантных похождений; природа снова завладела им, наполнила тенью и приуготовила для любви.

Теперь в этом уединенном уголке очутилось и сердце, готовое любить. Осталось лишь появиться любви; для нее здесь был храм из зелени, трав, мха, птичьих стонов, мягких сумерек, колеблющихся ветвей, и была душа, созданная из нежности, веры, чистоты, надежды, порывов и иллюзий.

Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей едва исполнилось четырнадцать лет, и она вступила в «неблагодарный возраст»; как мы уже упоминали, если не говорить о глазах, она выглядела скорее дурнушкой, чем красивой; в ней не было, впрочем, ничего неприятного, но она казалась нескладной и худой, робкой и смелой одновременно, — словом, это был подросток.

Ее воспитание считалось законченным, то есть ей преподали закон божий и в особенности благочестие; затем «историю», то есть то, что под этим названием подразумевают в монастыре, географию, грамматику, спряжения, имена французских королей, немного музыки, научили рисовать профили и т. д., но, в общем, она не знала ничего, а в этом таится и очарование, и опасность. Душу молодой девушки не следует оставлять в потемках, — впоследствии в ней возникают миражи, слишком резкие, слишком яркие, как в темной комнате. Рассеять в ней тьму должно мягко и исподволь, скорее отблеском действительности, нежели ее прямым и жестким лучом. Этот полусвет, полезный и привлекательно строгий, разгоняет ребяческие страхи и препятствует падениям. Только материнский инстинкт — это изумительное прирожденное чувство, с которым слиты девические воспоминания и женская опытность, — знает, как, каким образом должно создавать такой полусвет. Ничто не может заменить этот инстинкт. Когда дело идет о воспитании души молодой девушки, все монахини на свете не стоят одной матери.

У Козетты не было матери. Были только матери-монахини, всего лишь множественное число от слова «мать».

Что же касается Жана Вальжана, то, хотя в нем воплощались все нежные отцовские чувства и заботливость, он был не более как старик, ничего в этом не понимавший.

Действительно, в подвиге воспитания, в этом важном деле подготовки женщины к жизни, сколько нужно знаний, чтобы бороться с тем великим неведением, которое именуется невинностью!

Ничто так не предрасполагает молодую девушку к страстям, как монастырь. Монастырь обращает мысль в сторону неизвестного. Сердце, сосредоточившееся на самом себе, страдает, потеряв возможность излиться, и замыкается, потеряв возможность расцвести. Отсюда видения, предположения, догадки, придуманные романы, жажда приключений, фантастические волшебные замки, целиком созданные во внутренней тьме разума, — сумрачные и тайные жилища, где страсти находят себе пристанище, как только оставленная позади монастырская решетка открывает им туда доступ. Монастырь — это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческим сердцем, должен длиться всю жизнь.

Покинув монастырь, Козетта не могла найти ничего более приятного и опасного, чем дом на улице Плюме. Это было продолжение одиночества, но и начало свободы; замкнутый сад, но яркая, богатая, сладострастная и благоуханная природа; те же сны, что и в монастыре, но и мельком увиденные молодые люди; решетка, но на улицу.

Однако, повторяем, прибыв сюда, она была еще только ребенком. Жан Вальжан предоставил ей этот запущенный сад. «Делай здесь все, что хочешь», — сказал он ей. Это забавляло Козетту; она обшарила кусты, переворошила камни, она искала там «зверушек»; она там играла, пока не пришла пора мечтать; она любила этот сад ради тех насекомых, которых находила у себя под ногами в траве, пока не пришла пора любить его ради тех звезд, которые она увидит сквозь ветви над своей головой.

И потом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, всею своей душой, с наивной дочерней страстью и видела в старике желанного и приятного товарища. Как помнит читатель, г-н Мадлен много читал; Жан Вальжан продолжал чтение и стал хорошим рассказчиком; он обладал скрытым богатством и красноречием подлинного пытливого и смиренного ума. В нем осталось ровно столько жесткости, сколько требовалось, чтобы оттенить его доброту; то был суровый ум и нежное сердце. В Люксембургском саду, в беседах с глазу на глаз, он давал пространные объяснения всему, черпая их из того, что читал, и из того, что пережил. Козетта слушала с мечтательным блуждающим взором.

Этот простой человек удовлетворял мысль Козетты так же, как этот дикий сад — ее глаза. Устав гоняться за бабочками, она, запыхавшись, прибегала к нему и восклицала: «Ах, как я набегалась!» Он целовал ее в лоб.

Козетта обожала доброго старика. Она всегда ходила за ним по пятам. Ей было хорошо всюду, где был Жан Вальжан. Так как он не жил ни в саду, ни в особняке, то и она предпочитала задний мощеный дворик своему уголку, заросшему цветами, и маленькую каморку с соломенными стульями — большой гостиной, обтянутой ковровыми обоями, где у стен стояли мягкие кресла. Иногда Жан Вальжан, счастливый тем, что ему докучают, говорил улыбаясь: «Ну, поди же к себе! Дай мне побыть одному».

Козетта ему отвечала очаровательной нежной воркотней, которая приобретает особенную прелесть в устах дочери, обращающейся к отцу:

— Отец, мне очень холодно у вас, почему вы не положите здесь ковер и не поставите печку?

— Дорогое дитя, на свете столько людей, лучших, чем я, а у них нет даже крыши над головой.

— Почему же в таком случае у меня тепло и есть все, что нужно?

— Потому что ты женщина и ребенок.

— Вот еще! Значит, мужчины должны мерзнуть и плохо жить?

— Некоторые мужчины.

— Очень хорошо, я буду так часто приходить сюда, что вам волей-неволей придется топить.

Потом она ему говорила:

— Отец, почему вы едите такой гадкий хлеб?

— Потому... дочь моя.

— Ах так? Ну и я буду есть такой же.

Тогда, чтобы Козетта не ела черного хлеба, Жан Вальжан принимался есть белый.

Козетта очень смутно помнила детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, которой не знала. Тенардье остались у нее в памяти, как два отвратительных существа из какого-то страшного сна. Она припоминала, что «в один прекрасный день, ночью» ходила в лес за водой. Она думала, что это было далеко-далеко от Парижа. Ей казалось, что жизнь ее началась в пропасти и что Жан Вальжан извлек ее оттуда. Собственное детство представлялось ей временем, когда вокруг себя она видела лишь сороконожек, пауков и змей. Так как у нее не было твердой уверенности в том, что она дочь Жана Вальжана и что он ее отец, то, мечтая по вечерам перед сном, она воображала, что душа ее матери переселилась в этого доброго старика и живет рядом с ней.

Когда он сидел возле нее, она прижималась щечкой к его седым волосам и молчаливо роняла слезу, думая: «Быть может, это моя мать!»

Материнство — понятие совершенно непостижимое для девственности, и Козетта, как это ни странно звучит, в глубоком неведении девочки в конце концов вообразила, что у нее «почти совсем» не было матери. Она даже не знала ее имени. Всякий раз, когда ей случалось спросить об этом Жана Вальжана, тот молчал. Если она повторяла вопрос, он отвечал улыбкой. Однажды она была слишком настойчивой, тогда его улыбка сменилась слезой.

Молчание Жана Вальжана покрывало непроницаемым мраком Фантину.

Сказывалась ли в этом его осторожность? Или уважение? Или боязнь предать ее имя на волю случая, доверив его чужой памяти?

Пока Козетта была мала, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, но, когда она превратилась в молодую девушку, это стало для него невозможным. Ему казалось, что он больше не имеет на то права. Была ли тому причиной Козетта или Фантина, но он испытывал какой-то священный ужас при мысли, что поселит эту тень в сердце Козетты и сделает усопшую третьей участницей их судьбы. Чем более священной становилась для него эта тень, тем более грозной казалась она ему. Он думал о Фантине и чувствовал всю тяжесть молчания. Неясно различал он во мраке что-то, походившее на приложенный к устам палец. Быть может, целомудрие Фантины, которого она была насильственно лишена при жизни, вернулось после ее смерти и, негодующее и угрожающее, распростерлось над ней, чтобы бодрствовать над усопшей и охранять ее покой в могиле. Не испытывал ли Жан Вальжан, сам того не ведая, его воздействия? Мы, веруя в смерть, не принадлежим к числу тех, кто мог бы отклонить это мистическое объяснение. Потому-то он и не мог произнести имя Фантины даже перед Козеттой.

Как-то Козетта сказала ему:

— Отец, сегодня я видела маму во сне. У нее было два больших крыла. Наверно, моя мать при жизни удостоилась святости.

— Да, мученичеством, — ответил Жан Вальжан.

Тем не менее Жан Вальжан был счастлив.

Выходя с ним, Козетта опиралась на его руку, гордая и счастливая до глубины души. При всяком проявлении ее нежности, столь необыкновенной и сосредоточенной лишь на нем одном, Жан Вальжан чувствовал, что душа его тонет в блаженстве. Бедняга трепетал, проникнутый небесной радостью; он восторженно твердил себе, что так будет длиться всю жизнь; он говорил в душе, что, право, недостаточно страдал, чтобы заслужить такое лучезарное счастье, и в глубине души благодарил господа, позволившего, чтобы он, отверженный, был столь любим этим невинным существом.

#### Глава 5

#### Роза замечает, что она стала орудием войны

Однажды Козетта случайно взглянула на себя в зеркало и изумилась. Ей почти показалось, что она хорошенькая. Она почувствовала какое-то странное волнение. До сих пор она совсем не думала о своей внешности. Она смотрелась в зеркало, но не видела себя. И кроме того, ей часто говорили, что она некрасива; только один Жан Вальжан мягко повторял: «Да нет же, нет!» Как бы там ни было, Козетта всегда считала себя дурнушкой и выросла с этой мыслью, легко, по-детски, свыкнувшись с нею. Но вот зеркало сразу сказало ей, как и Жан Вальжан: «Да нет же!» Она не спала всю ночь. «А если и вправду я хороша? — думала она. — Как это было бы забавно, если бы оказалось, что я хороша собой!» И она вспоминала своих блиставших красотой монастырских подруг и повторяла про себя: «Неужели я буду как мадемуазель такая-то!»

На следующий день она уже нарочно посмотрела на себя в зеркало и успокоилась. «Что за вздор пришел мне в голову? — подумала она. — Нет, я дурнушка». Она просто-напросто плохо спала, была бледна, с синевой под глазами. Она не очень обрадовалась накануне, поверив в свою красоту, но теперь была огорчена, разуверившись в ней. Больше она не смотрелась в зеркало и в течение двух недель старалась причесываться, повернувшись к нему спиною.

Вечером, после обеда, она обычно занималась в гостиной вышиванием по канве или какой-нибудь другой работой, которой научилась в монастыре; Жан Вальжан читал, сидя возле нее. Однажды она подняла голову, и ее очень удивило выражение беспокойства, которое она уловила в устремленном на нее взоре отца.

В другой раз, проходя по улице, она услышала, как кто-то позади сказал: «Красивая женщина! Но плохо одета». «Ну, — подумала она, — это не про меня. Я хорошо одета и некрасива». Она была в плюшевой шапочке и в старом мериносовом платье.

Наконец, однажды днем, когда она была в саду, она услышала, как старая Тусен сказала: «А вы замечаете, сударь, что наша барышня хорошеет?» Козетта не слышала, что ответил ее отец, слова Тусен были для нее каким-то откровением. Она убежала из сада, поднялась в свою комнату, бросилась к зеркалу — уже три месяца, как она не смотрелась в него, — и вскрикнула. Она была ослеплена собой.

Она была хороша, она была прекрасна; она не могла не согласиться с Тусен и своим зеркалом. Ее стан сформировался, кожа побелела, волосы стали блестящими, какое-то неведомое сияние зажглось в голубых глазах. Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет; но и другие заметили, что она хороша, и Тусен сказала об этом, и прохожий, по-видимому, говорил о ней, — сомнений больше не оставалось. Растерянная, ликующая, полная невыразимого восхищения, она вернулась в сад, чувствуя себя королевой, и хотя стояла зима, она слышала пение птиц, видела золотое небо, солнце, светившее сквозь ветви, цветы на кустах.

А Жан Вальжан испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу.

Действительно, с некоторых пор он с ужасом глядел на эту красоту, которая с каждым днем все ярче расцветала на нежном личике Козетты. Взошла заря, пленительная для всех, зловещая для него.

Козетта была хороша задолго до того, как заметила это. Но омраченный взор Жана Вальжана с первого же дня был ранен медленно разгоравшимся и постепенно заливавшим молодую девушку неожиданным светом. Он почувствовал это как перемену в своей счастливой жизни, столь счастливой, что он не осмеливался шевельнуться из опасения нарушить в ней что-либо. Этот человек, прошедший через все несчастья, человек, чьи раны, нанесенные ему судьбой, до сих пор кровоточили, бывший почти злодеем и ставший почти святым, влачивший после цепей каторжника невидимую, но тяжелую цепь скрытого бесчестия, человек, которого закон еще не освободил и который мог быть каждую минуту схвачен и выведен из темницы своей добродетели на яркий свет общественного позора, — этот человек принимал все, прощал все, оправдывал все, благословлял все, соглашался на все и молил у провидения, у людей, у законов, у общества, у природы, у вселенной только одного: любви Козетты!

Только бы Козетта продолжала его любить! Только бы господь не мешал сердцу этого ребенка стремиться к нему и принадлежать ему всегда! Любовь Козетты его исцелила, успокоила, умиротворила, удовлетворила, вознаградила, вознесла. Любимый Козеттой, он был счастлив! Он не просил большего. Если бы его спросили: «Хочешь быть счастливее?» — он бы ответил: «Нет». Если бы бог его спросил: «Хочешь райского блаженства?» — он бы отвечал: «Я прогадал бы на этом».

Все, что могло нарушить их жизнь, хотя бы даже слегка, заставляло его трепетать от ужаса, как начало перемены. Он не слишком понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное.

Ошеломленный, глядел он из глубины своего несчастья, отверженности, угнетенности, безобразия и старости на эту красоту, расцветавшую подле него, перед ним все торжественнее и величавее, на невинном, но таящем угрозу челе ребенка.

Он говорил себе: «Как она прекрасна! Что же теперь станется со мной?»

В этом и сказывалось различие между его нежностью и нежностью матери. То, что внушало ему душевную тревогу, для матери было бы радостью.

Первые признаки наступившей перемены не замедлили обнаружиться.

На следующий же день после того, как Козетта воскликнула: «Конечно, я хороша!» — она обратила внимание на свои наряды. Она вспомнила слова прохожего: «Красива, но плохо одета»; это пророческое дуновение, пронесшееся возле нее и исчезнувшее, успело заронить в ее сердце одно из двух зерен, которые позже, развившись, заполняют всю жизнь женщины, — зерно кокетства. Второе зерно — любовь.

Как только она поверила в свою красоту, в ней раскрылась вся ее женская сущность. Она почувствовала отвращение к мериносовому платью и плюшевой шляпке. Отец никогда и ни в чем ей не отказывал. Она сразу овладела искусством одеваться, тайной шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу — тем искусством, которое делает парижанку столь очаровательной, столь загадочной и столь опасной. Выражение «пленительная женщина» было придумано для парижанки.

Не прошло и месяца, как маленькая Козетта стала в этой пустыне, именуемой Вавилонской улицей, не только одной из самых красивых женщин Парижа, — а это немало, но и одной из самых «хорошо одетых», — что гораздо больше. Ей хотелось бы встретить «того прохожего», чтобы услышать его мнение теперь и чтобы «проучить его»! Действительно, она была прелестна и превосходно отличала шляпку Жерара от шляпки Эрбо.

Жан Вальжан с тревогой смотрел на эти разорительные новшества. Он, которому дано было только ползать, самое большее — ходить, видел, как у Козетты вырастают крылья.

Но все же любая женщина, взглянув на туалет Козетты, сразу поняла бы, что у нее нет матери. Некоторые незначительные правила приличия, некоторые условности не были ею соблюдены. Например, мать сказала бы ей, что молодые девушки не носят платья из тяжелого шелка.

Выйдя из дому в первый раз в своем черном шелковом платье и накидке, в белой креповой шляпке, веселая, сияющая, розовая, гордая, блестящая, она, взяв под руку Жана Вальжана, спросила: «Ну, как вы меня находите, отец?» Жан Вальжан ответил тоном, в котором словно сквозила горькая нотка зависти: «Восхитительной!» На прогулке он держался как обычно. Вернувшись, он спросил Козетту:

— Разве ты никогда больше не наденешь свое платье и шляпку, те, прежние?

Это происходило в комнате Козетты. Козетта обернулась к платяному шкафу, где на вешалке висело ее разжалованное монастырское одеяние.

— Этот костюм для ряженого! — воскликнула она. — На что он мне? О нет, я никогда не надену эти ужасные вещи! С этой штукой на голове я похожа на чучело!

Жан Вальжан глубоко вздохнул.

С тех пор он стал замечать, что Козетта, которая раньше всегда просила его остаться дома и говорила: «Отец, мне приятнее побыть здесь с вами», — теперь всегда просила его пойти погулять. В самом деле, зачем нужны хорошенькое личико и восхитительный наряд, если не показывать их?

Он заметил также, что Козетта уже не так любила задний дворик, как прежде. Теперь она охотнее бывала в саду, не без удовольствия прогуливаясь перед решеткой.

Жан Вальжан, замкнувшись в себе, туда не показывался. Он не покидал своего заднего дворика, словно сторожевой пес.

Козетта, поняв, что она красива, утратила прелесть неведения; прелесть утонченную, потому что красота, сочетающаяся с простодушием, — невыразима, и нет ничего милее сияющей невинности, которая шествует, держа в руке, не зная того сама, ключи от рая. Но, потеряв прелесть наивности, она приобрела очарование задумчивости и серьезности. Вся проникнутая радостью юности, невинности, красоты, она дышала блистательной грустью.

Именно в это время Мариус, после шести месяцев перерыва, снова увидел ее в Люксембургском саду.

#### Глава 6

#### Битва начинается

Козетта в своем затишье, как и Мариус в своем, готова была встретить любовь. Судьба, с присущим ей роковым и таинственным терпением, медленно сближала эти два существа, словно заряженные электричеством и истомленные зарницами надвигающейся страсти; эти души, чреватые любовью, как облака — грозой, должны были столкнуться и слиться во взгляде, как сливаются облака во вспышке молнии.

В любовных романах так злоупотребляли силой взгляда, что в конце концов вовсе перестали ей верить. Теперь едва осмеливаешься говорить, что двое полюбили друг друга, потому что их взгляды встретились. И однако именно так начинают любить, и только так. Все остальное является лишь остальным и приходит позже. Нет ничего реальней этих глубочайших потрясений, которые вызывают друг в друге две души, обменявшись такой искрой.

В тот час, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, взволновавший Мариуса, Мариус не подозревал, что и его взгляд взволновал Козетту.

Он причинил ей то же зло и то же благо.

Уже давно она заметила его и наблюдала за ним, как замечают и наблюдают девушки, хотя и глядят в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда Козетта уже находила Мариуса красивым. Но он не обращал на нее внимания, и она оставалась равнодушной к молодому человеку.

Все же она не могла не признаться, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза и зубы, приятный голос, который она слышала, когда он разговаривал с товарищами, что у него, если угодно, неловкая походка, но в ней есть своеобразное изящество, что он вовсе не кажется глупым, что весь его облик отмечен благородством, мягкостью, простотой и гордостью, что, наконец, пускай на вид он беден, но полон достоинства.

В тот день, когда их глаза неожиданно встретились и, наконец, сказали друг другу те темные и невыразимые слова, которые невнятно передает взгляд, Козетта сначала ничего не поняла. Задумчиво она вернулась в дом на Западной улице, куда, по своему обыкновению, перебрался на полтора месяца Жан Вальжан. На следующий день, проснувшись, она подумала об этом молодом незнакомце, который так долго был равнодушен и холоден, а теперь как будто обратил на нее внимание, однако ей показалось, что это внимание нисколько не льстит ей. Скорее она немного сердилась на красивого гордеца. Что-то воинственное шевельнулось в ней. Ей казалось, что она, наконец, отомстит за себя, и при мысли об этом Козетта испытывала какую-то еще почти ребяческую радость.

Сознавая себя красивой, она чувствовала, хотя и смутно, что обладает оружием. Женщины играют своей красотой, как дети ножом. Им случается самих себя поранить.

Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет, его страхи. Он продолжал сидеть на своей скамье и не подходил к Козетте. Это вызывало в ней досаду. Однажды она сказала Жану Вальжану: «Пойдем, отец, погуляем по этой стороне». Видя, что Мариус не идет к ней, она направилась к нему. В таких случаях каждая женщина похожа на Магомета. И затем, как это ни странно, первый признак истинной любви у молодого человека — робость, у молодой девушки — смелость. Это удивительно, и, однако, нет ничего проще. Два пола, стремясь сблизиться, заимствуют недостающие им свойства друг у друга.

В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, взгляд Мариуса заставил затрепетать Козетту. Мариус ушел с надеждой в душе, Козетта с беспокойством. С этого дня они стали обожать друг друга.

Первое, что испытала Козетта, была смутная и глубокая грусть. Ей казалось, что за один день ее душа потемнела. Она больше не узнавала себя. Чистота девичьей души, слагающаяся из холодности и веселости, похожа на снег. Она тает под солнцем любви.

Козетта не знала, что такое любовь. Она никогда не слышала этого слова, произнесенного в земном его значении. В тетрадях светской музыки, попадавших в монастырь, слово «любовь» было заменено словами: «морковь» или «свекровь». Это порождало загадки, подстрекавшие воображение старших пансионерок, например: «Ах, как приятна морковь!» или: «Жалость — не свекровь». Но Козетта вышла из монастыря слишком юной, чтобы особенно интересоваться «свекровью». И она не знала, как назвать то, что испытывала теперь. Но разве в меньшей степени болен человек оттого, что не ведает названия своей болезни?

Она любила с тем большей страстью, что любила в неведении. Она не знала, хорошо это или плохо, полезно или опасно, благотворно или смертельно, вечно или преходяще, дозволено или запрещено; она любила. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это непозволительно! Вы перестали есть? Но это очень дурно! У вас тяжесть в груди и сердцебиение? Но это никуда не годится! Вы то краснеете, то бледнеете, когда известное лицо в черном костюме появляется в конце известной зеленой аллеи? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила: «Как же я могу быть виновата в том, в чем я не вольна и чего не понимаю?»

Случаю было угодно, чтобы посетившая ее любовь была именно той, которая лучше всего соответствовала ее душевному состоянию. То было своего рода обожание издали, безмолвное созерцание, обоготворение незнакомца. То было явление юности — другой такой же юности, ночная греза, превратившаяся в роман и оставшаяся грезой, желанное видение, наконец воплотившееся, но еще не имеющее ни имени, ни вины за собой, ни пятна, ни требований, ни недостатков, — словом, далекий возлюбленный, обитающий в идеальном мире, мечта, принявшая четкий облик. Всякая встреча, более определенная и на более близком расстоянии, в это первое время вспугнула бы Козетту, еще наполовину погруженную в сумрак монастырской жизни, который преувеличивал опасности мирской жизни. Все детские и монашеские страхи перепутывались в ней. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет и которым до сих пор веяло от нее, показывал ей все окружающее в неверном свете. И сейчас ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный — ей нужно было только видение. Она начала обожать Мариуса как нечто восхитительное, светозарное и недосягаемое.

Крайнее простодушие граничит с крайним кокетством, поэтому она ему улыбалась без всякого стеснения.

Каждый день она нетерпеливо ожидала часа прогулки, встречала Мариуса, чувствовала себя невыразимо счастливой и думала, что вполне чистосердечно выражает все свои мысли, говоря Жану Вальжану: «Какая прелесть этот Люксембургский сад!»

Мариус и Козетта пребывали друг для друга во тьме. Они не разговаривали, не здоровались, они не были знакомы; они виделись, подобно небесным светилам, разделенным миллионами миль, и жили созерцанием друг друга.

Так, мало-помалу Козетта становилась женщиной, прекрасной и влюбленной, сознающей свою красоту и не ведающей о своей любви. Сверх всего — кокетливой по своей невинности.

#### Глава 7

#### За одной печалью печаль еще бо́льшая

При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особый инстинкт. Старая и вечная мать-природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых темных глубинах своей души. Он ничего не видел, ничего не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружавший его мрак, как будто чувствуя, что где-то рядом нечто созидается, нечто разрушается. Мариус, так же предупрежденный той же матерью-природой, — и в этом мудрость божественного закона, — делал все возможное, чтобы «отец» девушки его не видел. Случалось, однако, что Жан Вальжан его иногда замечал. Поведение Мариуса было не совсем естественным. Его осторожность была подозрительной, а смелость неловкой. Он уж больше не подходил так близко, как раньше; он садился поодаль и словно погружался в экстаз; он приносил с собой книгу и притворялся, будто читает. Зачем он притворялся? Раньше он приходил в своем старом фраке, теперь же всегда в новом; нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался, у него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека.

Козетта не давала никаких поводов для догадок. Не понимая в точности, что с ней происходит, она тем не менее чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать.

Между желанием наряжаться, возникшим у Козетты, и обыкновением надевать новый фрак, появившимся у этого незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная.

Он никогда не говорил ни слова Козетте об этом незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться и, полный того смутного отчаяния, которое побуждает человека неожиданно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей: «Как важничает этот молодой человек!»

Годом раньше Козетта с безразличием девочки ответила бы ему: «Вовсе нет, он очень милый». Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала: «Вы правы, просто противно смотреть, как он важничает!» Но теперь, в этот период своей жизни и своей любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила:

— Кто? Ах, этот молодой человек! — словно она его увидела в первый раз в жизни.

«Как я глуп! — подумал Жан Вальжан. — Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него».

О, простота старцев! О, мудрость детей!

Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями: девушка не попадается ни в одну ловушку, юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус в святом неразумии, свойственном его возрасту и его страсти, даже не догадывался об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней: он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один; Мариус опрометчиво попадался во все эти тенета и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал: «Да!» Однако Козетта была настолько замкнутой в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан Вальжан пришел к следующему выводу: «Этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании».

И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Козетта полюбит, могло наступить с минуты на минуту. Не начинается ли все с равнодушия?

Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула: «Уже?»

Жан Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургском саду, не желая прибегать к исключительным мерам и особенно опасаясь возбудить подозрение Козетты; но во время этих, столь сладких для влюбленных часов, когда Козетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, Жан Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он более не считал себя способным к какому-либо недоброму чувству, однако порой, при виде Мариуса, ему казалось, что он снова становится диким и свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему почти казалось, что в нем оживают неведомые, давно потухшие вулканы.

«Как! Он здесь, этот малый! Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться! Он думает: «Гм, почему бы и нет?» Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести!»

«Да, — продолжал думать Жан Вальжан, — это так! Чего он ищет? Приключения! Чего он хочет? Любовной интрижки! Да, любовной интрижки! А я? Как! Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет своей жизни стоять на коленях, выстрадать все, что можно выстрадать, состариться, никогда не быв молодым, жить без семьи, без родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким, хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло, и, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло, мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел, — а это справедливо, это хорошо, я заплатил за это, я заслужил это, — чтобы теперь все пропало, все исчезло! И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости, души лишь только потому, что какому-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад!»

И тогда его глаза загорались зловещим и необычным светом. Это уж не был человек, взирающий на другого человека; это не был враг, взирающий на своего врага. То был сторожевой пес, увидевший вора.

Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до Западной улицы. В другой раз он вступил в разговор с привратником. Тот в свою очередь заговорил с Жаном Вальжаном. «Сударь, что это за любопытный молодой человек спрашивал о вас?» — осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделю спустя Жан Вальжан переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме.

Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не задавала вопросов, не добивалась никаких ответов; она уже достигла возраста, когда боятся быть понятыми и выдать себя. Жан Вальжан был совершенно не искушен в несчастьях подобного рода, ибо из всех несчастий только эти одни таят в себе очарование, и только этих ему не довелось испытать; вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной, и сам стал мрачен. С обеих сторон это свидетельствовало о неопытности в борьбе.

Однажды, желая испытать ее, он спросил:

— Хочешь пойти в Люксембургский сад?

Луч света озарил бледное личико Козетты.

— Да, — ответила она.

Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать. Мариус больше туда не ходил. Мариуса там не было.

На следующий день Жан Вальжан снова спросил Козетту:

— Хочешь пойти в Люксембургский сад?

— Нет, — печально и кротко ответила она.

Жан Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда вместо того, чтобы лечь спать, Жан Вальжан целые ночи просиживал около своего жалкого ложа, охватив руками голову. Спрашивая себя: «Что же такое на уме у Козетты?» — он старался представить себе, о чем она могла думать.

О, какие скорбные взоры он обращал в эти минуты к монастырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели! С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся прямо к небу! Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты! Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир, — этот бедный герой, принесенный в жертву и повергнутый в прах собственной преданностью долгу! Сколько раз он повторял себе: «Что я наделал!»

Впрочем, он ничем не выдал себя Козетте. Ни дурным настроением, ни резкостью. При ней всегда у него было то же ясное и доброе лицо. Обращение его с нею было более нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусти, то лишь еще большая мягкость.

Томилась и Козетта. Она страдала, не видя Мариуса, так же сильно и не давая себе в том ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на обычные прогулки, женское чутье невнятно прошептало ей в глубине души, что не следует выказывать интерес к Люксембургскому саду и что, если бы она была к нему равнодушна, отец снова повел бы ее туда. Но проходили дни, недели и месяцы. Жан Вальжан молчаливо принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез; все кончено, что делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала какое-то стеснение в груди, оно не проходило, а увеличивалось с каждым днем. Она больше не знала, зима теперь или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли Люксембургский сад, чем Тюильри, слишком или недостаточно накрахмалено белье, принесенное прачкой, дешево или дорого Тусен купила провизию; она оставалась угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной только мысли и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение.

Впрочем, она также ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану Вальжану. Он видел то же обращенное к нему кроткое личико.

Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он ее спрашивал:

— Что с тобой?

Она отвечала:

— Ничего.

И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав немного, добавляла:

— А вы, отец, что с вами такое?

— Со мною? Ничего, — говорил он.

Эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга, друг из-за друга, молча, не сетуя, улыбаясь.

#### Глава 8

#### Кандальники

Жан Вальжан был несчастней Козетты. Юность даже в горести сохраняет в себе какой-то свет.

В иные минуты Жан Вальжан горевал так сильно, что, казалось, превращался в ребенка. Страданию свойственно пробуждать во взрослом человеке дитя. Им владело какое-то непреодолимое чувство, ему казалось, что Козетта ускользает от него. И в нем родилось желание бороться, удержать ее, вызвать у нее восхищение чем-нибудь внешним и блестящим. Эти мысли, как мы уже говорили, ребяческие и в то же время стариковские, внушали ему, в силу самой их наивности, довольно справедливое мнение о влиянии мишуры на воображение молодых девушек. Как-то ему пришлось увидеть на улице проезжавшего верхом генерала в полной парадной форме, — то был граф Кутар, комендант Парижа. Он позавидовал этому раззолоченному человеку, подумав, какое было бы счастье надеть такой мундир, представлявший собой нечто неотразимое; если бы Козетта увидела его в нем, она была бы ослеплена, и если бы он под руку с ней прошел мимо ворот Тюильри, а караул отдал бы ему честь, этого было бы довольно, чтобы у Козетты пропало желание заглядываться на молодых людей.

К этим печальным мыслям добавилось неожиданное потрясение.

В уединенной жизни, какую они вели с тех пор, как переехали на улицу Плюме, у них появилась новая привычка. Время от времени они отправлялись посмотреть на восход солнца — тихая отрада тех, кто вступает в жизнь, и тех, кто уходит из нее.

Утренняя прогулка для любящего одиночество равноценна ночной прогулке, с тем лишь преимуществом, что утром природа веселее. Улицы пустынны, поют птицы. Козетта, сама точно птичка, охотно вставала в ранние часы. Эти утренние путешествия подготовлялись накануне. Он предлагал, она соглашалась. Устраивалось нечто вроде заговора, выходили еще до рассвета — то были ее скромные утехи. Такие невинные чудачества нравятся юности.

Как известно, у Жана Вальжана была склонность отправляться в местности малопосещаемые, в уединенные уголки, в заброшенные места. В те времена вблизи парижских застав тянулись скудные, почти сливавшиеся с городом поля, на которых летом росла тощая пшеница и которые осенью, после сбора урожая, казались не скошенными, а выщипанными. Жан Вальжан отдавал им особенное предпочтение. Козетта там не скучала. Для него это было уединение, для нее — свобода. Там она опять превращалась в маленькую девочку, могла бегать и почти веселиться, она снимала свою шляпку, клала ее на колени Жану Вальжану и рвала цветы. Она рассматривала бабочек на цветах, но не ловила их; вместе с любовью рождаются доброта и мягкость, и молодая девушка, живущая хрупкой и трепетной мечтой, жалеет крылышко бабочки. Она плела венки из маков, надевала их на голову, и алые цветы, пронизанные и насыщенные солнцем, пылавшие, как пламя, венчали огненной короной ее свежее розовое личико.

Даже после того, как их жизнь омрачилась, они сохранили обычай утренних прогулок.

Однажды в октябрьское утро, соблазненные безмятежной ясностью осени 1831 года, они вышли из дому и к тому времени, когда начало светать, оказались возле Менской заставы. Была не заря, а рассвет — восхитительный и суровый час. Мерцавшие там и сям в бледной и глубокой лазури созвездия, совсем черная земля, совсем побелевшее небо, вздрагивающие стебельки травы, всюду таинственное трепетание сумерек. Жаворонок, словно затерявшийся среди звезд, пел где-то на неслыханной высоте, и, казалось, этот гимн бесконечно малого бесконечно великому умиротворял беспредельность. На востоке церковь Валь-де-Грас вырисовывалась темной громадой на чистом, стального цвета горизонте; ослепительная Венера восходила позади ее купола, словно душа, ускользающая из мрачной темницы.

Всюду были мир и тишина; никого на дороге; кое-где в низинах едва различимые фигуры рабочих, отправлявшихся на свою работу.

Жан Вальжан уселся в боковой аллейке на бревнах, сваленных у ворот лесного склада. Он сидел лицом к дороге, спиной к свету; он забыл о восходившем солнце; им овладело то глубокое раздумье, которое поглощает все мысли, делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех стенах. Есть размышления, которые можно было бы назвать вертикальными, — они заводят в такую глубь, что требуется время для того, чтобы вернуться на землю. Жан Вальжан погрузился в одно из таких размышлений. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не вставало между ними, о свете, которым она наполняла его жизнь, о том свете, которым дышала его душа. Он был почти счастлив, отдавшись этой мечте. Козетта, стоя возле него, смотрела на розовеющие облака.

Вдруг она вскричала: «Отец, вон оттуда как будто едут». Жан Вальжан поднял голову.

Она была права.

Дорога, ведущая к прежней Менской заставе, как известно, составляет продолжение Севрской улицы и перерезана под прямым углом бульваром. У поворота с бульвара на дорогу, в том месте, где они пересекаются, слышался труднообъяснимый в такое время шум и виднелась какая-то неясная громоздкая масса. Что-то бесформенное, появившееся со стороны бульвара, выбиралось на дорогу.

Все это вырастало и спокойно двигалось вперед, но казалось в то же время каким-то взъерошенным и колыхающимся; это походило на повозку, но нельзя было понять, с каким она грузом. Смутно виднелись лошади, колеса, слышались крики, раздавалось хлопанье бичей. Постепенно очертания этой массы обрисовывались, хотя еще и тонули во мгле. Действительно, то была повозка, свернувшая с бульвара на дорогу и направлявшаяся к заставе, у которой сидел Жан Вальжан; другая такая же повозка следовала за ней, потом третья, четвертая; семь телег появились одна за другой, голова каждой лошади упиралась в задок ехавшей впереди повозки. Какие-то силуэты шевелились на этих телегах, поблескивало в сумерках что-то похожее на обнаженные шашки, слышался лязг, напоминавший звон цепей, голоса звучали все громче, это двигалось вперед и было таким же страшным, как то, что возникает лишь в пещере сновидений.

Приближаясь, все приняло определенную форму и выступило из-за деревьев с призрачностью видения; вся эта масса словно побелела; мало-помалу разгоравшийся день заливал тусклым брезжущим светом это скопище, одновременно потустороннее и живое, головы силуэтов превратились в лица мертвецов. А было это вот что.

По дороге цепочкой тянулось семь повозок. Из них первые шесть имели особое устройство. Они походили на дроги бочаров; то было нечто вроде длинных лестниц, положенных на два колеса и переходивших на переднем конце в оглобли. Каждые дроги, скажем лучше, каждую лестницу тащили четыре лошади, запряженные гуськом. Лестницы были усеяны странными гроздьями людей. При слабом свете дня различить этих людей еще нельзя было, но их присутствие угадывалось. По двадцать четыре человека на каждой повозке, по двенадцати с каждой стороны, спиной друг к другу, лицом к прохожим, со свесившимися вниз ногами, — так эти люди совершали свой путь. За спинами у них что-то позвякивало, то была цепь; на шеях что-то поблескивало, то были железные ошейники. У каждого отдельный ошейник, но цепь общая; таким образом, эти двадцать четыре человека, если бы им пришлось спуститься с дрог и пойти, неминуемо составили бы какое-то единое членистоногое существо, с цепью вместо позвоночника, извивающееся по земле почти так же, как сороконожка. На передке и на задке каждой повозки стояли два человека с ружьями, каждый придерживал ногами конец цепи. Ошейники были квадратные. Седьмая повозка, четырехколесная поместительная фура с дощатыми стенками, но без верха, была запряжена шестью лошадьми; в ней гремела куча железных котелков, чугунных горшков, жаровен и цепей и лежали, вытянувшись во весь рост, несколько связанных человек, с виду больных. Эта фура, сквозная со всех сторон, была снабжена разбитыми решетками, которые казались отслужившими свой срок орудиями старинного позорного наказания.

Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шествовали двумя рядами гнусного вида конвойные, в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в серо-голубые и почти изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязями, с тесаками, ружьями и палками, — настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошаек сочеталась с властностью палачей. Тот, кто казался их начальником, держал в руке бич почтаря. Эти подробности, стушеванные сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы с саблями наголо.

Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только съезжала с бульвара.

По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, появившаяся неизвестно откуда и собравшаяся в мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В соседних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на это зрелище.

Скученные на дрогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу. Остальная одежда свидетельствовала о причудах нищеты. Она была отвратительно пестра; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и рядом с блузой черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, у других на головах — плетушки; виднелись волосатые груди, сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку: храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом лишаи и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто похожее на черный камень и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него; то был хлеб, который он ел. Глаза у всех были сухие, потухшие или светящиеся каким-то недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые из этих людей зевали; их лохмотья внушали ужас; ноги болтались, плечи колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза толпа ребятишек заливалась смехом.

Эта вереница повозок, какова она ни была, вызывала мрачные мысли. Можно было ожидать, что если не сегодня, так завтра разразится ливень, за ним еще и еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам стучать, цепь по-прежнему будет держать их за шею, ноги по-прежнему будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды.

Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно сваленные туда мешки с мусором.

Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Языки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно: то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рог трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря резко подчеркивала черными тенями жалкие профили; каждый был изуродован нищетой; это было настолько чудовищно, что, казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попурри из прославленной в то время «Весталки» Дезожье; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками.

В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных, там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия девичьих головок с выпущенными на виски завитками, детские и поэтому страшные лица, тощие лики скелетов, которым не хватало только смерти. На первой телеге сидел негр, быть может, когда-то невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравнитель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних глубинах общественного дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, сравнялось с разумом, перешедшим в отчаяние. Никакой выбор не был возможен среди этих людей, являвших взору как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены наудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега — свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой вопили; на третьей выпрашивали милостыню; можно было заметить такую, на которой скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствовали; последняя была молчалива, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении.

Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице апокалипсиса, а, что еще более мрачно, на позорных тюремных повозках.

Один из конвойных, державший палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворошить ею эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти, говоря при этом: «Это тебе урок, негодник!»

Так как пение и брань все усиливались, тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому сигналу ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, что удвоило веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух.

Взгляд Жана Вальжана стал страшен. То были уже не глаза; то было непроницаемое стекло, заменяющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору предстало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть — и не мог двинуть пальцем. Иногда то, что видишь, как бы хватает и удерживает нас. Он застыл, пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый, спрашивая себя в невыразимой смутной тревоге, что означает это преследование из-за гроба, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу — обычное движение у тех, к кому внезапно возвращается память, — он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу.

Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула:

— Отец, что же там такое в этих повозках?

Жан Вальжан ответил:

— Каторжники.

— Куда же они едут?

— На каторгу.

В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя, — то было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их к отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков.

Козетта дрожала с головы до ног; она снова спросила:

— Отец, и все это — люди?

— Некоторые из них, — ответил несчастный.

Действительно, то был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направлявшийся по дороге в Ман, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но, чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продолжить пытку.

Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленным. Такая встреча равносильна удару, и память, которую она по себе оставляет, похожа на потрясение.

Однако Жан Вальжан, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она еще задавала вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой, сказала: «О господи, мне кажется, если бы я встретилась с кем-нибудь из этих людей, я умерла бы только оттого, что увидела его вблизи!»

К счастью, на следующий день после этой трагической встречи в Париже по случаю какого-то официального торжества состоялись празднества: парад на Марсовом поле, фехтование шестами лодочников на Сене, представление на Елисейских полях, фейерверки на площади Звезды, иллюминация повсюду. Жан Вальжан, вопреки своим привычкам, повел Козетту на этот праздник, чтобы рассеять воспоминания о вчерашнем дне и заслонить веселой суматохой, поднявшейся во всем Париже, отвратительную картину, промелькнувшую перед ней накануне.

Парад, бывший приправой к празднеству, естественно, вызвал круговращение мундиров; Жан Вальжан надел форму национального гвардейца, смутно испытывая чувство укрывшегося от опасности человека. Так или иначе, цель прогулки была, казалось, достигнута. Козетта, считавшая для себя законом угождать отцу, согласилась на это развлечение с легкой и непритязательной радостью, свойственной юности; впрочем, для нее всякое зрелище было внове, и она не отнеслась слишком пренебрежительно к этому общему котлу веселья, именуемому «народное гулянье»; таким образом, Жан Вальжан мог полагать, что он добился своего и что в памяти Козетты не осталось и следа от мерзкого видения.

Несколько дней спустя, утром, когда ярко светило солнце, они оба вышли на крыльцо в сад — это было новым нарушением правил, установленных для себя Жаном Вальжаном, и привычки сидеть в своей комнате, которую привила Козетте ее печаль; Козетта, в пеньюаре, восхитительно окутанная этим небрежным утренним нарядом, подобно звезде, прикрытой облачком, вся розовая после сна и озаренная светом, стоя возле старика, молча ее созерцавшего растроганным взглядом, обрывала лепестки маргаритки. Она не знала прелестного гадания: «любит — не любит» и т. д., да и кто мог ее этому научить? Она ощипывала цветок инстинктивно, невинно, не подозревая, что обрывать маргаритку — значит обнажать свое сердце. Если бы существовала четвертая Грация, именуемая Меланхолией и при этом улыбавшаяся, то она походила бы на эту Грацию. Жан Вальжан был заворожен созерцанием беленьких пальчиков, обрывавших цветок; он забыл обо всем, растворившись в сиянии, окружавшем эту девушку. Рядом, в кустарнике, щебетала малиновка. Белые облачка так весело неслись по небу, словно только что вырвались на свободу. Козетта продолжала сосредоточенно обрывать цветок; казалось, она мечтала о чем-то, и ее мечта должна была быть очаровательной. Внезапно, с изящной медлительностью лебедя, она повернула голову и спросила: «Отец, а что это такое — каторга?»

### Книга четвертая

### Помощь снизу может быть помощью свыше

#### Глава 1

#### Рана снаружи, исцеление внутри

Так, день за днем, омрачалась их жизнь.

У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем, — оделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещая бедняков, Жан Вальжан и Козетта, которая часто сопровождала его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от былой задушевной их близости; иногда, если случался хороший день и удавалось облегчить нужду многих страдальцев, согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили конуру Жондрета.

На следующее же утро после этого посещения Жан Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, сильно воспаленной, злокачественной и похожей на ожог; о причине ее он сказал весьма уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал: «Позови ветеринара».

Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. И, глядя на Козетту, он твердил: «О целебная рана! О целебная болезнь!»

Пока отец был болен, Козетта покинула особняк, она снова полюбила маленький флигель и задний дворик. Почти весь день она проводила с Жаном Вальжаном и читала ему книги по его выбору, главным образом путешествия. Жан Вальжан воскресал; его счастье вновь расцветало, сияя неизъяснимым светом; Люксембургский сад, молодой неизвестный бродяга, охлаждение Козетты — все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе: «Я выдумал все это. Я старый сумасброд».

Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Тенардье в конуре Жондрета, можно сказать, почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального! Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к этим несчастным. «Теперь они в тюрьме, — думал он, — и уже не в состоянии мне вредить, но какая жалкая, несчастная семья!»

Что до отвратительного видения на Менской заставе, то Козетта больше не заговаривала об этом.

В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенной душой, и порой, вечерами, в скромном жилище раненого она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана.

Наступила весна, сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте: «Ты никогда не гуляешь в саду, поди прогуляйся». — «Хорошо, отец», — сказала Козетта.

И, повинуясь его желанию, она снова начала гулять в саду, большею частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад.

Его рана дала другое направление мыслям обоих.

Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не приметила сама, настолько естественно и незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей; потом наступил апрель — этот рассвет лета, свежий, как всякая заря, веселый, как всякое детство, иногда немного плаксивый, как всякий новорожденный. Природа в этом месяце исполнена пленительного мерцающего света, льющегося с неба, из облаков, от деревьев, лугов и цветов прямо в человеческое сердце.

Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее. Нечувствительно и незаметно для нее мрачные мысли исчезали. Весной в опечаленной душе становится светлее, как ярким полднем в подвале. Козетта даже и не печалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось увлечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка, поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива.

Жан Вальжан в упоении убеждался, что она снова становилась свежей и румяной.

— О целебная рана! — тихонько повторял он.

И он был благодарен Тенардье.

Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки.

Но было бы заблуждением думать, что можно по вечерам гулять одному по малонаселенным окраинам Парижа, не натолкнувшись на какое-нибудь приключение.

#### Глава 2

#### Тетушка Плутарх без труда объясняет некое явление

Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдется. Он добрался до какого-то поселка, ему показалось, что это деревня Аустерлиц.

Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, и в этом саду — довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко — это ужин; яблоко — это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. К саду примыкала пустынная немощеная улочка, за отсутствием домов окаймленная кустарником; сад от улицы отделяла изгородь.

Гаврош направился к этому саду, нашел улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? — раз-два, и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош собрался уже идти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди.

В двух шагах от него, по другую сторону изгороди, как раз против того места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Старуха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался.

— Господин Мабеф! — сказала старуха.

«Мабеф! — подумал Гаврош. — Да это прямо смех».

Старик не шевельнулся. Старуха повторила:

— Господин Мабеф!

Старик, не поднимая глаз, наконец ответил:

— Что скажете, тетушка Плутарх?

«Тетушка Плутарх! — подумал Гаврош. — Да это прямо умора».

Тетушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу.

— Хозяин недоволен.

— Почему?

— Мы ему должны за девять месяцев.

— Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать.

— Он говорит, что выставит нас на улицу.

— Что ж, я пойду.

— Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас совершенно нет дров.

— Зато есть солнце.

— Мясник больше не дает в долг и не хочет отпускать говядину.

— Это очень кстати. Я плохо переношу мясо. Оно для меня слишком тяжело.

— Что же подавать на обед?

— Хлеб.

— Булочник требует по счету и говорит, что, раз нет денег, не будет и хлеба.

— Хорошо.

— Что же вы будете есть?

— У нас есть яблоки.

— Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег.

— У меня их нет.

Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Уже почти совсем стемнело.

Вместо того чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней — таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже.

«Смотри-ка, — воскликнул про себя Гаврош, — да тут настоящая спальня!» И, забравшись поглубже, свернулся в комочек. Спиной он почти прислонился к скамье дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика.

Затем, вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть.

Сон кошки — сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил.

Бледное сумеречное небо отбрасывало белый отсвет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами темных кустов.

Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шел впереди, другой — на некотором расстоянии сзади.

— А вон и еще двое, — пробормотал Гаврош.

Первый силуэт напоминал старого, согбенного и задумчивого буржуа, одетого более чем просто, ступавшего медленно, по-стариковски и вышедшего побродить вечерком под звездным небом.

Другой был тонкий, стройный, подобранный. Он соразмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовались гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство, вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, черный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозили сила и изящество, а под шляпой в сумерках можно было различить бледный юношеский профиль с розой во рту. Этот второй силуэт был хорошо знаком Гаврошу: то был Монпарнас.

Что же касается первого, то о нем нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик.

Гаврош тотчас уставился на них.

Один из этих двух прохожих, по-видимому, имел какие-то намерения относительно другого. Гаврош мог отлично видеть, что произойдет дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием.

Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте — это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику.

Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребенком в два счета.

Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное. Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыгнул на старика, схватил его за ворот, сжал руками и повис на нем. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из этих людей лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся; каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло не совсем то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.

Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом с такой страшной силой, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями.

«Ай да старик!» — подумал Гаврош.

И, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушенных друг другом.

Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?»

Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он сказал Монпарнасу:

— Вставай.

Монпарнас поднялся, но старик продолжал его держать. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой.

Гаврош смотрел и слушал во все глаза и во все уши. Он забавлялся от души.

Он был вознагражден за свое добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел следующий разговор, приобретавший в ночной тьме какой-то трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал.

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Ты силен и здоров. Почему ты не работаешь?

— Ну, это скучно.

— Чем же ты занимаешься?

— Бездельничаю.

— Говори серьезно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?

— Вором.

Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса.

Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы.

Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука:

— Дитя мое, из-за своей лени ты начинаешь самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Видел ли ты одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует ее остерегаться — она кровожадна и коварна; стоит ей только схватить человека за полу платья, как он весь будет втянут в нее. Праздность подобна этой машине. Остановись, пока еще есть время, и спасайся! Иначе конец; ты не успеешь оглянуться, как попадешь в шестерню. И раз ты пойман, не надейся больше ни на что. За работу, лентяй! Отдых кончился. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг — ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа — закон; кто отказывается от нее, видя в ней скуку, узнает ее как мучительное наказание. Ты не хочешь быть тружеником, так станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному; ты не хочешь быть его другом, так будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости, так будешь обливаться потом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня! Вести плуг, вязать снопы — какое наслаждение! Барка на свободе под ветром — ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал вьючным животным в адской запряжке! Ничего не делать — это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без чувства изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. То, что для других будет легким, как перышко, для тебя будет каменной глыбой. Вещи самые простые обернутся крутым откосом. Жизнь станет чудовищной для тебя. Ходить, двигаться, дышать — какая ужасная работа! Твои легкие будут казаться тебе стофунтовой тяжестью. Здесь ли пройти или там — станет для тебя трудноразрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, отворяет дверь, и готово — он на улице. Для тебя же выйти из дому — значит пробуравить стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвешь простыни, совьешь полоска за полоской веревку, потом ты вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью, — и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же веревка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься — упасть. Упасть как придется. Или же тебе придется карабкаться в дымовой трубе, рискуя сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя там утонуть. Я уж не говорю о дырах, которые нужно маскировать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять по двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в своем тюфяке. Допустим, перед тобой замок, у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречен на изготовление страшной и диковинной вещи. Ты возьмешь монету в два су и разрежешь ее на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретешь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить наружной их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они плотно скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей, — ведь за тобой будут следить, — это просто монета в два су, для тебя — ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой пилочкой, длиной с булавку и спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку висячего замка, перекладину в твоем окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все эти чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпения, что ты получишь в награду, если обнаружат твое изобретение? Карцер. Вот твое будущее. Лень, удовольствие — да ведь это бездонный омут! Ничего не делать — печальное решение, знаешь ли ты об этом? Жить праздно за счет общества! Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведет прямо в глубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А, тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль — хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть черный хлеб, ты будешь спать на досках, в железных цепях, сковывающих твое тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьешь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползешь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как звери лесные. И ты будешь пойман. И тогда ты проведешь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужасный тюремный хлеб, от которого отказались бы даже собаки, и будешь есть бобы, изъеденные до тебя червями. Ты станешь мокрицей, живущей в погребе. Пожалей же себя, несчастное дитя, ведь ты еще совсем молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя еще жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого черного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Так ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни — на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину — получишь удар палкой. Ты войдешь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдешь пятидесятилетним стариком! Ты войдешь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдешь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное мое дитя, ты на ложном пути, безделье подает тебе дурной совет! Воровство — самая тяжелая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд — лень. Быть мошенником нелегко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелек? На, бери.

И старик, выпустив Монпарнаса, положил ему в руку кошелек. Монпарнас сразу взвесил его на руке и с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман своего сюртука.

Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку.

— Дуралей! — пробормотал Монпарнас.

Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался.

Озадаченный Монпарнас смотрел, как он исчезал в сумерках. Эти минуты созерцания были для него роковыми.

В то время как старик удалялся, Гаврош приближался.

Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что дедушка Мабеф, по-видимому задремавший, все еще сидит на скамье. Тогда мальчишка вылез из кустов и потихоньку пополз к Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрался к нему, осторожно засунул руку в задний карман его черного изящного сюртука, схватил кошелек, вытащил руку и снова пополз обратно, как уж, ускользающий в темноте. Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся в первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел дедушка Мабеф, перекинул кошелек через изгородь и пустился бежать со всех ног.

Кошелек упал на ногу дедушки Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелек. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелек с двумя отделениями; в одном лежало немного мелочи, в другом — шесть золотых монет.

Господин Мабеф, совсем растерявшись, отнес находку своей домоправительнице.

— Это упало с неба, — сказала тетушка Плутарх.

### Книга пятая,

### конец которой не сходен с началом

#### Глава 1

#### Уединенность в сочетании с казармой

Горе Козетты, такое острое, такое тяжкое четыре или пять месяцев тому назад, неведомо для нее начало утихать. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, ликование птиц и цветов заставили мало-помалу, день за днем, капля за каплей, просочиться в эту столь юную и девственную душу нечто, походившее на забвение. Действительно ли огонь в ней погасал или же только покрывался слоем пепла? Во всяком случае, она почти не ощущала того, что прежде жгло ее и мучило.

Однажды она вдруг вспомнила Мариуса. «Как странно, — сказала она, — я больше о нем не думаю».

На той же неделе, проходя мимо садовой решетки, она заметила блестящего уланского офицера, в восхитительном мундире, с осиной талией, девическими щечками, с саблей на боку, нафабренными усами, блестящим кивером и сигарой в зубах. Вдобавок у него были белокурые волосы, голубые глаза навыкате, круглое, пустое, красивое и наглое лицо — полная противоположность Мариусу. Козетта подумала, что этот офицер, наверное, из полка, размещенного в казармах на Вавилонской улице.

На следующий день она увидела его снова. Она запомнила час.

Начиная с этого момента, — была ли это только случайность? — она видела, как он проходил мимо почти каждый день.

Приятели офицера заметили, что в этом «запущенном» саду, за этой ржавой решеткой в стиле рококо, почти всегда обретается некое довольно миловидное создание в те часы, когда мимо проходит красавец лейтенант, небезызвестный читателю Теодюль Жильнорман.

— Послушай-ка, — говорили они ему, — тут есть малютка, которая умильно на тебя поглядывает, обрати на нее внимание!

— Вот еще! Стану я обращать внимание на всех девчонок, которые на меня поглядывают! — отвечал улан.

Это было как раз в то время, когда Мариус был уже по-настоящему близок к агонии и повторял: «Только бы снова увидеть ее перед смертью!» Если бы его желание осуществилось и он увидел Козетту, поглядывавшую на улана, он, не произнеся ни слова, умер бы с горя. Кто был бы в этом виноват? Никто. Мариус принадлежал к числу людей, которые, погрузившись в печаль, в ней и пребывают; Козетта — к числу тех, которые, окунувшись в нее, выплывают наверх.

Кроме того, Козетта переживала то опасное время, то роковое состояние предоставленной самой себе мечтательной женской души, когда сердце молодой одинокой девушки походит на усики виноградной лозы, цепляющейся по прихоти случая за капитель мраморной колонны или за стойку кабачка. Это быстролетное и решающее время опасно для всякой сироты, бедна она или богата, потому что богатство не защищает от дурного выбора: вступают в неравный брак и в высшем обществе; подлинное неравенство в браке — это неравенство душ. Молодой человек, безвестный, без имени, без состояния, может оказаться мраморной колонной, поддерживающей храм великих чувств и великих идей, а какой-нибудь светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий начищенными сапогами и лакированными словами, если его рассмотреть не извне, а изнутри, что выпадает на долю только его жены, оказывается полным ничтожеством, подверженным свирепым, гнусным и пьяным страстям, — настоящей кабацкой стойкой.

Что же таилось в душе Козетты? Утихшая или заснувшая страсть; витавшая ли там любовь; нечто прозрачное, сверкающее, но замутненное на некоторой глубине и темное на дне? Образ красивого офицера отражался на поверхности этой души. Было ли там, в глуби ее, какое-то воспоминание? В самой глуби? Быть может. Козетта не знала.

Вдруг произошел странный случай.

#### Глава 2

#### Страхи Козетты

В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хоть и через значительные промежутки времени. Он отсутствовал день или два, самое большее. Куда он отправлялся? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз, в один из этих отъездов, она провожала его в фиакре до маленького глухого переулка, на углу которого можно было прочитать: «Дровяной тупик». Там он сошел, и фиакр отвез Козетту обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не оставалось денег.

Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал: «Я вернусь через три дня».

Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла фисгармонию и начала петь, аккомпанируя себе, «В лесу заблудились охотники...» — хор из «Эврианты», быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений. Окончив, она задумалась.

Внезапно послышались чьи-то шаги в саду.

Это не мог быть ее отец, он отсутствовал. Это не могла быть Тусен, она спала. Было десять часов вечера.

Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и приникла к ней ухом.

Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно.

Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставне форточку и выглянула в сад. Стояло полнолуние. Было светло, как днем.

В саду никого не оказалось.

Она открыла окно. В саду было спокойно, а на улице, насколько удавалось разглядеть, — пустынно, как всегда.

Козетта подумала, что ошиблась, очевидно, ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным и мрачным хором Вебера, который открывает духу пугающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу, — хором, где слышится потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать...

Впрочем, по натуре Козетта не была слишком робкой. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искательницы приключений. Припомним, что она более походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера лежали нелюдимость и смелость.

На другой день вечером, но пораньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. Среди смутных мыслей, занимавших ее, ей казалось, что время от времени она ясно различает шум, подобный вчерашнему, словно кто-то ходил в темноте под деревьями, не очень далеко от нее. Но она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих друг друга, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела.

Она вышла из «заросли»; ей оставалось лишь пересечь маленькую зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна, всходившая позади, отбросила ее тень на эту лужайку.

Козетта остановилась в испуге.

Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей особенный страх и ужас, — тень в круглой шляпе.

Казалось, это была тень человека, стоявшего на опушке зарослей кустарника, в двух-трех шагах от Козетты.

Несколько мгновений она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевельнуться, ни повернуть голову.

Наконец она собралась с духом и решительно оглянулась.

Никого не было.

Она посмотрела на землю. Тень исчезла.

Она снова вернулась в заросли кустарника, смело обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила.

Она вся похолодела. Неужели это новая галлюцинация? Может ли быть? Два дня подряд! Одна галлюцинация — это еще куда ни шло, но две галлюцинации? Особенно тревожило ее то, что тень, безусловно, не была привидением. Привидения никогда не носят круглых шляп.

На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей прислышалось и привиделось. Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет: «Ты маленькая дурочка».

Но Жан Вальжан задумался.

— Тут что-нибудь да есть, — сказал он.

Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку.

Ночью она проснулась; на этот раз она ясно услышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду на самом деле был какой-то человек с большой палкой в руке. Она уже собралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека. То был ее отец.

Она снова улеглась, подумав: «Значит, он очень встревожен!»

Жан Вальжан провел в саду эту ночь и две следующие ночи. Козетта видела его в щель ставни.

На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже, и, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее:

— Козетта!

Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно.

Ее отец стоял внизу, на лужайке.

— Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась, — сказал он, — смотри. Вот твой призрак в круглой шляпе.

И он показал ей лежащую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей.

Козетта тоже рассмеялась, все ее мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над этим зловещим садом, который посещали призраки печных труб.

К Жану Вальжану вернулось его спокойствие; что же до Козетты, то она даже хорошенько не приметила, могла ли печная труба отбрасывать свою тень туда, где она ее видела или думала, что видит, и находилась ли луна в той же точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной с поличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась, — Козетта была в этом уверена. Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль о том, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее.

Но через несколько дней случилось новое происшествие.

#### Глава 3,

#### обогащенная комментариями Тусен

В саду, возле решетки, выходившей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба, тем не менее при желании прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви.

Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею — та непреодолимая печаль, которую приносит вечер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна.

Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в этой вечерней тьме?

Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя: «Чтобы ходить по саду в это время, непременно нужны деревянные башмаки. А то можно простудиться».

Она снова направилась к скамье.

Опускаясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, несомненно, не было за несколько мгновений до этого.

Козетта смотрела на камень, спрашивая себя: что это может означать? Внезапно в ней возникла мысль, испугавшая ее, — мысль о том, что этот камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, что чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основания; камень был налицо. Сомнений не оставалось; даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь.

— Отец вернулся? — спросила она Тусен.

— Нет еще, барышня.

(Мы как-то уже указали на заикание Тусен. Да будет позволено нам больше его не отмечать. Нам претит звуковое изображение прирожденного недостатка.)

Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно.

— Тусен, — продолжала Козетта, — хорошо ли вы запираете ставни на болты, хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки?

— О, будьте спокойны, барышня.

Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо знала об этом, все же она не могла не прибавить:

— Ведь здесь так пустынно вокруг!

— Вот уж правда, барышня, — подхватила Тусен. — Убьют, и пикнуть не успеешь! А наш хозяин еще и дома не ночует. Но не бойтесь ничего, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме! Ну как тут не дрожать от страха! Только подумать! Вдруг ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут «молчи» и начнут полосовать тебе горло... И не так уж боишься смерти, все умирают, ничего тут не поделаешь, ведь все равно когда-нибудь помрешь, но, поди, противно чувствовать, как эти люди берутся за тебя. А потом, наверно, и ножи у них тупые! О господи!

— Полно вам, — сказала Козетта. — Заприте все хорошенько.

Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении прошлой недели, даже не посмела сказать: «Ступайте же, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью!» Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы «мужчины» не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Тусен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, огромный, как гора, и весь изрытый пещерами.

Утром, когда взошло солнце, — а восходящему солнцу свойственно вызывать у нас смех над всеми ночными страхами, и смех этот тем радостнее, чем сильнее испытанный нами страх, — Козетта, проснувшись, ощутила свой ужас, как мучительный сон. «Что это мне привиделось? — сказала она себе. — Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду! А потом я испугалась тени печной трубы! Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении, даже камень.

«Никакого камня нет на скамейке, как не было и человека в круглой шляпе в саду, — решила она. — Мне приснился этот камень, как и все остальное».

Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и облилась холодным потом. Камень был там.

Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство.

«Какой вздор! — сказала она себе. — Ну-ка посмотрим, что тут такое!»

Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо.

Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее конверт, хотя и незаклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги.

Козетта открыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога.

Она вынула из конверта маленькую тетрадь, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как подумала Козетта, и очень мелким почерком.

Козетта стала искать имя — его не было; подпись — ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти каких-то непреодолимых чар, она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на акации, залитые светом, на голубей, летавших над соседней кровлей, потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, о чем там написано. Вот что она прочла.

#### Глава 4

#### Сердце под камнем

Сосредоточение вселенной в одном существе, претворение одного существа в божество — вот любовь.

Любовь — это приветствие, которое ангелы шлют звездам.

Как печальна душа, когда она опечалена любовью!

Как пусто вокруг, когда нет рядом существа, которое одним собою заполняет весь мир! Как верно, что любимое существо становится богом! Как понятно, что бог возревновал бы, если бы он, отец всего сущего, не создал, а это очевидно, вселенную для души, а душу для любви.

Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты.

Бог за всем, но все скрывает бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы. Любить живое существо — значит проникнуть в его душу.

Некоторые мысли — те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела, — на коленях.

Разлученные возлюбленные обманывают разлуку тысячью химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться, они не могут переписываться; тогда они находят множество таинственных средств общения. Они посылают друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Почему же нет? Все творения божии созданы служить любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания. О весна! Ты — письмо, которое я ей пишу.

Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить — вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого.

В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она — божественная искра, подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточие, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее самой глуби небес.

О любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга! Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем! Дни благословенные и лучезарные! Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются сюда на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу.

Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни, полной любви, — вечность, полная любви; это действительно продление ее; но увеличить саму силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для бога. Бог — это полнота неба; любовь — это полнота человеческого существа.

Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна — женщина!

У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхаемся. И тогда — смерть. Умереть из-за отсутствия любви — ужасно. Это смерть от удушья.

Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими; теперь они лишь две грани единой судьбы; теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите!

В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается только одно: думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас.

То, что начинает любовь, может быть завершено только богом.

Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого.

Если вы камень — будьте магнитом; если вы растение — будьте мимозой, если вы человек — будьте любовью.

Ничем не удовлетворяется любовь. Человек обрел счастье — он хочет рая; он обрел рай — он хочет неба.

О, любящие друг друга, все это заключает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней. У любви есть то же, что у неба, — созерцание, и больше, чем у неба, — наслаждение.

— Бывает ли она еще в Люксембургском саду? — Нет, сударь. — Она ходит к мессе в эту церковь, не правда ли? — Она больше в нее не ходит. — Она по-прежнему живет в этом доме? — Она переехала. — Где же она теперь живет? — Она не сказала.

Как безотрадно не знать адреса своей души!

Любви свойственна ребячливость, другим страстям — мелкость. Позор страстям, делающим человека мелким! Честь той, которая превращает его в ребенка!

Как странно! Знаете? Я — во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собою небо.

О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице и время от времени во мраке тихонько касаться пальцев друг друга — этого было бы достаточно мне на целую вечность!

Вы, страдающие, потому что любите, любите еще сильней. Умирать от любви — значит жить ею.

Любите. Непостижимое мерцающее звездами преображение соединено с этой мукой. В агонии есть упоение.

О, радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда.

Любовь — божественное вдыхание воздуха рая.

Глубокие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал бог; это длительное испытание, непонятное приготовление к неведомой судьбе. Эта судьба — истинная судьба — открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное. Конечное! Вдумайтесь в это слово. Живые видят бесконечное; конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Увы, горе тому, кто любил только тела, формы, видимость! Смерть отнимет у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь.

Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде; у него были дыры на локтях; вода проникала в его башмаки, а звездные лучи — в его душу.

Какое великое дело быть любимым! И еще более великое — любить! Сердце становится героическим силою страсти. Оно хранит в себе лишь то, что чисто; оно опирается лишь на то, что возвышенно и велико. Недостойная мысль уже не может в нем пустить росток, как не может прорасти крапива на льду. Душа, высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей; вознесясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием, суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы; так горные вершины ощущают подземные толчки.

Не найдись на свете хоть один любящий, солнце угасло бы.

#### Глава 5

#### Козетта после письма

Читая, Козетта мало-помалу погружалась в мечтательную задумчивость. Как раз в ту минуту, когда она подняла глаза от последней строки, красивый офицер — это было время его обычного появления — победоносно прошествовал мимо решетки. Козетта нашла его отвратительным.

Она снова принялась созерцать тетрадку. Почерк записей показался Козетте восхитительным; они были сделаны одной и той же рукой, но разными чернилами, иногда бледноватыми, иногда густо черными, как бывает, когда в чернильницу подливают чернила, — следовательно, они сделаны были в разные дни. Значит, это была мысль, изливавшаяся там, вздох за вздохом, беспорядочно, неровно, без выбора, без цели, случайно. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было больше сияния, чем тьмы, действовала на нее, как приоткрывшееся перед ней святилище. Ей казалось, что каждая из этих таинственных строк сверкает, заливая ее сердце странным светом. Полученное ею воспитание всегда твердило ей о душе и никогда — о любви; так можно говорить о костре, не упоминая о пламени. Эта рукопись в пятнадцать страниц внезапно и мягко открыла ей всю любовь, скорбь, судьбу, жизнь, вечность, начало, конец. Словно чья-то рука разжалась и бросила ей вдруг пригоршню лучей. Она почувствовала в этих нескольких строках страстную, пылкую, великодушную, честную натуру, твердую волю, бесконечную скорбь и бесконечную надежду, страдающее сердце, пылкий восторг. Что собой представляла эта рукопись? Письмо. Письмо без адреса, без имени, без числа, без подписи, настойчивое и ничего не требующее, загадка, составленная из истин, весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной девственницей, свидание, состоявшееся вне земных пределов, любовная записка от призрака к тени. Это был некто отсутствующий, изнемогший и смиренный, казалось, готовый скрыться в обитель смерти и посылавший той, которая ушла, тайну судьбы, ключ к жизни, любовь. Это было написано на краю могилы, со взором, поднятым к небу. Эти строки, оброненные одна за другой на бумагу, могли быть названы каплями души.

Но от кого могли быть эти страницы? Кто мог их написать?

Козетта не колебалась ни одного мгновения. Только один человек.

Он!

Душа ее вновь озарилась светом. Все ожило в ней. Она испытывала небывалую радость и глубокую тревогу. То был он! Он писал ей! Он был здесь! Его рука проникла сквозь решетку! Она уже стала забывать о нем, а он снова разыскал ее! Но разве она его забыла? Нет, никогда! Она сошла с ума, если могла на мгновение этому поверить. Она всегда любила его, всегда обожала. Огонь в ней подернулся пеплом и некоторое время тлел внутри, но — она ясно это видела — он успел пробраться еще глубже и теперь, вспыхнув снова, охватил ее всю целиком. Эта тетрадь была как бы искрой, упавшей из другой души в ее душу. Она чувствовала, как разгорается пожар. Она впитывала в себя каждое слово рукописи. «О да! — говорила она. — Как мне знакомо все это. Я уже раньше прочитала все в его глазах».

Когда она в третий раз кончала чтение тетради, лейтенант Теодюль снова возник перед решеткой, позванивая шпорами по мостовой. Это заставило Козетту взглянуть на него. Она нашла его бесцветным, нелепым, глупым, никчемным, пошлым, отталкивающим, наглым и очень безобразным. Офицер счел долгом улыбнуться. Она отвернулась, пристыженная и негодующая. С удовольствием швырнула бы она ему чем-нибудь в голову.

Она убежала и, войдя в дом, заперлась в своей комнате, чтобы еще раз прочитать рукопись, выучить ее наизусть и помечтать. Хорошенько перечитав тетрадь, она поцеловала ее и спрятала у себя на груди.

Итак, свершилось. Козетта снова предалась глубокой ангельски-чистой любви. Райская бездна снова открылась перед ней.

Весь день Козетта провела в каком-то чаду. Она почти не в состоянии была думать, ее мысли походили на спутанный клубок, она терялась в догадках; объятая трепетом, она таила надежду. На что? На что-то неясное. Она не осмеливалась ничего обещать себе и не хотела ни от чего отказываться. Лицо ее то и дело бледнело, по всему телу пробегала дрожь. Мгновениями ей казалось, что она начинает бредить; она спрашивала себя: «Неужели это правда?» И тогда она дотрагивалась до скрытой под платьем драгоценной тетради, прижимала ее к сердцу, чувствовала ее прикосновение к телу, и если бы Жан Вальжан видел ее в это время, он содрогнулся бы, глядя на неведомую лучезарную радость, изливавшуюся из ее глаз. «О да, — думала она, — это, наверное, он! Это он написал для меня».

И она твердила себе, что он возвращен ей благодаря вмешательству ангелов, благодаря божественной случайности.

О, превращения любви! О, мечты! Этой божественной случайностью, этим вмешательством ангелов был хлебный шарик, переброшенный одним вором другому со двора Шарлемань во Львиный ров через крыши тюрьмы Форс.

#### Глава 6

#### Старики существуют, чтобы вовремя уходить из дома

С наступлением вечера, когда Жан Вальжан ушел, Козетта нарядилась. Она причесалась к лицу и надела платье с вырезанным несколько глубже обычного корсажем, приоткрывавшим шею и плечи и поэтому, как говорили молодые девушки, «немножко неприличным». Это ни в какой мере не было неприличным, но зато как нельзя более красивым. Она сама не знала, для чего так принарядилась.

Собиралась ли она выйти из дому? Нет.

Ожидала ли чьего-нибудь посещения? Нет.

В сумерках она спустилась в сад. Тусен была занята в кухне, выходившей окнами в задний дворик.

Она тихо бродила по аллеям, время от времени отстраняя рукой низко свисавшие ветви деревьев.

Так она дошла до скамьи.

Камень по-прежнему лежал на ней.

Она уселась и положила нежную белую руку на этот камень, точно желая его приласкать и поблагодарить.

Вдруг ею овладело то неопределимое чувство, которое испытывает человек, когда кто-нибудь, пусть даже не видимый им, стоит позади.

Она повернула голову и встала.

Это был он.

Он стоял с обнаженной головой. Он казался бледным и исхудавшим. Во тьме едва можно было различить его черную одежду. В сумерках белел его прекрасный лоб, тонули в тени глаза. Под дымкой необычайного умиротворения в нем было что-то от смерти и ночи. Свет угасавшего дня и мысль отлетавшей души озаряли его лицо.

Казалось, то был еще не призрак, но уже не человек.

Его шляпа лежала неподалеку на траве.

Козетта, готовая лишиться сознания, не вскрикнула. Она медленно отступала назад, потому что чувствовала, как ее влечет к нему. Он не шевельнулся. От него веяло чем-то неизреченным и печальным, и она чувствовала его взгляд, хотя глаз его не видела.

Отступая, Козетта встретила дерево и прислонилась к нему. Не будь этого дерева, она бы упала.

Тогда она услышала его голос, этот голос, которого она никогда еще не слыхала, чуть различимый в шелесте листьев и шептавший ей:

— Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить, и вот я пришел сюда. Читали вы то, что я положил здесь на скамью? Узнаете ли вы меня? Не бойтесь. Помните ли тот день, когда вы на меня взглянули? С тех пор прошло так много времени. Это было в Люксембургском саду, возле статуи Гладиатора. И день, когда вы прошли мимо? То было шестнадцатого июня и второго июля. Почти год тому назад. Я не видел вас очень давно. Я спрашивал у женщины, сдающей стулья, и она мне сказала, что больше не видала вас. Вы жили в новом доме на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу, — видите, я знаю и это. Я провожал вас. Что же мне оставалось делать? И потом вы исчезли. Однажды, когда я читал газеты под аркадой Одеона, мне показалось, что вы прошли. Я побежал. Но нет. То была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь, никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не услышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно вечером я стоял позади вас, но вы обернулись, и я убежал. Один раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Ведь правда, вам не могло помешать то, что я слушал, когда вы пели в комнате? В этом нет ничего дурного. Правда, нет? Видите ли, вы — мой ангел. Позвольте мне изредка приходить; мне кажется, что я скоро умру. О, если бы вы знали! Я обожаю вас! Простите меня, я не знаю, что говорю вам. Быть может, вы сердитесь на меня? Скажите, вы рассердились?

— О, матушка! — промолвила она.

И, словно умирая, начала медленно склоняться долу.

Он ее подхватил, она не держалась на ногах, он обнял ее, он крепко сжал ее в объятиях, не сознавая, что делает. Он поддерживал ее, сам шатаясь. Его голова была как в чаду; перед глазами вспыхивали молнии, мысли исчезали куда-то; ему казалось, что он выполняет религиозный обряд и что он совершает святотатство. И все же у него не было никакого вожделения к этой пленительной женщине, которую он прижимал к груди. Он обезумел от любви.

Она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Он почувствовал бумагу, спрятанную под платьем, и пролепетал:

— Так вы меня любите?

Она ответила так тихо, словно то был чуть слышный вздох:

— Молчи! Ты это знаешь!

И спрятала раскрасневшееся лицо на груди у гордого и опьяненного юноши.

Он опустился на скамью, она села возле него. Слов больше не было. В небе зажигались звезды. Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что май расцветает, что за черными деревьями на зябкой вершине холма загорается заря?

Один поцелуй — это было все.

Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга сиявшими в темноте глазами.

Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы, они глядели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они сами не заметили, как их руки сплелись.

Она его не спрашивала, она даже не думала о том, как он вошел сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь!

Иногда колено Мариуса касалось колена Козетты, и они оба вздрагивали.

Время от времени Козетта что-то невнятно шептала. Казалось, на устах ее трепещет душа, подобно капле росы на цветке.

Мало-помалу они разговорились. За молчанием, которое означает полноту чувств, последовали излияния. Над ними простиралась ясная, блистающая звездами ночь. Эти два существа, чистые, как духи, поведали все свои сны, свои восторги, свои упоения, мечты, тоску, поведали о том, как они обожали друг друга издали, как они стремились друг к другу, как отчаивались, когда перестали видеться. Ощущая ту идеальную близость, которую ничто уже не могло сделать полнее, они поделились всем, что было у них самого тайного, самого сокровенного. Они рассказали с чистосердечной верой в свои иллюзии все, что любовь, юность и еще не изжитое детство вложили в их мысль. Эти два сердца излились друг в друга так, что через час юноша обладал душой девушки, а девушка — душой юноши. Они постигли, очаровали, ослепили друг друга.

Когда они сказали все, она положила голову на его плечо и спросила:

— Как вас зовут?

— Мариус. А вас?

— Козетта.

### Книга шестая

### Маленький Гаврош

#### Глава 1

#### Злая шалость ветра

С 1823 года, пока монфермейльская харчевня приходила в упадок и погружалась мало-помалу не столько в пучину разорения, сколько в помойную яму мелких долгов, супруги Тенардье обзавелись еще двумя детьми, двумя мальчиками. Всего их теперь было пятеро: две девочки и три мальчика. Это было много.

Тетка Тенардье отделалась от двух последних, совсем еще младенцев, с особым удовольствием.

Отделалась — подходящее слово. В этой женщине осталась лишь частица человеческой природы. Подобный феномен, впрочем, встречается не так редко. Как жена маршала де ла Мот-Гуданкур, Тенардье была матерью только для своих дочерей. Ее материнского чувства хватало лишь на них. С мальчиков же начиналась ее ненависть к человеческому роду. По отношению к сыновьям ее злоба достигала предела, и ее сердце вставало перед ними зловещей крутизной. Как мы уже видели, она питала отвращение к старшему и ненависть к обоим младшим. Почему? Потому. Самый страшный повод и самый неоспоримый ответ — это «потому». «Мне не нужна такая куча пискунов», — говорила мамаша.

Объясним, каким образом супругам Тенардье удалось избавиться от двух младших детей и даже извлечь из этого пользу.

Маньон — о ней речь шла выше — была та самая девица, которой удалось предоставить попечению добряка Жильнормана своих двух детей. Она жила на набережной Целестинцев, на углу старинной улицы Малая Кабарга, которая сделала все возможное, чтобы заменить свой дурной запах доброй славой. Все помнят сильную эпидемию крупа, опустошившую тридцать пять лет тому назад прибрежные кварталы Парижа; наука широко воспользовалась ею, чтобы проверить полезность вдувания квасцов, столь целесообразно замененного теперь наружным смазыванием йодом. Во время этой эпидемии Маньон потеряла в один день — одного утром, другого вечером — своих двух мальчиков, еще совсем малюток. То был удар. Дети были очень дороги своей матери; они представляли собой восемьдесят франков ежемесячного дохода. Эти восемьдесят франков аккуратно выплачивались от имени г-на Жильнормана его управляющим г-ном Баржем, отставным судебным приставом, проживавшим на улице Сицилийского короля. Со смертью детей на доходе надо было поставить крест. Маньон искала выхода из положения. В том темном братстве зла, членом которого она состояла, все знают обо всем, взаимно хранят тайны и помогают друг другу. Маньон нужно было найти двух детей. У Тенардье они оказались — того же пола, того же возраста. Выгодное дело для одной, выгодное помещение капитала для другой. Маленькие Тенардье стали маленькими Маньон. Маньон покинула набережную Целестинцев и переехала на улицу Клошперс. В Париже при переезде с одной улицы на другую тождественность личности исчезает.

Гражданская власть, не будучи ни о чем извещена, не возражала, и подмен детей был произведен легче легкого. Но Тенардье потребовал за своих детей, отданных на подержание, десять франков в месяц, которые Маньон обещала платить и даже выплачивала. Само собой разумеется, что г-н Жильнорман продолжал выполнять свои обязательства. Каждые полгода он навещал малышей. Он не заметил никакой перемены. «Как они похожи на вас, сударь!» — твердила ему Маньон.

Тенардье, для которого превращения были делом привычным, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жондретом. Обе его дочери и Гаврош едва имели время заметить, что у них были два маленьких братца. На известной ступени нищеты человеком овладевает какое-то равнодушие призрака, и он смотрит на живые существа, как на выходцев с того света. Самые близкие люди часто оказываются смутными формами мрака, едва различимыми на туманном фоне жизни, и легко сливаются с невидимым.

Вечером того дня, когда тетка Тенардье доставила Маньон двух своих малюток, с нескрываемым желанием отказаться от них навсегда, она испытала или притворилась, что испытывает, какие-то угрызения совести. Она сказала мужу: «Но ведь это значит покинуть своих детей!» Тенардье, самоуверенный и бесстрастный, излечил эту недомогающую совесть следующими словами: «Жан-Жак Руссо делал еще почище!» От угрызений совести мать перешла к беспокойству: «А что, если полиция возьмется за нас? Скажи, Тенардье, то, что мы сделали, это разрешается?» Тенардье ответил: «Все разрешается. Никто ни черта не узнает. А кроме того, кому охота интересоваться ребятами, у которых нет ни гроша?»

Маньон была в некотором роде модницей в преступном мире. Она любила наряжаться. У нее на квартире, обставленной убого, но с притязаниями на роскошь, проживала опытная воровка — одна офранцузившаяся англичанка. Эта англичанка, ставшая парижанкой и пользовавшаяся доверием благодаря обширным связям, имела близкое отношение к краже медалей библиотеки и бриллиантов м-ль Марс и впоследствии стала знаменитостью в судейских летописях. Ее называли «мамзель Мисс».

Двум детям, попавшим к Маньон, не на что было жаловаться. Препорученные ей восемьюдесятью франками, они были ухожены, как все, что приносит выгоду, недурно одеты, неплохо накормлены, почти на положении «барчуков»; им было лучше с подставной матерью, чем с настоящей. Маньон разыгрывала «даму» и не говорила на арго в их присутствии.

Так прошло несколько лет. Тетка Тенардье увидела в этом хорошее предзнаменование. Как-то раз она даже сказала Маньон, вручавшей ей ежемесячную мзду в десять франков: «Надо, чтобы отец дал им образование».

И вдруг эти дети, до сих пор достаточно опекаемые даже своей злой судьбой, были грубо брошены в жизнь и принуждены начинать ее самостоятельно.

Арест целой шайки злодеев, как это имело место в притоне Жондрета, и неизбежно следующие за этим обыски и тюремное заключение — настоящее бедствие для этих отвратительных противообщественных тайных сил, гнездящихся под узаконенной общественной формацией; событие подобного рода влечет за собой всяческие крушения в этом темном мире. Катастрофа с Тенардье вызвала катастрофу с Маньон.

Однажды, вскоре после того как Маньон передала Эпонине записку относительно улицы Плюме, полиция произвела неожиданную облаву на улице Клошперс; Маньон была схвачена, мамзель Мисс также, и все подозрительное население дома попало в расставленные сети. Оба мальчика играли на заднем дворе и не видели полицейского налета. Когда им захотелось вернуться домой, дверь оказалась запертой, а дом пустым. Башмачник, державший лавочку напротив, позвал их и сунул им бумажку, оставленную для них «матерью». На бумажке был адрес: «Г-н Барж, управляющий, улица Сицилийского короля, № 8». «Вы больше здесь не живете, — сказал им башмачник. — Идите туда. Это совсем близко. Первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке».

Дети двинулись в путь; старший вел младшего, держа в руке бумажку, которая должна была указать им дорогу. Было холодно, плохо сгибавшиеся окоченелые пальчики едва удерживали бумажку. На повороте улицы Клошперс порыв ветра вырвал ее, а так как время было к ночи, ребенок не мог ее найти.

Они пустились блуждать по улицам наугад.

#### Глава 2,

#### в которой маленький Гаврош извлекает выгоду из великого Наполеона

Весною в Париже довольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачавшие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как те холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо притворенную дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года — время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии огромная эпидемия, — ветры были жестокими и пронизывающими как никогда. Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры.

С точки зрения метеорологической особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И в ту весну разражались частые грозы с громом и молнией.

Однажды вечером, когда ветер дул с такой силою, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький Гаврош, веселый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, словно замирая от восхищения, стоял перед лавочкой парикмахера близ Орм-Сен-Жерве. Он был наряжен в женскую шерстяную неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флердоранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом же деле он наблюдал за лавочкой, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев».

Созерцая невесту и все время посматривая на кусок мыла, он бормотал сквозь зубы: «Во вторник... Нет, не во вторник... Разве во вторник?.. А может, и во вторник... Да, во вторник».

Так и осталось неизвестным, к чему относился этот монолог.

Если бы он случайно имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сейчас была пятница.

Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной лавочке, время от времени косо поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где.

Покамест Гаврош изучал невесту, витрину и виндзорское мыло, двое ребят, один меньше другого и оба меньше его, довольно чистенько одетые, на вид один семи лет, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и вошли в лавочку, попросив чего-то, может быть, милостыни, жалобным шепотом, больше похожим на стон, чем на мольбу. Они говорили оба сразу, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их на улицу и запер дверь со словами:

— Только холоду зря напустили!

Дети, плача, отправились дальше. Тем временем надвинулась туча и заморосил дождь.

Гаврош догнал их и спросил:

— Что с вами стряслось, птенцы?

— Мы не знаем, где нам спать, — ответил старший.

— Только-то? — удивился Гаврош. — Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Вот так глупыши!

И, сохраняя все тот же вид несколько насмешливого превосходства, принял покровительственный мягкий тон растроганного начальства:

— Пошли за мной, малявки.

— Хорошо, сударь, — сказал старший.

И двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать.

Гаврош поднялся с ними на улицу Сент-Антуан, по направлению к Бастилии.

На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на лавку цирюльника.

— Экий бесчувственный, настоящая вобла! — разразился он. — Верно, англичанишка какой-нибудь.

Гулящая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом. Смех указывал на отсутствие уважения к этой компании.

— Здравствуйте, мамзель Для-всех, — приветствовал ее Гаврош.

Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил:

— Я ошибся насчет той скотины, это не вобла, а кобра. Эй, брадобрей, я найду слесарей, мы приладим тебе погремушку на хвост!

Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене:

— Сударыня, вы всегда выезжаете на собственной лошади?

И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего.

— Шалопай! — крикнул взбешенный прохожий.

Гаврош высунул нос из своей шали.

— На кого изволите жаловаться?

— На тебя, — ответил прохожий.

— Контора закрыта, — выпалил Гаврош. — Я больше не принимаю жалоб.

Между тем, продолжая подниматься по улице, он заметил под воротами окоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были ее колени. Она уже слишком выросла из своих нарядов. Рост может сыграть такую штуку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной.

— Бедняжка! — сказал Гаврош. — У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На-ка, держи!

Размотав на своей шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль.

Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро.

— Бр-р-р, — застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща.

При этом «бр-р-р» дождь, словно еще сильней обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния.

— Ах, так? — воскликнул Гаврош. — Это еще что такое? Опять полилось? Господь бог, если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду!

И он снова зашагал.

— Все равно, — прибавил он, взглянув на нищенку, съежившуюся под шалью, — у ней-то надежная шкурка.

И, взглянув на тучу, крикнул:

— Вот тебя и провели!

Дети старались поспевать за ним.

Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решеткой, указывающей на булочную, — ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой, — Гаврош обернулся:

— Да, вот что, малыши, вы обедали?

— Сударь, — ответил старший, — мы не ели с самого сегодняшнего утра.

— Значит, у вас нет ни отца, ни матери? — величественно спросил Гаврош.

— Прошу извинить, сударь, у нас есть и папа, и мама, только мы не знаем, где они.

— Иной раз это лучше, чем знать, — заметил Гаврош, который был мыслителем.

— Вот уже два часа, как мы идем, — продолжал старший, — мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли.

— Знаю, — сказал Гаврош. — Собаки подобрали, они все пожирают.

И, помолчав, прибавил:

— Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Людям в летах просто глупо вдруг заблудиться. Да, вот что! Нужно, однако, пожевать чего-нибудь.

Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья — что может быть проще?

Старший мальчуган, почти совсем вернувшись к свойственной детству беззаботности, воскликнул:

— Как смешно! Ведь мама-то говорила, что в Вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой...

— Для порки, — закончил Гаврош.

— Моя мама, — начал снова старший, — настоящая дама, она живет с мамзель Мисс...

— Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты, — подхватил Гаврош.

Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев.

Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим.

— Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим.

Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул свое су на прилавок и крикнул:

— Продавец, на пять сантимов хлеба!

«Продавец», оказавшийся самим хозяином, взялся за нож и хлеб.

— Три куска, продавец! — снова крикнул Гаврош.

И он прибавил с достоинством:

— Нас трое.

Заметив, что булочник, внимательно оглядев трех покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодующе крикнул булочнику прямо в лицо:

— Этшкое?

Тех из наших читателей, которые имели бы поползновение счесть восклицание Гавроша русским или польским словом или тем воинственным кличем, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу «Это что такое?». Булочник это прекрасно понял и ответил:

— Ну и что ж? Это хлеб очень хороший, хлеб второго сорта.

— Вы хотите сказать — железняк? — возразил Гаврош спокойно и холодно-негодующе. — Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю.

Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша.

— Эй вы, хлебопек, — сказал он, — с чего это вы вздумали снимать с нас мерку?

Если бы их всех трех поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень.

Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям:

— Лопайте.

Мальчики с недоумением посмотрели на него.

Гаврош рассмеялся:

— А, вот что! Верно, они этого еще не понимают, не выросли. — И затем прибавил: — Ешьте.

И протянул каждому из них по куску хлеба.

Решив, что старший, по его мнению, более достойный беседовать с ним, заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удовлетворении своего аппетита, он прибавил, сунув ему самый большой кусок:

— Залепи-ка это себе в дуло.

Один кусок был меньше других; он взял его себе.

Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно.

— Выйдем на улицу, — сказал Гаврош.

Они снова пошли по направлению к Бастилии.

Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке.

— Ну не глупыши разве? — говорил Гаврош.

Потом, задумавшись, он бормотал сквозь зубы:

— Как-никак, будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел.

Когда они доедали хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая и зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал:

— Смотри-ка, это ты, Гаврош?

— Смотри-ка, это ты, Монпарнас? — ответствовал Гаврош.

К нему подошел какой-то человек, и человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его.

— Вот так штука! — продолжал Гаврош. — Твоя хламида как раз такого цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки — точь-в-точь докторские. Все как следует, одно к одному, верь старику!

— Тише, — одернул его Монпарнас, — не ори так громко!

И он быстро оттащил Гавроша подальше от освещенных лавочек.

Двое малышей машинально пошли за ними, держась за руки.

Когда они оказались под черным сводом каких-то ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил:

— Знаешь, куда я иду?

— В монастырь Вознесение-Поневоле[[4]](#footnote-4), — ответил Гаврош.

— Шутник! — И Монпарнас продолжал: — Я хочу разыскать Бабета.

— Ах, ее зовут Бабетой! — ухмыльнулся Гаврош.

Монпарнас понизил голос:

— Не она, а он.

— Ах, так это ты насчет Бабета?

— Да, насчет Бабета.

— Я думал, он попал в конверт.

— Он его распечатал, — ответил Монпарнас.

И он быстро рассказал мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса».

Гаврош подивился его ловкости.

— Ну и мастак! — сказал он.

Монпарнас прибавил несколько подробностей относительно бегства Бабета и окончил так:

— О, это еще не все!

Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала.

— Ого! — сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно. — Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское.

Монпарнас подмигнул.

— Черт возьми! — продолжал Гаврош. — Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами?

— Как знать, — с равнодушным видом ответил Монпарнас, — никогда не мешает иметь при себе булавку.

Гаврош настаивал:

— Что же ты думаешь делать сегодня ночью?

Монпарнас снова напустил на себя важность и сказал, цедя сквозь зубы:

— Так, кое-что. — И сразу, переменив разговор, воскликнул: — Да, кстати!

— Ну?

— На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя я шарю рукой в кармане, а там — ничего.

— Кроме проповеди, — добавил Гаврош.

— Ну, а ты, — продолжал Монпарнас, — куда ты сейчас идешь?

Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил:

— Иду укладывать спать этих ребят.

— Где же ты их уложишь?

— У себя.

— Где это у тебя?

— У себя.

— Значит, у тебя есть квартира?

— Есть.

— Где же это?

— В слоне, — ответил Гаврош.

Хотя Монпарнас по своей натуре и мало чему удивлялся, но невольно воскликнул:

— В слоне?

— Ну да, в слоне! — подтвердил Гаврош. — Штотуткоо?

Вот еще одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» обозначает: «Что ж тут такого?»

Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. По-видимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша.

— А в самом деле! — сказал он. — Слон так слон. А что, там удобно?

— Очень удобно, — ответил Гаврош. — Там и вправду отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами.

— Как же ты туда входишь?

— Так и вхожу.

— Значит, там есть лазейка? — спросил Монпарнас.

— Черт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики ее не заметили.

— И ты взбираешься наверх? Так, я понимаю.

— Простой фокус. Раз, два — и готово, тебя уж нет.

Помолчав, Гаврош прибавил:

— Для этих малышей у меня найдется лестница.

Монпарнас расхохотался:

— Где, черт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат?

Гаврош просто ответил:

— Это мне один цирюльник подарил на память.

Вдруг Моппарнас задумался.

— Ты узнал меня слишком легко, — пробормотал он.

И, вынув из кармана две маленькие штучки, попросту две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменился.

— Это тебе к лицу, — сказал Гаврош, — сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Оставь это навсегда.

Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был насмешник.

— Без шуток, — сказал Монпарнас, — как ты меня находишь?

И голос тоже у него стал совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем.

— Покажи-ка нам Петр-р-рушку! — воскликнул Гаврош.

Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были сами заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса.

К сожалению, Монпарнас был озабочен.

Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово:

— Слушай, парень, следи глазом, ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть, — так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не Масленица.

Эта странная фраза произвела на мальчика особое впечатление. Он живо обернулся, с глубоким вниманием оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось: «Вон оно что!» — но он сразу сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал:

— Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае если я тебе понадоблюсь ночью, ты можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша.

— Ладно, — ответил Монпарнас.

И они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, а Гаврош — к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого, в свою очередь, тащил Гаврош, несколько раз обернулся назад, чтобы поглядеть на уходившего «Петр-р-рушку».

Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звуковое сочетание *диг*, повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог *диг* не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: мой дог, мой даг и мой диг — выражение на арго тюрьмы Тампль, обозначавшее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мольер и рисовал Калло.

Лет двадцать тому назад в юго-восточном углу площади Бастилии, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, теперь уже исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией».

Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими каждый раз все дальше от нас, стал историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, теперь же небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном и открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам ноги вырисовывались ночью на звездном фоне неба страшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал — неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было какое-то исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах ввысь, рядом с невидимым призраком Бастилии.

Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом; отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. «Эдилы», как выражаются на изящном арго салонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря тому медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный — безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груду мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано.

Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь — это подлинная стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину.

Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но, несомненно, величественный и отмеченный печатью какой-то великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла; начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника.

Как бы там ни было, но, возвращаясь к площади Бастилии, скажем одно: творец слона и при помощи гипса достиг великого; творец печной трубы и из бронзы создал ничтожное.

Эта печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и обширным дощатым забором, окончательно отгородившим слона.

К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «малышами».

Да будет нам дозволено здесь прервать наш рассказ и напомнить о том, что мы не извращаем действительности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение общественного памятника.

Отметив этот факт, продолжаем.

Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал:

— Птенцы, не бойтесь!

Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег.

Вдоль забора здесь лежала лестница, которою днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош, с неожиданной в нем силой, поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхе колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру и сказал:

— Взбирайтесь и входите.

Мальчики испуганно переглянулись.

— Вы боитесь, малыши! — вскричал Гаврош. — И прибавил: — Сейчас увидите.

Он плотно обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проник в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры, затопленной мраком.

— Ну вот, — крикнул он, — лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! — крикнул он старшему. — Я подам тебе руку.

Дети подталкивали друг друга. Гаврош одновременно внушал им и страх, и доверие, а кроме того, шел сильный дождь. Старший осмелился. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его совсем одного между лап этого огромного зверя, хотел разреветься, но не посмел.

Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош тем временем подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования — своего ученика или погонщик — своего мула:

— Не трусь!

— Так, правильно!

— Лезь же, лезь!

— Ставь ногу сюда!

— Руку туда!

— Смелей!

И когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе.

— Попался! — сказал Гаврош.

Малыш проскочил в трещину.

— Теперь, — сказал Гаврош, — подожди меня. Сударь, потрудитесь присесть.

И, выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему:

— Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе.

В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал:

— Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет!

После этого взрыва веселья он прибавил:

— Ну, карапузы, вы у меня дома!

Гаврош на самом деле был у себя дома.

О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот необъятный памятник, заключавший мысль императора, стал гнездышком гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, что жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим — над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооруженном, необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжущими вокруг него веселыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нем пристанище ребенку.

Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети.

— Начнем вот с чего, — сказал Гаврош, — скажем привратнику, что нас нет дома.

И, нырнув во тьму с уверенностью человека, знающего свое жилье, он взял доску и закрыл ею дыру.

Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети услышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда еще не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс.

Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона.

Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку, или, еще точнее, что должен был испытать Иона во чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запыленную диафрагму. Там и сям, в углах, можно было заметить большие, кажущиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими пугливыми движениями.

Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу.

Младший прижался к старшему и сказал вполголоса:

— Тут темно.

Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски.

— Что вы мне голову морочите? — воскликнул он. — Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужно Тюильри? Ну, не скоты ли вы после этого? Отвечайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолоченной клетки!

Немного грубости при испуге не мешает. Она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу.

Гаврош, растроганный таким доверием, перешел «от строгости к отеческой мягкости» и обратился к младшему.

— Дуралей, — сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном, — это на дворе темно. На дворе идет дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь ни ветерка; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, черт возьми!

Дети смелее начали осматривать помещение; но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием.

— Живо! — крикнул он.

И подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, назвать существенной частью комнаты.

Там находилась его постель.

Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом.

Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом — довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков.

Три довольно длинные жерди, воткнутые — две спереди и одна позади — в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший изнутри брюхо слона, и связанные веревкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным, как полотнищем проволочной решетки, которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чум эскимоса.

Эта сетка и служила пологом.

Гаврош отодвинул немного в сторону камни, придерживающие ее спереди, и два ее полотнища, прилегавшие одно к другому, раздвинулись.

— Ну, малыши, на четвереньки! — скомандовал Гаврош.

Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем ползком пробрался вслед за ними, подвинул на место камни и плотно закрыл отверстие.

Все втроем растянулись на циновке.

Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькове. Гаврош все еще держал в руке «погребную крысу».

— Теперь, — сказал он, — дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр.

— Сударь, — спросил старший, показывая на сетку, — а что это такое?

— Это, — важно ответил Гаврош, — от крыс. Дрыхните!

Все же он счел нужным прибавить несколько слов в поучение этим младенцам и продолжал:

— Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Тамыхъесь (там их есть) целый набор. Тамтольнада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь.

Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего, который пролепетал:

— Как хорошо! Как тепло!

Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло.

— Это тоже из Ботанического сада, — сказал он. — У обезьян забрал.

И, указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, прибавил:

— А это было у жирафа.

Помолчав, он продолжал:

— Все это принадлежало зверям. Я отобрал у них. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона».

Снова немного помолчав, он заметил:

— Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом.

Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но в каком-то смысле изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом.

— Сударь, — робко сказал старший, — а разве вы не боитесь полицейских?

Гаврош ограничился ответом:

— Малыш, не говорят: «полицейские», а говорят: «фараоны»!

Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему:

— Ну как? Хорошо тут?

— Очень! — ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела.

Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться.

— Кстати, — снова заговорил Гаврош, — почему же это вы давеча плакали? — И, показав на младшего, продолжал: — Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь, это совсем глупо: точь-в-точь теленок.

— Ну да! — ответил тот. — Ведь у нас не было никакой квартиры, и некуда было деваться.

— Птенец! — заметил Гаврош. — Не говорят: «квартира», а говорят: «домовуха».

— А потом мы боялись остаться ночью одни.

— Не говорят: «ночь», а говорят: «потьмуха».

— Благодарю вас, сударь, — ответил ребенок.

— Послушай, — снова начал Гаврош, — никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду заботиться о вас. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдем смотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл в пьесе. Мы были тогда малышами, как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. После этого мы отправимся в оперу. Войдем туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвары-то я, конечно, не пошел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем посмотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Марэ. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово поразвлечься!

В это время на палец Гавроша упала капля смолы, это и вернуло его к действительности.

— Ах, черт! — воскликнул он. — Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят.

— А потом, — робко вставил старший, один только и осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему, — уголек может упасть на солому, надо быть осторожным, чтобы не сжечь дом.

— Не говорят: «сжечь дом», — поправил Гаврош, — а говорят: «подсушить мельницу».

Ненастье усиливалось. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колосса.

— Обставили мы тебя, дождик! — сказал Гаврош. — Забавно слышать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дураковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и брюзжит, старая водоноска.

Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загремел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что сетка почти слетела; но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом:

— Спокойно, ребята! Не толкайте так наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Браво, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю.

После этого он привел в порядок сетку, тихонько толкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы заставить хорошенько вытянуться, и вскричал:

— Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать — это очень плохо. Будет разить из дыхала, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь-ка хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы?

— Да, — прошептал старший, — мне хорошо. Под головой словно пух.

— Не говорят: «голова», — крикнул Гаврош, — а говорят: «сорбонна».

Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ:

— Дрыхните!

И погасил фитилек.

Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком.

Пятилетний малыш, услыхав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрых», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание:

— Сударь!

— Что? — спросил уже засыпавший Гаврош.

— А что это такое?

— Это крысы, — ответил Гаврош.

И снова опустил голову на циновку.

Действительно, крысы, сотнями кишевшие в остове слона, — они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили, — держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро назвал «свежим мясцом», бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались до самой верхушки и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа.

Между тем мальчуган не засыпал.

— Сударь! — снова начал он.

— Ну?

— А что это такое — крысы?

— Это мыши.

Объяснение Гавроша немного успокоило ребенка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил:

— Сударь!

— Ну?

— Почему у вас нет кошки?

— У меня была кошка, — ответил Гаврош, — я ее сюда принес, но они ее съели.

Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз.

— Сударь!

— Ну?

— А кого же это съели?

— Кошку.

— А кто съел кошку?

— Крысы.

— Мыши?

— Да, крысы.

Ребенок, изумляясь, что здешние мыши едят кошек, продолжал:

— Сударь, значит, такие мыши и нас могут съесть?

— Понятно! — ответил Гаврош.

Страх ребенка достиг предела. Но Гаврош прибавил:

— Не бойся! Они до нас не доберутся. И кроме того, я здесь! На, возьми мою руку. Молчи и дрыхни!

И Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и почувствовал себя успокоенным. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю, — трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего больше не слышали.

Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии, зимний ветер с дождем дул порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и, в поисках ночных бродяг, молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей трех беглых спящих детишек.

Чтобы понять все нижеследующее, нелишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым.

На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, бегом пересек площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то по его насквозь промокшему платью легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попугай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное понятие о котором может дать следующее начертание:

— Кирикикиу!

На второй крик из брюха слона ответил звонкий и веселый детский голос:

— Здесь!

Почти тут же дощечка, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользнувшего вниз по ноге слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас.

Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Ты спросишь господина Гавроша».

Услышав этот крик, он сразу вскочил, выбрался из своего «алькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, затем открыл люк и спустился вниз.

Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас ограничился словами:

— Ты нам нужен. Поди, помоги нам.

Мальчик не потребовал дальнейших объяснений.

— Ладно, — сказал он.

И оба отправились к Сент-Антуанской улице, откуда и появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную цепь тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок.

Сидящие в своих тележках меж грудами салата и овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.

#### Глава 3

#### Перипетии побега

Вот что случилось в ту же самую ночь в тюрьме Форс.

Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардье, хотя последний и сидел в одиночке, договорились о побеге. Что до Бабета, то он «обработал дело» еще днем, как это явствует из сообщения Монпарнаса Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем извне.

Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, зрело обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, зарешеченного окошечка, обитой железом двери и назывались «карцерами»; но карцер был признан слишком гнусным учреждением; теперь же места заключения состоят из железной двери, зарешеченного окошечка, походной койки, пола из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются «исправительными камерами». В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как ясно из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать.

Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань, поэтому посадили в Новое здание. Первое, что он обрел в Новом здании, был Живоглот, второе — гвоздь; Живоглот означал преступление, гвоздь означал свободу.

Брюжон, о котором уже пора составить себе полное представление, несмотря на тщедушный свой вид и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смышленый, а кроме того, опытный вор, с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был продиктован его волей, а улыбка — натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами; он далеко двинул вперед мастерство «свинцодеров», которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь».

Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами — мосты и ступени на пути к свободе.

Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость Нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, «особо опасных», как говорится на тюремном языке.

Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба, вероятно из какой-нибудь прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она казалась чем-то вроде сплющенного столба, и даже пробивалась сквозь крышу.

Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосторожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу.

Тенардье находился как раз над ними, на чердаке, на так называемом «Вольном воздухе».

Прохожий, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива св. Екатерины перед воротами бань, увидит двор, усаженный цветами и кустами в ящиках; в глубине двора развертываются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями, — сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная, голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролегала дорожка дозорных тюрьмы Форс.

Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося позади Беркена.

Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее кровля по другую ее сторону. То была крыша Нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой, — то были окна «Вольного воздуха». Крышу прорезала труба — то была труба, проходившая через общие камеры.

«Вольный воздух», чердак Нового здания, был своего рода огромным сараем, разделенным на отдельные мансарды, с тройными решетками на окнах и дверьми, обитыми листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если туда войти с северной стороны, то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа — четыре квадратные камеры, довольно обширные, обособленные, разделенные узкими проходами, сложенные до подоконников из кирпича, а дальше, до самой крыши, — из железных брусьев.

Тенардье сидел в одной из этих камер с ночи 3 февраля. Так никогда и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, Деро, а шайка «усыпителей» прославила.

Во многих тюрьмах есть служащие-предатели, не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции, наживающиеся всякими правдами и неправдами.

Итак, в ту самую ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Бабет, бежавший утром, поджидает их на улице вместе с Монпарнасом, тихонько встали и гвоздем, найденным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кровати. Мусор падал на кровать Брюжона, таким образом, не было слышно никакого стука. Сильный ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив Живоглоту и Брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, Живоглот силен. Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в зарешеченной каморке с окошечком на камеру, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхнее отверстие трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкой.

— Хороша потьмуха для вылета! — сказал Брюжон.

Пропасть, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивало в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки на верху трубы и перекинув другой конец через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавший ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице.

Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках, с гвоздем в руке, с планом бегства в мыслях.

Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости.

Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. Итак, ничего дурного с ними не случилось, если не считать почти целиком содранной с ладоней кожи.

В эту ночь Тенардье был предупрежден, — каким образом, выяснить не удалось, — и не спал.

Около часа пополуночи, хотя ночь и была очень темна, он увидел, что по крыше, в дождь и бурю, мимо слухового оконца против его камеры промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был Брюжон. Тенардье узнал его и понял. Большего ему не требовалось.

Тенардье, попавшего в рубрику весьма опасных грабителей и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала «Вольный воздух». На ногах заключенного были железные кандалы весом в пятьдесят фунтов. Ежедневно, в четыре часа пополудни, сторож, под охраной двух догов, — в те времена так еще делалось, — входил в камеру, клал возле его койки двухфунтовый черный хлеб, ставил кружку воды и миску с жидким супом, где плавало несколько бобов, затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Этот сторож со своими догами наведывался также два раза ночью.

Тенардье добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, чтобы «прикалывать» свой хлеб к стене, втыкая конец шипа в одну из щелей. «Это, — говорил он, — убережет его от крыс». Так как Тенардье был под непрерывным наблюдением, то ничего предосудительного в этом шипе не нашли. Однако позднее вспомнили, что один сторож сказал: «Было бы лучше оставить ему деревянный шип».

В два часа ночи часового, старого солдата, сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками и ушел, ничего не заметив, разве только слишком юный возраст и «глуповатый вид» этой «пехтуры» — часового. Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись, как колода, на пол, возле клетки Тенардье. Самого же Тенардье в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею — другая, в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере также обнаружили наполовину пустую бутылку, содержавшую остаток одурманивающего вина, которым был усыплен солдат. Штык солдата исчез.

В ту минуту, когда было сделано это открытие, Тенардье считали вне пределов досягаемости. На самом же деле он хотя и был вне стен Нового здания, но далеко не в безопасности.

Добравшись до крыши Нового здания, Тенардье нашел обрывок веревки Брюжона, свисавший с решетки, закрывающей верхнее отверстие печной трубы, но этот оборванный конец был слишком короток, и он не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглоту.

Если свернуть с Балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас же направо вам встретится грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Эта развалина приметна по двум большим квадратным окнам, сохранившимся и посейчас; то, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червями перекладиной, напоминающей изогнутую полоску на геральдическом щите. Сквозь эти окна в прошлые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс.

Пустоту, образовавшуюся среди улицы на месте разрушенного дома, наполовину заполнял забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами, за ним притаилась маленькая хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду.

На самом верху этой развалины и очутился Тенардье чуть попозже трех часов утра.

Как он добрался сюда? Этого никогда не могли ни объяснить, ни понять. Молнии должны были одновременно и мешать ему и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных и отсюда уже развалины на улице Сицилийского короля? Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков с крыши «Вольного воздуха» на ограду дозорной дорожки и прополз на животе по гребню этой стены вокруг всей тюрьмы до самой развалины? Но стена тюрьмы Форс шла неровной и зубчатой линией. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань; ее перерезали строения; она была неодинаковой высоты как над особняком Ламуаньона, так и на всей Мощеной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный Тенардье, остается почти необъяснимым. Одним ли способом, другим ли — все равно бегство казалось невозможным. Но, воспламененный той страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки в ивовые плетенки, калеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенардье, быть может, изобрел и применил третий способ? Этого никогда не узнали.

Не всегда возможно понять, каким чудом осуществляется побег. Человек, спасающийся бегством, повторяем это, вдохновлен свыше; свет неведомых звезд и зарниц указует путь беглецу; порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет крыльев к небесам; и об убежавшем воре говорят: «Как ему удалось перебраться через эту крышу?» так же, как говорят о Корнеле: «Где он нашел эту строчку: «Пусть умирает он»?»

Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в лохмотья, ободрав руки, разбив в кровь локти, изранив колени, Тенардье добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком»; там он растянулся во всю свою длину, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой.

Взятая им с собой веревка была слишком коротка.

Он ожидал здесь, бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа — время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей; в оцепенении смотрел он при свете фонарей на черневшую внизу, в страшной глубине, мокрую мостовую — желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью и свободой.

Он спрашивал себя, удалось ли бежать его трем соучастникам, слышали ли они его, придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Берси едут к рынку через улицу Сент-Антуан.

Пробило четыре часа. Тенардье вздрогнул. Немного спустя в тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток на петлях, шум переполоха и хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов о каменные плиты дворов. В зарешеченных окнах камер виднелись подымавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку Нового здания метался факел, из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая там и сям вдоль крыш. В то же время Тенардье увидел со стороны Бастилии белесый отсвет, зловеще побеливший край неба.

А он лежал, вытянувшись на верху стены шириной в десять дюймов, под ливнем, меж двух пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, отчего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, и мысль его, подобно языку колокола, колебалась между двумя исходами: «Смерть, если я упаду, каторга, если я здесь останусь».

Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен; миновав Мощеную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Тенардье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверцы в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под Тенардье. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и часового, охранявшего калитку тюрьмы Форс в нескольких шагах от них. Нелишним будет отметить, что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тенардье не мог рассмотреть лица неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует себя погибшим.

Перед глазами Тенардье мелькнул слабый проблеск надежды: эти люди говорили на арго.

Первый сказал тихо, но отчетливо:

— Шлепаем дальше. Чего нам тутго маячить?

Второй отвечал:

— Этот дождь заплюет самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Вон один держит свечу на взводе. Еще засыпемся туткайль.

Эти два слова *тутго* и *туткайль*, оба обозначавшие «тут» — первое на арго застав, второе — Тампля, были лучами света для Тенардье. По «тутго» он узнал Брюжона, «хозяина застав», а по «туткайль» — Бабета, который, не считая других своих специальностей, побывал и перекупщиком в тюрьме Тампль.

Старое арго восемнадцатого века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого «туткайль» Тенардье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос.

Тем временем в разговор вмешался третий:

— Торопиться некуда. Подождем немного. Кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи?

По этим словам, по этой правильной французской речи Тенардье узнал Монпарнаса, который простер свое изящество до понимания всех арго, однако сам не пользовался ни одним из них.

Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Тенардье не сомневался: то был Живоглот.

Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо:

— Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукарить не умеет, куда ему! Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывесить шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться — тут нужно быть жохом! Старикан этого не может, он не деловой парень!

Бабет все на том же классическом арго, на котором говорили Пулалье и Картуш и которое относится к наглому, новому красочному и смелому арго Брюжона так же, как язык Расина к языку Андре Шенье, добавил:

— Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик. Его провел шпик, может быть, даже наседка, с которой он покумился. Слушай, Монпарнас, ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалился, ясно! Заработал двадцать лет. Я не боюсь, не трусливого десятка, сами знаете, но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим бутылочку старого винца.

— Друзей в беде не оставляют, — проворчал Монпарнас.

— Я тебе звоню, что у него боль, — ответил Брюжон. — Сейчас обойщика душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать. Смотаемся отсюда. Я уже чувствую, как фараон берет меня за шиворот.

Монпарнас сопротивлялся слабо; действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственна бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы Форс, как ни было это опасно, в надежде увидеть Тенардье на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной, — был такой ливень, что все улицы опустели, — пробиравший их холод, промокшая одежда, дырявая обувь, тревожный шум, поднявшийся в тюрьме, истекшее время, встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх — все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился в некоторой степени зятем Тенардье, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардье тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с «Медузы», который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте.

Он не осмеливался их позвать: если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжущий луч надежды: он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил ее за ограду.

Веревка упала к их ногам.

— Удавка! — сказал Бабет.

— Мой шнурочек! — подтвердил Брюжон.

— Трактирщик здесь, — заключил Монпарнас.

Они подняли глаза, Тенардье немного приподнял голову над стеной.

— Живо! — сказал Монпарнас. — Другой конец веревки у тебя, Брюжон?

— Да.

— Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься.

Тенардье отважился подать голос:

— Я промерз до костей.

— Согреешься.

— Я не могу шевельнуться.

— Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим.

— У меня окоченели руки.

— Привяжи только веревку к стене.

— Я не могу.

— Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, — сказал Монпарнас.

— На третий этаж! — заметил Брюжон.

Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардье. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, позже совсем обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкой.

— Можно взобраться по ней, — сказал Монпарнас.

— По этой трубе? — вскричал Бабет. — Мужчине — никогда. Здесь нужен малек.

— Нужен малыш, — подтвердил Брюжон.

— Где бы найти ребятенка? — спросил Живоглот.

— Подождите, — сказал Монпарнас. — Я придумал.

Он тихонько приоткрыл калитку ограды, удостоверился, что на улице нет ни одного прохожего, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии.

Прошло семь или восемь минут — восемь тысяч веков для Тенардье; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка, наконец, снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему совершенно пустынна.

Гаврош вошел в ограду и спокойно посмотрел на эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос.

— Малыш, мужчина ты или нет? — обратился к нему Живоглот.

Гаврош пожал плечами и ответил:

— Такой малыш, как я, — мужчина, а такие мужчины, как вы, — мелюзга.

— Как у малька здорово звякает звонок! — вскричал Бабет.

— Пантенский малыш — не мокрая мышь, — добавил Брюжон.

— Ну, что же вам нужно? — спросил Гаврош.

Монпарнас ответил:

— Вскарабкаться по этой трубе.

— С этой удавкой, — заметил Бабет.

— И прикрутить шнурок, — продолжал Брюжон.

— К верху стены, — снова вступил Бабет.

— К перекладине в стекляшке, — прибавил Брюжон.

— А дальше? — спросил Гаврош.

— Все! — заключил Живоглот.

Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену, окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает:

— Только и всего!

— Там наверху человек, надо его спасти, — заметил Монпарнас.

— Согласен? — спросил Брюжон.

— Дурачок! — ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки.

Живоглот подхватил Гавроша рукой, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардье, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие скулы, заострившийся и хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал.

— Смотри-ка, — сказал он, — да это папаша!.. Ну ладно, пускай его!

И, взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна.

Мгновение спустя Тенардье был на улице.

Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, он словно и не уставал вовсе, не коченел от холода, не дрожал от страха; все ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный и дикий ум пробудился и, осознав свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности.

Вот каковы были первые слова этого человека:

— Кого мы теперь будем есть?

Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшего одновременно: убивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова *есть* — это *пожирать.*

— Надо смываться, — сказал Брюжон. — Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме, улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины.

— Отлично! Почему же нет? — спросил Тенардье.

— Твоя дочка Эпонина ходила туда, — ответил Бабет.

— И принесла сухарь Маньон, — прибавил Живоглот. — Делать там нечего.

— Дочка не дура, — заметил Тенардье. — А все-таки надо будет посмотреть.

— Да, да, — сказал Брюжон, — надо будет посмотреть.

Однако никто из этих людей, казалось, не обращал больше внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал:

— Ну все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать своих ребят.

И он ушел.

Пять человек вышли один за другим из ограды.

Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардье в сторону.

— Ты разглядел этого малька?

— Какого малька?

— Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку?

— Не очень.

— Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын.

— Ба, — ответил Тенардье, — ты думаешь?

### Книга седьмая

### Арго

#### Глава 1

#### Происхождение

Рigritia[[5]](#footnote-5) — страшное слово.

Оно породило целый мир — la pégre, читайте: *воровство*; и целый ад — la pégrenne, читайте: *голод.*

Таким образом, лень — это мать.

У нее сын — воровство, и дочь — голод.

Где мы теперь? В сфере арго.

Что же такое арго? Это одновременно национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами — народа и языка.

Когда тридцать четыре года тому назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в одно из своих произведений[[6]](#footnote-6), написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Арго? Может ли быть! Но ведь арго — ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т. д. и т. д.

Мы никогда не понимали возражений такого рода.

Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой — неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их естественном языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смерти», снова раздались вопли. Повторяли: «Чего хотят от нас писатели с этим возмутительным наречием? Арго омерзительно! Арго приводит в содрогание!»

Кто же отрицает? Конечно, это так.

Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких же это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна стало вызывать порицание? Мы всегда считали это проявлением мужества и, во всяком случае, делом полезным и достойным того сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останавливаться на полпути? Останавливаться — это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится.

Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность совсем живым и трепещущим это вытащенное на свет божий презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном какого-то кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака, — все это задача и непривлекательная, и нелегкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение арго. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую и взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует возвращения во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое — на потухший и кровавый глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении.

Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от арго, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо арго, — да будет известно тем, кто этого не знает, — одновременно и явление литературное, и следствие определенного общественного строя. Что же такое арго в собственном смысле? Арго — это язык нищеты.

Здесь нас могут прервать; могут обобщить приведенный факт, что иногда является средством уменьшить его значительность; могут нам сказать, что все ремесла, все профессии — к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления — имеют свое арго. Торговец, который говорит: *Монпелье наличный. Марсель хорошего качества;* биржевой маклер, говорящий: *играю на повышение, страховая премия, текущий счет;* игрок, который говорит: *хожу по всем, пика бита;* пристав на Нормандских островах, говорящий: *съемщик, на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая с этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика;* водевилист, заявляющий: *пьесу освистали;* актер, сказавший: *я провалился;* философ, который сказал: *тройственность явления;* охотник, говорящий: *красная дичь, столовая дичь;* френолог, сказавший: *дружелюбие, войнолюбие, тайнолюбие;* пехотинец, именующий ружье *кларнетом;* кавалерист, который называет своего коня *индюшонком;* учитель фехтования, говорящий: *терция, кварта, выпад;* типограф, сказавший: *набор на шпоны,*  — все они, типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водевилист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят на арго. Живописец, который говорит: *мой мазилка,* нотариус, который говорит: *мой попрыгун,* парикмахер, который говорит: *мой подручный;* сапожник, который говорит: *мой подпомощник,* говорят на арго. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат арго: у матроса — *штирборт* и *бакборт,* у театрального декоратора — *двор* и *сад,* у причетника — *апостольская* и *евангельская.* Есть арго модниц, как было арго жеманниц. Особняк Рамбулье кое в чем граничит с Двором чудес. Есть арго герцогинь — свидетельством является следующая фраза в любовной записочке одной великосветской дамы и красавицы эпохи Реставрации: «Во всех этих сплетках вы найдете тьможество оснований для того, чтобы мне вызволиться».

Дипломатические шифры также составлены на арго: папская канцелярия, употребляющая цифру 26 вместо Рим, *grkztntgzyal* вместо *отправка и abfxustgrnogrkzu tu XI* вместо *герцог Моденский,* говорит на арго. Средневековые врачи, которые вместо морковь, редиска и репа говорили: *opoponach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorum, postmegorum,* говорили на арго. Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий: *сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинад, жжёнка, бастер, кусковой, пиленый,* изъясняется на арго. Известное направление в критике двадцать лет тому назад, утверждавшее: *половина Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров,* говорило на арго. Поэт и художник, которые совершенно здраво определили бы г-на де Монморанси как «буржуа», если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы на арго. Академик-классик, называющий цветы *Флорой,* плоды *Помоной,* море *Нептуном,* любовь *огнем в крови,* красоту *прелестями,* лошадь *скакуном,* белую или трехцветную кокарду *розой Беллоны,* треуголку *треугольником Марса,*  — этот академик-классик говорит на арго. У алгебры, медицины, ботаники свое арго. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, столь законченный и столь живописный, на котором говорили Жан Бар, Дюкен, Сюффрен и Дюпере, язык, сливающийся со свистом ветра в снастях, с ревом рупора, со стуком абордажных топоров, с качкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек, — это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым арго нищеты — то же, что лев перед шакалом.

Это так. Но что бы там ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Что до нас, то мы сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова соединимы, существующее с незапамятных времен и бывшее целым царством, есть не что иное, мы это повторяем, как уродливый, пугливый, скрытый, предательский, ядовитый, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя, вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучия и господствующего права — в борьбу страшную, где то хитростью, то насилием, одновременно немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Для надобностей этой борьбы нищета изобрела язык битвы — арго.

Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение, то есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается или которыми осложняется цивилизация, это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой цивилизации. Желая или не желая, Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских воинов говорить на финикийском языке; эту услугу оказал и Мольер, заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают: «А, финикийский, чудесно! Левантинский, в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык наций или провинций; но арго? Какая нужда сохранять арго? Зачем вытаскивать на свет божий арго?»

На все это мы ответим только одним. Действительно, если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучения — это язык, на котором говорила нищета.

Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета.

И затем, мы настаиваем на этом, изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить, — это отнюдь не является работой, где дозволен отбор материала. Историк нравов и идей облечен миссией не менее трудной, чем историк событий. В распоряжении одного — поверхность цивилизации: он наблюдает борьбу династий, рождения престолонаследников, бракосочетания королей, битвы, законодательные собрания, крупных общественных деятелей, революции — все, что совершается на дневном свету, вовне. Другому достаются ее недра, ее глубь: он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет, угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому не ведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые как должное подземные предупреждающие удары закона, тайное перерождение душ, смутное содрогание масс, голодающих, босяков, голяков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных — все эти призраки, бродящие во тьме. Ему должно нисходить туда с сердцем, исполненным милосердия и строгости одновременно, до самых непроницаемых казематов, где вперемежку пресмыкаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает, тот, кто плачет, и тот, кто проклинает, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто претерпевает от зла, и тот, кто его творит. Облечены ли историки сердец и душ обязанностями меньшими, чем историки внешних событий? Допустимо ли думать, чтобы Данте мог сказать меньше, чем Макиавелли? Разве подземелья цивилизации, будучи столь глубокими и мрачными, меньше значат, нежели надземная ее часть? Можно ли хорошо знать горный кряж, если не знаешь скрытой в нем пещеры?

Впрочем, заметим это мимоходом, из предшествующих кратких замечаний могут заключить, что между двумя категориями историков есть резкое различие; однако, на наш взгляд, его не существует. Никто не может быть назван хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза и открытой, если он в то же время в известной мере не является историком скрытой жизни его недр; и никто не может быть назван хорошим историком внутреннего бытия, если он не сумеет стать, каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий и сама, в свою очередь, пронизана последней. Это два порядка различных явлений, отвечающих один другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми провидение отмечает лик нации, имеют свое темное, но отчетливое соответствие в ее глубинах, и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и настоящий историк должен вмешиваться во все.

Человек — это не круг с одним центром; это эллипс с двумя средоточиями. События — одно из них, идеи — другое.

Арго — не что иное, как костюмерная, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он напяливает на себя маски-слова и лохмотья-метафоры. Таким образом, он становится страшным.

Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов взойти на сцену и подать реплику преступлению, пригодный для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет; он прихрамывает, опираясь на костыль Двора чудес — костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку; он именуется профессиональным нищим; он загримирован своими костюмерами — всеми этими призраками; он то ползет по земле, то поднимается — двойственное движение пресмыкающегося. Отныне он готов ко всем ролям: подделыватель документов сделал его косым, отравитель покрыл ярью-медянкой, поджигатель начернил сажей, а убийца подрумянил кровью своих жертв.

Если подойти изнутри к наружным дверям общества, то можно уловить разговор тех, кто по ту сторону двери. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хоть и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это — арго. Слова его уродливы и отмечены какой-то фантастической животностью. Кажется, слышишь говорящих гидр.

Это — непонятное в сокрытом мглою. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкою. Глубокую тьму источает несчастие, еще более глубокую — преступление; эти две сплавленные тьмы составляют арго. Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак в голосах. Страшен этот язык-жаба, он мечется взад и вперед, подскакивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья и зимы, — в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным.

Будем же снисходительны к ним. Увы! Что представляем собою мы, мы сами? Что такое я, обращающийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом?

Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара.

На самом ли деле вы тот, кто зовется счастливцем? Ну, так вот — вы грустны всякий день. Каждому дню своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим — несчастие друга; потом дурная погода, потом какая-нибудь разбитая или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходится расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иной раз — и положение государственных дел. Все это, не считая сердечных горестей. И так далее, до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один, полный неомраченной радости и солнца. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем! Что касается других людей, то ночь, беспросветная ночь над ними.

Умы, размышляющие мало, пользуются выражением: счастливцы и несчастные. В этом мире, по-видимому являющемся преддверием иного, нет счастливцев.

Правильное разделение людей таково: осиянные светом и пребывающие во мраке.

Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных — такова цель. Вот почему мы кричим: «Обучения! Знания!» Научить читать — это зажечь огонь; каждый разобранный слог сверкает.

Впрочем, сказать: «свет» не всегда означает сказать: «радость». Страдают и залитые светом: его излишек сжигает. Пламя — враг крыльев. Пылать, не прекращая полета, — это и есть чудо, отмечающее гения.

Когда вы познаете, когда вы полюбите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах. Осиянные светом плачут хотя бы над пребывающими во мраке.

#### Глава 2

#### Корни

Арго — язык пребывающих во мраке.

Это загадочное наречие, одновременно позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто дымятся еще. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысль почти отказывается быть выраженной этими словами-острожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом.

Но, несмотря на все это и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позеленевшего лиара, так и для золотой медали и которое именуется литературой. У арго, — согласны с этим или не согласны, — есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон.

Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная:

Mais où sont les neiges d’antan?[[7]](#footnote-7)

написана на арго. Antan — *ante annum* — слово из арго Двора чудес, обозначающее *прошедший год* и в более широком смысле *когда-то.* Тридцать лет тому назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть следующее изречение, нацарапанное гвоздем на стене одного из казематов Бисетра королем государства Арго, осужденным на галеры: *Les dabs d’antan trimaient siempre pour la pierre du coёsre.* Иными словами: *Короли былых времен всегда отправлялись на коронацию.* Для этого «короля» каторга и была «коронацией».

Слово *décarade,* означающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и он достоин его. Это слово, будто высекающее искры, передано мастерской ономатопеей в изумительном стихе Лафонтена:

Six forts chevaux tiraient un coche[[8]](#footnote-8).

С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование могло быть любопытней и плодотворней, чем в области арго. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа. Таким оно кажется на первый взгляд, таково, можно сказать, общее впечатление от арго. Но перед теми, кто изучает язык, как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, арго возникает подлинным напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в арго под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский — этот язык портов Средиземноморья, английский и немецкий, романский в его трех разновидностях — романо-французской, романо-итальянской, романо-романской, латинский, наконец, баскский и кельтский. Это глубоко залегающая и причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных или возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности, присутствует здесь почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова.

Не угодно ли испанского? Древнее готское арго кишит испанизмами. Вот *boffette* — пощечина, происшедшее от *bofeton; vantane* — окно (позднее — *vanterne),* от *vantana; gat* — кошка, от *gato; acite* — масло, от *aceyte.* He угодно ли итальянского? Вот *spade* — шпага, происшедшее от *spada; carvel* — судно, от *caravella.* He угодно ли английского? Вот *bichot* — епископ, происшедшее от *bishop; raille* — шпион, от *rascal, rascalion* — негодяй; *pilche* — футляр, от *pilcher* — ножны. Не угодно ли немецкого? Вот *caleur* — слуга, от *kellner; hers* — хозяин, от *herzog.* He угодно ли латинского? Вот *frangir* — ломать, от *frangere; affurer* — воровать, от *fur; cadène* — цепь, от *catena.* Есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти, это слово *magnus* — великий; Шотландия сделала из него свое *mac,* обозначающее главу клана: Мак-Фарлан, Мак-Каллюмор — великий Фарлан, великий Каллюмор[[9]](#footnote-9); арго сделало из него *meck,* а позднее *meg,* то есть бог. Не угодно ли баскского? Вот *gahisto* — дьявол, от *gaïztoa* — злой; *sorgabon* — доброй ночи, от *gabon* — добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот *blavin* — носовой платок, от *blavet* — брызжущая вода; *ménesse* — женщина (в дурном смысле), от *meinec —* полный камней; *barant* — ручей, от *baranton* — фонтан; *goffeur* — слесарь, от *goff* — кузнец; *guédouze* — смерть, от *guenn-du,* белое-черное. Не угодно ли, наконец, истории? Арго называет экю *мальтийка* в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты.

Кроме его филологической основы, на которую мы только что указали, у арго имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, самим разумом человека.

Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка — то, что можно было бы назвать его строительным гранитом.

Арго кишит словами такого рода, словами непосредственными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных, — словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач — *кат;* лес — *оксим;* страх, бегство — *плёт;* лакей — *лакуза;* генерал, префект, министр — *ковруг;* дьявол — *дедер.* Нет ничего более странного, чем эти слова, которые и укрывают, и обнаруживают. Некоторые, например *дедер,* в то же время гротескны и страшны и производят на вас впечатление какой-то гримасы циклопа.

Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора — загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиомы, более метафорической, чем арго. *Отвинтить орех* — свернуть шею; *хрястать* — есть; *венчаться* — быть судимым; *крыса* — тот, кто ворует хлеб; *алебардит* — идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя плотному строю наклоненных пик ландскнехтов и умещающая в одном слове народную метонимию: *дождит алебардами.* Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком и первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть *дедером* и становится *пекарем* — тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля и Еврипиду — после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, одновременно имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантасмагории. *Потьмушники мозгуют стырить клятуру под месяцем* (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видишь, но что это такое — не ведаешь.

В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него наудачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого арго оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов — прямого словотворчества и метафоры: *Кеб брешет, сдается, пантенова тарахтелка дыбает по оксиму* — собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу. *Фраер — балбень, фраерша — клевая, а баруля фартовая* — хозяин глуп, его жена хитра, а дочь красива. Чаще всего, чтобы сбить с толку слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание на *айль, орг, ерг* или *юш.* Так: *Находитайль ли выерг это жаркоюш хорошорг?*  — Находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к привратнику, чтобы узнать, подошла ли ему сумма, предложенная за побег. Окончание *мар* стали прибавлять сравнительно недавно.

Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, всегда стараясь скрыть свою сущность, оно, едва почувствует себя разгаданным, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь заново; это безвестная и проворная, никогда не останавливающаяся работа. В десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык — за десять столетий. Таким образом *larton*, хлеб, становится *lartif; gail*, лошадь, — *gaye; fertanche*, солома, — *fertille; momignard*, малыш, — *momacque; siques*, одежда, — *frusques; chique*, церковь, — *érgugeoir; colabre*, шея, — *colas*. Дьявол сначала *хаушень*, потом *дедер*, потом *пекарь*; священник — *скребок*, потом *кабан*; кинжал — *двадцать два*, потом *перо*, потом *булавка*; полицейские — *кочерги*, потом *жеребцы*, потом *рыжие*, потом *продавцы силков*, потом *легавые*, потом *фараоны*; палач — *дядя*, потом *Шарло*, потом *кат*, потом *костылъщик*. В семнадцатом веке бить — *угощать табаком*, а в девятнадцатом — *натабачить*. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша на слух Ласнера казался бы древнееврейским. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим.

Однако время от времени, и именно вследствие этого движения, старое арго возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тампль сохраняла арго семнадцатого века, Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил арго Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на *анш* старых подданных этого царства. Ты *пьёаншь* ? (ты пьешь?) Он *верианш* (он верит). Но вечное движение отнюдь не перестает оставаться его законом.

Если философу удается удержать на мгновение этот беспрестанно улетучивающийся язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Никакое другое исследование не бывает более действенным, более плодотворным и поучительным. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах арго, которые не содержали бы наглядного урока. Среди этих людей *бить* означает *прикидываться*; они *бьют* болезнь — прикидываются больными; их сила — хитрость.

Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь — *потьмуха*; человек — *тёмник*. Человек — производное от ночи.

Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу, и о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек — *больной*; человек осужденный — *мертвый.*

Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу *чистая*. В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удается перепилить кандалы, первая его мысль — о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу *скрипка*. Имя — это *сердцевина*; многозначительное уподобление. У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных делах, он называет *сорбонной*, другую, которой он платится, *отрубком*. Когда у человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце — ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом *gueux* — нищий, то он готов к преступлению, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями — нуждой и злобой; поэтому арго не говорит *gueux*, оно говорит *réguisé* — навостренный. Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется *хворостьё*. Наконец, каким же словом злодей называет тюрьму? *Академия*. Целая исправительная система может быть порождена этим словом.

У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», те, кого можно обокрасть, — вы, я, любой прохожий: *pantre*. (*Pan* — все люди.)

Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях *lirlonfa* ?[[10]](#footnote-10) Послушайте об этом.

В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом — десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плитки пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки, на некотором расстоянии друг от друга, свешивались цепи длиною в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладиной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, с дрожащими, подкашивающимися ногами, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них так и не просыпались больше. Чтобы поесть, они при помощи ступни одной ноги поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах при приближении галеры сначала слышали песню, а уже потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: *Только рифмы меня и поддерживали.* Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни арго. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхоличный припев галеры Монгомери: *Тималумизен, тимуламизон*. Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна — нежная:

Туткайль театр

Малютки стрелка[[11]](#footnote-11).

Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца — любовь.

В этом мире темных дел хранят тайну друг друга. Тайна — общая собственность. Тайна для этих отверженных — связь, являющаяся основой их союза. Нарушить тайну — значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. Донести на энергичном языке арго обозначает *съесть кусок*. Словно доносчик отрывает по частице тела у всех и питается этим мясом.

Что значит дать пощечину? Обычная метафора отвечает: *засветить тридцать шесть свечей*. Здесь арго вмешивается и добавляет: свеча — это *камуфля*. Поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним — *камуфлет*. Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой, этой траекторией, которую невозможно вычислить, арго поднялось из пещеры до академии. Если Пулайе сказал: *Я зажигаю мою камуфлю*, то Вольтер писал: *Ланглевьель Ла Бомель заслуживает ста камуфлетов*.

Раскопки в арго — это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с обществом людей, заклейменных проклятием.

Арго — это слово, ставшее каторжником.

Трудно поверить, чтобы мыслящее начало человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны.

О, бедная мысль отверженных!

Увы! Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее судьба в том, чтобы вечно ждать духа-освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях, радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копье идеала? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее Зло, и различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, эту пасть, изрыгающую пену, это змеистое колыхание его когтистых лап, его вздувающихся и опадающих колец? Неужели она должна остаться там, без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое смутно чует ее, эта дрожащая, с разметавшимися волосами, ломающая руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье нагое тело белеет во мраке?

#### Глава 3

#### Арго плачущее и арго смеющееся

Как видите, все арго целиком, как существовавшее четыре века тому назад, так и арго нынешнего дня, проникнуто тем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль тех нищих Двора чудес, которые употребляли для игры свои особые колоды карт; из этих игральных карт некоторые дошли до нас. Трефовая восьмерка, например, представляла собой большое дерево с восемью огромными трилистниками — род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер, на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игральных картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, даже песня, даже насмешка, — все отмечены печатью бессилия и угнетенности. Все песни, напевы которых сохранились, смиренны и жалостны до слез. Вор называется *бедным вором,* и всегда он прячущийся заяц, спасающаяся мышь, улетающая птица. Арго почти не жалуется, оно ограничивается вздохами; одно из его стенаний дошло до нас: *«Je n’entrave que le dail comment meck, le daron des orgues, peut atiger ses mômes et ses momignards et les locher criblant sans être atigé lui-même»* [[12]](#footnote-12). Отверженный всякий раз, когда у него есть время подумать, ощущает свое бессилие перед лицом закона и ничтожество перед лицом общества; он пресмыкается, он умоляет, он взывает о сострадании; чувствуется, что он сознает свою вину.

К середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, запевы воров приобрели, так сказать, дерзкие разудалые ухватки. Жалобный припев *малюрэ* заменился *ларифля*. В восемнадцатом веке почти во всех песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская и загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный и подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька:

Мирлябаби, сюрлябабо,

Мирлитон рибон рибет.

Сюрлябаби, мирлябабо,

Мирлитон рибон рибо.

Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребе или в лесной глуши.

Это серьезный симптом. В восемнадцатом веке стародавняя печаль этих угрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают и великого бога, и великого короля. В царствование Людовика XV они называют короля Франции «маркиз Плясун». Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, как будто совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потемок отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной дерзновенностью духа. Это служит признаком того, что они теряют чувство своей преступности и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей какую-то неведомую им самим поддержку. Это служит признаком того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро наделяя им доктрины и софизмы. Наконец, это служит признаком, если только не возникнет никакой помехи, пышного и близкого их расцвета.

Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? Восемнадцатый век? Его философию? Нет, конечно. Дело восемнадцатого века — доброе и полезное дело. Энциклопедисты, с Дидро во главе, физиократы, с Тюрго во главе, философы, с Вольтером во главе, утописты, с Руссо во главе, — это четыре священных легиона. Огромный рывок человечества вперед, к свету, — их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса: Дидро к прекрасному, Тюрго к полезному, Вольтер к истинному, Руссо к справедливому. Но рядом с философами и ниже их благоденствовали софисты — ядовитая поросль, присоседившаяся к здоровым растениям, цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной лестнице Дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения бог знает какую литературу, оказывающую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, весьма опекаемых одним принцем, — забавная подробность! — числятся в «Тайной библиотеке». Эти важные, но неизвестные факты остались не замеченными на поверхности. Порою именно сама тьма, окутывающая факт, уже говорит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретиф де ла Бретон был из всех писателей тем, кто прорыл тогда в народных толщах самую гибельную для здоровья галерею.

Эта работа, совершавшаяся во всей Европе, произвела в Германии больше опустошения, чем где бы то ни было. В Германии в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме «Разбойники», воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда и усвоив некоторые общеизвестные, с виду правдоподобные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли, приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории; они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготовивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева, и в то время как преуспевающие классы самоослепляются или усыпляют себя, — а в одном и другом случае глаза у них закрыты, — ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно!

Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные *жакериями*, рядом с которыми чисто политические волнения — детская игра. Это уж не борьба угнетенного с угнетателем, но стихийный бунт неблагополучия против благоденствия. И тогда все рушится.

Жакерии — это вулканические толчки в недрах народа.

Именно такой опасности, неизбежной, быть может, для Европы конца восемнадцатого века, поставила предел Французская революция — этот огромный акт человеческой честности.

Французская революция, которая есть не что иное, как идеал, вооруженный мечом, встав во весь рост, одним и тем же внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра.

Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ.

Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу — право.

Девятнадцатый век унаследовал ее дело и воспользовался им, и сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, попросту невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает! Глупец, кто ее страшится! Революция — это прививка против жакерии.

Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бацилл феодализма и монархии. Нет больше Средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов, когда почва раздавалась, когда свод пещер разверзался — и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики.

Революционное чувство — чувство нравственное. Развившись, сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон — это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению Робеспьера. С 89-го года народ, весь целиком, вырастает в некую возвышенную личность; нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света; умирающий от голода чувствует в себе честность Франции; достоинство гражданина есть его внутреннее оружие; кто свободен, тот добросовестен; кто голосует — царствует. Отсюда неподкупность; отсюда неуспех нездоровых вожделений; отсюда героически опущенные перед соблазнами глаза. Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных и нравственно возвеличившихся народных масс — это «Смерть ворам!». Прогресс — честный малый; идеал и абсолют не шарят по карманам. Кто охранял в 1848 году фургоны с богатствами Тюильри? Тряпичники из Сент-Антуанского предместья. Лохмотья стояли на страже сокровищ. Добродетель придала блеск оборванцам. В этих фургонах, в ящиках, едва закрытых, а иных даже и полуоткрытых, среди сотни сверкающих драгоценностями ларцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом «Регентом» и стоившая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону.

Итак, нет больше жакерии. И я соболезную ловким людям. С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище не устрашает больше. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются.

#### Глава 4

#### Два долга: бодрствовать и надеяться

При всем этом рассеялась ли всякая социальная опасность? Нет, конечно. Жакерии не существует. Общество может быть спокойно в этом отношении, кровь не бросится ему больше в голову; но оно должно поразмыслить о том, как следует ему дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чахотка. Социальная чахотка называется нищетой.

Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии.

Будем же повторять неустанно: прежде всего должно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им, дать им дышать свежим воздухом, просвещать, любить, расширять их горизонт, щедро предоставлять им во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия, но никогда — праздности, уменьшать тяжесть отдельного, личного бремени, углубляя познание общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатства, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Бриарею, сто рук, чтобы протянуть их во все стороны слабым и угнетенным, общими силами выполнить великий долг, открыв мастерские для всех сноровок, школы — для всех способностей и училища — для всех умов, увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещение, потребности и удовлетворение, — одним словом, заставить социальную систему давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Вот в чем первая братская обязанность — пусть сочувствующие души этого не забывают; вот в чем первая политическая необходимость — пусть эгоистичные сердца знают об этом.

Отметим, однако, что все это — только начало. Подлинная задача такова: труд не может быть законом, не будучи правом.

Мы отмечаем это, но не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно.

Если природа называется провидением, общество должно называться предвидением.

Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание — это напутствие, мысль — первая необходимость, истина — пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеем же равно и о желудках и об умах, лишенных пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света.

Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои совершенно естественно выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря простому подъему общего уровня.

Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем.

Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошлое шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем; этот мертвец — завоеватель. Оно идет со своим воинством — суевериями, со своей шпагой — деспотизмом, со своим знаменем — невежеством; с некоторого времени оно выиграло десять сражений. Оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у наших дверей. Что до нас, то не будем отчаиваться. Продадим поле, где раскинул лагерь Ганнибал.

Мы верим, чего же нам опасаться?

Идеи не текут вспять, так же как и реки.

Но пусть те, кто не хочет будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу «нет», они осуждают отнюдь не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к мрачной болезни: они прививают себе прошлое. Есть только один способ отказаться от Завтра: это умереть.

Мы же не хотим никакой смерти: для тела — как можно позже, для души — никогда.

Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный восемнадцатым веком, будет завершен девятнадцатым. Только глупец усомнится в этом! Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия — явление, предопределенное небом.

Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их все в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им; эта сила способна творить чудеса, волшебные развязки для нее не более трудны, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, ниспосылаемых кем-то другим, она мало страшится тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает решение из сопоставляемых идей, как и поучение из сопоставляемых фактов; можно ожидать всего от этого обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную ставку Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды.

А пока — никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью, так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчленяет; после этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть.

Мы видели не раз, как рассеивалось общество в бешеном вихре, который обрушивается на людей: история полна крушений народов и государств; в один прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган и уносит с собой все — обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта исчезли одна за другой. Почему? Мы этого не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Не ведаем. Могли ли быть эти общества спасены? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все это вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут, значит, дали течь; нам больше нечего сказать; и мы с какой-то растерянностью глядим, как в глубине этого моря, которое именуется «прошлым», за этими огромными волнами — веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли — Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там — мрак, а здесь — ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций, зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду; мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродства. Там, где налицо средоточие боли, мы пускаем в дело зонд, и, когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарства. Наша цивилизация, работа двадцати веков, — одновременно чудовище и чудо; ради ее спасения стоит потрудиться. И она будет спасена. Принести ей облегчение — это уже много; дать ей свет — это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть доведены к этой цели. Великий долг современного мыслителя — выслушать легкие и сердце цивилизации.

Мы повторяем, такое исследование придает мужество, и настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц — суровый антракт в скорбной драме. Под бренностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает оттого, что там и сям на нем встречаются раны — кратеры и лишаи — серные сопки; не умирает оттого, что вскрывшийся, подобно нарыву, вулкан извергает свою лаву, болезни народа не убивают человека.

И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порою покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются руки.

Настанет ли грядущее? Кажется почти естественным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов — предрассудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которая доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, «я», столь раздувшееся, что заполняет собой всю душу; у отверженных — вожделение, зависть, ненависть при виде чужих наслаждений, неукротимые порывы человека-зверя к утолению желаний, сердца, полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное.

Следует ли еще устремлять наш взор к небу? Не принадлежит ли различаемая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал таким затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него; однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.

### Книга восьмая

### Чары и печали

#### Глава 1

#### Яркий свет

Читатель понял, что Эпонина, узнав сквозь решетку обитательницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса, а Мариус после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного — к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео: Ромео пришлось перелезать через стену, а Мариусу — лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно старческий зуб. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшееся отверстие.

Обычно на улице почти никого не бывало, к тому же Мариус появлялся в саду только ночью, поэтому ему и не грозила опасность, что его увидят.

Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека не слишком совестливого и развратного, она бы погибла, ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств женщины — уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям подвергаетесь вы, благородные души! Часто вы отдаете сердце, мы же берем тело. Ваше сердце мы отвергаем, и вы с трепетом взираете на него во мраке. Любовь не знает середины: она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь, эту дилемму: гибель или спасение. Любовь — жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего созданного богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму.

По изволению божьему Козетта встретила любовь спасительную.

Пока длился май 1832 года, всякую ночь в этом запущенном скромном саду, под сенью этой чащи, с каждым днем все более благоуханной и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности, полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, опьяненные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец, а Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому; но был предел, которого они не преступали. Не потому, что уважали его; они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду — чистоту Козетты, а Козетта чувствовала опору — честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты! Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива, Мариус удовлетворен. Они жили в том восхитительном состоянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на Юнгфрау.

В этот час любви, когда чувственность совершенно умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельски-чистый Мариус был способен скорее пойти к продажной женщине, чем приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды, лунной ночью, Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с земли, и ее корсаж приоткрылся на груди. Мариус отвел взгляд в сторону.

Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга.

Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная и мощная растительность, полная соков, опьяненная, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья.

Что же это были за слова? Дуновения. И только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листья. Лишите шепот двух влюбленных мелодии, которая льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень; вы скажете: «Только и всего?» Да, да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор, но это все, что только есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда быть произнесенным и выслушанным!

Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил, — тупица и дурной человек.

Козетта говорила Мариусу:

— Знаешь?..

(При всем сказанном, несмотря на божественную их невинность, и сами не зная, как это случилось, они перешли на «ты».)

— Знаешь? Меня зовут Эфрази.

— Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта.

— Нет. Козетта довольно-таки противное имя, его мне дали, когда я была маленькой. А мое настоящее имя Эфрази. Тебе разве не нравится такое имя — Эфрази?

— Нравится, но Козетта вовсе не противное имя.

— Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази?

— Ну... да.

— В таком случае мне тоже. Правда, это красиво, Козетта... Зови меня Козеттой.

И ее улыбка превратила этот разговор в идиллию, достойную райских кущ.

В другой раз она пристально взглянула на него и воскликнула:

— Сударь, вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны, вы, конечно, гораздо ученее меня, но я померяюсь с вами вот в чем: «Люблю тебя!»

И Мариусу в небесном упоении казалось, что он слышит строфу, пропетую звездой.

Или еще: легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала:

— Не кашляйте, сударь. Я не хочу, чтобы у меня кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастной. Что мне тогда делать?

Все это было просто божественно.

Как-то Мариус сказал Козетте:

— Представь себе, одно время я думал, что тебя зовут Урсулой.

Они смеялись над этим весь вечер. В другой раз он среди разговора вдруг воскликнул:

— А в один прекрасный день, в Люксембургском саду, мне захотелось прикончить одного инвалида!

Но он сразу оборвал и не стал больше продолжать. Пришлось бы сказать Козетте о ее подвязке, что было для него невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом эта беспредельная невинная любовь.

Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного: приходить каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый прут решетки, садиться рядом, плечом к плечу на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцание спускающейся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать ноготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди с нею вдыхать запах одного и того же цветка — и так всегда, бесконечно. В это время высоко над ними проплывали облака. Всякий раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше человеческих мечтаний, чем тучек небесных.

Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухаживания. «Говорить комплименты» той, которую любишь, — это первая форма ласки, робко испытывающее себя дерзновение. Комплимент — это нечто похожее на поцелуй сквозь вуаль. Затаенная чувственность прячет в нем сладостное свое острие. Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражения нежности Мариуса, овеянные мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все то жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорятся в гроте, прелюдия к тому, что будет сказано в алькове; лирическое излияние, смешение сонета и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, все утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный, божественный аромат, несказанный лепет сердца сердцу.

— О, — шептал Мариус, — как ты прекрасна! Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты милость божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается — какой волшебный свет разливает она! Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О Козетта! Как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу — в телескоп.

И Козетта отвечала:

— Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра.

Ответы и вопросы чередовались как попало в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки.

Все существо Козетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Козетта была предрассветным сиянием в образе женщины.

Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но, право, эта маленькая монастырка, прямо со школьной скамьи, беседовала с тончайшей проницательностью и порой говорила словами истины и красоты. Ее болтовня была настоящим разговором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинуясь кроткому инстинкту сердца, — вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова одновременно нежные и глубокие. Нежность и глубина — в этом вся женщина; в этом все небо.

Среди этого полного счастья у них каждое мгновение навертывались на глазах слезы. Раздавленная божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость: их упоение, слегка повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви — это умиленность, иногда почти мучительная.

А наряду с этим, — подобные противоречия лишь игра света и теней в любви, — они охотно смеялись, и с такой восхитительной свободой, так непринужденно, что порой походили на двух мальчишек. И все же неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью, и как бы ни были непорочны души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей.

Они боготворили друг друга.

Непреходящее и вечно движущееся существует одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримаски уголками губ, сплетают пальцы, говорят на «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами; в ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце, они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность.

#### Глава 2

#### Опьянение полным счастьем

Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли, но это «все» почти не заходило дальше сообщения их имен. Мариус сказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он адвокат, что он живет писанием разных статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Однажды он сказал еще, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус барон? Она не поняла. Она не знала, что должно означать это слово. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козетту, ни в чем.

Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которую обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже самое недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все рассказанное ему Козеттой вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге, о Тенардье, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно позабыл все это; вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал; в его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному, он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные, они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут те сомнамбулы, которых называют влюбленными.

Увы! Кто не испытал всего этого? Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса, и зачем жизнь продолжается дальше?

Любовь почти целиком заступает место мысли. Любовь — пламенное забвение всего остального. Потребуйте-ка логики у страсти! В человеческом сердце так же трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг них рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус лишь с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно ослеплению. О чем же разговаривали влюбленные? Мы уже знаем: о цветах, о ласточках, о солнечном закате, о восходящей луне, о всяких важных вещах. Они сказали друг другу все, за исключением «остального». Для влюбленных «остальное» — ничто. А отец, действительная жизнь, трущоба, бандиты, недавнее приключение — к чему это? И так ли уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не бывало. Возможно, ад исчезает позади нас оттого, что мы достигли рая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже ничего не помним. Розовая дымка застилает все.

Так и жили эти два существа на недосягаемых высотах, со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе: ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом, над земною грязью, под самым эфиром, в облаке; почти бесплотные, сама душа, само упоение; уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле, еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазури, подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии, перед тем как осесть; они жили, казалось, вне судьбы, не зная обычной колеи — вчера, сегодня, завтра; зачарованные, изнемогающие, парящие; порой такие легкие, что могли унестись в бесконечное пространство; почти готовые к полету в вечность.

Они дремали наяву в этой баюкающем плавном качании. О дивный, сладкий сон действительности, усыпленной идеалом!

Иногда, как ни хороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрыть глаза — это лучший способ видеть душу.

Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда это их может привести. Они считали, что уже достигли конца пути. У людей странное притязание: они хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь.

#### Глава 3

#### Первые тени

Жан Вальжан ничего не подозревал.

Козетта, менее мечтательная, чем Мариус, была весела, и этого для Жана Вальжана было довольно, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее мысли, ее сердечные тревоги, образ Мариуса, наполнявший ее душу, нисколько не отразились на несравненной чистоте ее прекрасного лица, невинного и улыбающегося. Она была в том возрасте, когда девушка несет свою любовь, как ангел лилию. Итак, Жан Вальжан был спокоен. Кроме того, когда между влюбленными царит согласие, все идет очень хорошо; кто-нибудь третий, кто мог бы смутить их любовь, находится в совершенном заблуждении благодаря мелким предосторожностям, всегда одинаковым у всех влюбленных. Так, Козетта никогда не возражала Жану Вальжану. Он хочет прогуляться? Прекрасно, папочка. Он хочет остаться дома? Отлично. Он хочет провести вечер с Козеттой? Она в восхищении. Обычно он уходил к себе в десять часов вечера, поэтому Мариус появлялся в саду не раньше этого часа и лишь услышав на улице, как Козетта открывает двери подъезда. Не приходится говорить, что днем Мариуса здесь никогда не видали. Жан Вальжан позабыл о существовании Мариуса. Один только раз, утром, он сказал Козетте: «Послушай, у тебя спина в чем-то белом!» Накануне вечером Мариус в порыве восторга обнял Козетту, и она нечаянно прислонилась к стене.

Старуха Тусен, рано закончив работу, сразу укладывалась в постель, помышляя лишь о сне, и точно так же, как Жан Вальжан, ничего не знала.

Мариус ни разу не заходил в дом. Когда он бывал в саду с Козеттой, то, чтобы их не услышали и не увидели с улицы, они всегда укрывались в углублении возле крыльца и сидели там; часто вместо беседы они довольствовались тем, что раз двадцать в минуту пожимали друг другу руки, глядя на ветви деревьев. Если бы в эти мгновения молния ударила в тридцати шагах от них, то они бы этого не заметили, так глубоко грезы одного погружались в грезы другого.

Невинные прозрачные души! Часы, пронизанные светом, почти всегда одинаковые. Такая любовь — это вихрь лилейных лепестков и голубиных перьев.

Между ними и улицей простирался сад. Каждый раз Мариус, приходя и уходя, тщательно вправлял прут от железной решетки на место, так что в ней не было заметно ни малейшего изъяна.

Обычно он удалялся к полночи и шел к Курфейраку. Курфейрак говаривал Баорелю:

— Можешь себе представить? Мариус начал являться домой в час ночи.

Баорель отвечал:

— Что ж такого? В тихом омуте черти водятся.

Иногда Курфейрак, принимая серьезный вид и скрестив на груди руки, говорил Мариусу:

— Молодой человек, вы сбились с пути истинного!

Курфейрак, человек деловой, неблагосклонно взирал на отблеск незримого рая на лице Мариуса; не в его обычае были неземные страсти, они выводили его из терпения, и порой он предъявлял Мариусу требование вернуться к действительности.

Однажды утром он обратился к нему со следующим увещеванием:

— Дорогой мой, сейчас ты мне кажешься человеком, поселившимся на луне, в царстве грез, в округе заблуждений, в столице Мыльные пузыри. Ну, будь же добрым малым, скажи, как ее зовут!

Но ничто не могло заставить Мариуса проговориться. Он дал бы скорее вырвать себе ногти, чем произнес бы один из трех священных слогов, составлявших волшебное имя — Козетта. Истинная любовь лучиста, как заря, и безмолвна, как могила. Однако Курфейрак видел в Мариусе новое: его сияющую счастьем молчаливость.

В течение этого сладостного мая Мариус и Козетта познали великое блаженство:

Поссориться и говорить друг другу «вы» единственно затем, чтобы с большей приятностью говорить потом «ты»;

Долго рассказывать друг другу, и в самых мельчайших подробностях, о людях, до которых им не было никакого дела, — лишнее доказательство того, что в восхитительной опере, которая зовется любовью, либретто почти ничего не значит;

Для Мариуса — слушать, как Козетта говорит о нарядах;

Для Козетты — слушать, как Мариус говорит о политике;

Прислушиваться, прижавшись друг к другу, к грохоту колясок на Вавилонской улице;

Смотреть на одну и ту же звезду в небесах или на одного и того же светляка в траве;

Вместе молчать — наслаждение еще большее, чем беседовать;

И т. д. и т. д.

Между тем надвигалась гроза.

Однажды вечером Мариус, направляясь на свидание, проходил по бульвару Инвалидов; по обыкновению, он шел опустив голову; собираясь повернуть за угол улицы Плюме, он услышал, как кто-то сказал совсем близко от него:

— Добрый вечер, господин Мариус.

Он поднял голову и узнал Эпонину.

Это произвело на него необычайное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюме; он ее больше не видел, и она совсем исчезла из его памяти. Обязанный ей своим счастьем, он мог быть только благодарен ей, и, однако, ему была тягостна эта встреча.

Ошибочно думать, что любовь, если она счастлива и чиста, приводит человека к совершенству; она его просто ведет, мы уже это установили, к забвению. В этом состоянии человек забывает о возможности быть дурным, но он также забывает и о возможности быть хорошим. Благодарность, долг, самые значительные, самые неотвязные воспоминания исчезают. Во всякое другое время Мариус совсем иначе отнесся бы к Эпонине. Поглощенный Козеттой, он даже не совсем ясно отдавал себе отчет в том, что эта девушка называлась Эпониной Тенардье, что она носила имя, начертанное в завещании его отца, — то самое имя, для которого несколько месяцев назад он бы с такой горячностью пожертвовал собой. Мы показываем Мариуса без прикрас. Даже образ отца слегка побледнел в его душе под яркими лучами любви.

Он ответил с некоторым замешательством:

— Ах, это вы, Эпонина?

— Почему вы мне говорите «вы»? Разве я вам сделала что-нибудь дурное?

— Нет, — ответил он.

Конечно, он ничего не имел против нее. Ровно ничего. Но только он чувствовал, что теперь не мог поступить иначе: говоря «ты» Козетте, он должен был говорить «вы» Эпонине.

Он молча смотрел на нее. Она воскликнула:

— Скажите же...

Тут она запнулась. Можно было подумать, что этому созданию, такому беззаботному и дерзкому когда-то, недоставало слов. Она пыталась улыбнуться и не могла.

— Ну!.. — снова начала она.

Потом опять замолчала, потупив глаза.

— Покойной ночи, господин Мариус, — вдруг резко сказала она и ушла.

#### Глава 4

#### Кеб по-английски — то, что катится, а на арго — то, что лает

На следующий день, это было 3 июня, а 3 июня 1832 года — дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в ту эпоху грозовыми тучами над горизонтом Парижа, Мариус, с наступлением темноты, шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей; вдруг между деревьями бульвара он заметил приближавшуюся к нему Эпонину. Два дня подряд — это уже было слишком. Он быстро свернул в сторону, оставил бульвар, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принца.

Вот почему Эпонина последовала за ним до самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда он проходил по бульвару, не стараясь даже встретиться с ним. И лишь накануне она попыталась с ним заговорить.

Итак, Эпонина пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Мариус отодвинул прут решетки и проскользнул в сад.

— Смотри-ка! — сказала она про себя. — Идет к ней в дом!

Она подошла к решетке, пощупала один за другим прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Мариус.

Вполголоса, мрачным тоном, она пробормотала:

— Ну нет, черта с два!

Она уселась на цоколе решетки, рядом с прутом, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной и где Эпонину разглядеть было невозможно.

Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями.

Часов в десять вечера один из двух или трех прохожих на улице Плюме, старый запоздавший буржуа, торопившийся поскорее миновать это пустынное место, пользовавшееся дурной славой, поравнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной, услышал глухой и угрожающий голос:

— Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер!

Прохожий осмотрелся кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаги.

Прохожий имел основания торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме показались шесть человек, шедших порознь на некотором расстоянии друг от друга у самой стены; их можно было принять за подвыпивший ночной дозор.

Первый, подойдя к решетке сада, остановился и подождал остальных; через минуту здесь сошлись все шестеро.

Эти люди начали тихо переговариваться.

— Туткайль, — сказал один из них.

— Есть ли кеб в саду? — спросил другой.

— Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать.

— Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку?

— Да.

— Решетка старая, — добавил пятый, говоривший голосом чревовещателя.

— Тем лучше, — сказал второй. — Значит, не завизжит под скрипкой, и ее нетрудно будет разделать.

Шестой, до сих пор еще не открывавший рта, принялся исследовать решетку, как это делала Эпонина час тому назад, последовательно пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Таким образом он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Лишь только он собрался схватить этот прут, чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо, он почувствовал резкий толчок прямо в грудь, и хриплый голос негромко произнес:

— Здесь есть кеб.

И тут же он увидел стоявшую перед ним бледную девушку.

Он испытал то потрясение, которое свойственно вызывать неожиданности. Он словно весь ощетинился; нет ничего отвратительней и страшней зрелища потревоженного хищного зверя; один его испуганный вид уже пугает. Отступив, он пробормотал заикаясь:

— Это еще что за потаскуха?

— Ваша дочь.

Действительно, то была Эпонина, а говорила она с Тенардье.

При появлении Эпонины пять остальных, то есть Звенигрош, Живоглот, Бабет, Монпарнас и Брюжон, бесшумно приблизились, не спеша, молча, со зловещей медлительностью, присущей людям ночи.

В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называются «косынкой».

— Ты что здесь делаешь? Чего тебе от нас надо? С ума сошла, что ли? — приглушенным голосом воскликнул Тенардье. — Пришла мешать нам работать?

Эпонина расхохоталась и бросилась ему на шею.

— Я здесь, милый папочка, потому что я здесь. Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала Маньон: «Здесь нечего делать». Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка! Как я давно вас не видела! Значит, вы на воле?

Тенардье попытался высвободиться из объятий Эпонины и прорычал:

— Отлично. Ты меня поцеловала, и хватит. Да, я на воле. Уже не в неволе. А теперь ступай.

Но Эпонина не отпускала его и удвоила свою нежность:

— Папочка, как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться! Расскажите мне про это! А мама? Где мама? Скажите же, что с маменькой?

Тенардье ответил:

— Она здорова, впрочем, не знаю, говорю тебе, пусти меня и проваливай.

— Ни за что не хочу уходить, — жеманничала Эпонина с видом балованного ребенка, — вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать.

И она снова обняла отца за шею.

— Ах, черт, как это глупо! — не выдержал Бабет.

— Мы теряем время! — крикнул Живоглот. — Того и гляди, появятся легавые.

Голос чревовещателя продекламировал следующее двустишие:

Для поцелуев — свой черед,

У нас теперь не Новый год.

Эпонина повернулась к пяти бандитам.

— Смотри-ка, да это господин Брюжон! Здравствуйте, господин Бабет. Здравствуйте, господин Звенигрош. Разве вы меня не узнаете, господин Живоглот? Как поживаешь, Монпарнас?

— Не беспокойся, все тебя узнали! — проворчал Тенардье. — Здравствуй и прощай, брысь отсюда! Оставь нас в покое.

— В этот час курам спать, а лисицам гулять, — сказал Монпарнас.

— Ты сама понимаешь, нам надо тутго поработать, — прибавил Бабет.

Эпонина схватила за руку Монпарнаса.

— Берегись! Обрежешься — у меня перо в руке, — предупредил тот.

— Монпарнас, миленький, — кротко ответила Эпонина, — люди должны доверять друг другу. Разве я не дочь своего отца? Господин Бабет, господин Живоглот, ведь это мне поручили выяснить дело.

Примечательно, что Эпонина не говорила больше на арго. С тех пор как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен.

Своей маленькой, слабой и костлявой рукой, похожей на руку скелета, она сжала толстые грубые пальцы Живоглота и продолжала:

— Вы же знаете, что я не дура. Мне же всегда доверяют. Я вам оказывала при случае услуги. Ну так вот, я навела справки. Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности. Ей-богу, вам нечего делать в этом доме.

— Там одни женщины, — сказал Живоглот.

— Нет. Все выехали.

— А свечи остались! — заметил Бабет.

И он показал Эпонине на свет, мелькавший сквозь верхушки деревьев на чердаке флигеля. Это бодрствовала Тусен, развешивавшая белье для просушки.

Эпонина сделала последнюю попытку.

— Ну и что ж! — сказала она. — Там совсем бедные люди, это домишко, где не найдешь ни одного су.

— Пошла к черту! — закричал Тенардье. — Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе скажем, что там есть: рыжики, беляки или медный звон.

И он оттолкнул ее, чтобы пройти вперед.

— Господин Монпарнас, дружочек, — сказала Эпонина, — вы такой славный малый, прошу вас, не ходите туда!

— Берегись, напорешься на нож! — ответил Монпарнас.

Тенардье свойственным ему решительным тоном заявил:

— Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело.

Эпонина отпустила руку Монпарнаса, за которую она снова было уцепилась, и сказала:

— Значит, вы хотите войти в этот дом?

— Только всунуть нос! — ухмыляясь, заметил чревовещатель.

Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь придавала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала:

— Ну, а я не хочу.

Они остолбенели от изумления. Чревовещатель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова:

— Друзья, послушайте хорошенько! Не в том дело. Теперь я вам скажу. Если вы войдете в этот сад, если дотронетесь до этой решетки, я закричу, начну стучать в ворота, подыму народ, кликну полицейских, сделаю так, что вас захватят всех шестерых.

— С нее станется, — тихо сказал Тенардье Брюжону и чревовещателю.

Она тряхнула головой и прибавила:

— Начиная с моего папеньки!

Тенардье подошел к ней.

— Подальше от меня, старикан! — предупредила она.

Он отступил, ворча сквозь зубы: «Какая муха ее укусила?» И прибавил:

— Сука!

Она рассмеялась ужасным смехом.

— Как вам угодно, а все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка. Вас шестеро, но что мне до того? Вы мужчины. Ну так вот: я женщина. И я вас не боюсь, не думайте. Говорю вам, вы не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только подойдите, я залаю. Я вам объяснила уже: кеб — это я. Плевать мне на вас на всех. Идите своей дорогой, вы мне надоели! Проваливайте куда хотите, но сюда не являйтесь, я вам это запрещаю! Вы меня ножом, а я вас туфлей, мне все равно. Ну-ка, попробуйте, подойдите!

Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитам, вид ее был ужасен.

— Ей-ей, не боюсь! Все одно, нынче летом мне голодать, а зимою мерзнуть. Просто смех с этим дурачьем — мужчинами! Они думают, что их может бояться девка! Бояться — чего? Как бы не так! Это потому, что ваши кривляки-любовницы лезут со страху под кровать, когда вы рычите, так, что ли? А я не таковская, ничего не боюсь!

Она уставилась пристальным взглядом на Тенардье и сказала:

— Даже и вас, папаша!

Потом, окидывая бандитов горящими глазами призрака, продолжала:

— Не все ли мне равно, подберут меня завтра, зарезанной моим отцом, на мостовой Плюме, или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у Лебяжьего острова среди старых сгнивших пробок и утопленных собак!

Тут она вынуждена была остановиться, припадок сухого кашля потряс ее, дыхание с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди.

— Стоит мне только крикнуть, — продолжала она, — сюда прибегут, и — хлоп! Вас только шестеро, а за меня весь народ.

Тенардье двинулся к ней.

— Не подходить! — крикнула она.

Он остановился и кротко сказал ей:

— Ну хорошо, не надо. Я не подойду, только не кричи так громко. Дочка, значит, ты хочешь помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на пропитание. Ты, значит, больше не любишь своего отца?

— Вы мне надоели, — ответила Эпонина.

— Нужно ведь нам как-никак жить, есть...

— Подыхайте.

И она уселась на цоколь решетки, напевая:

И ручка так нежна,

И ножка так стройна,

А время пропадает...

Облокотившись на колено и подперев ладонью подбородок, она с равнодушным видом покачивала ногой. Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Ближний фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное.

Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшей их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и рассвирепевшие.

А она спокойно и сурово глядела на них.

— Что-то ей засело в башку, — сказал Бабет. — Есть какая-то причина. Влюблена она, что ли, в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины, на заднем дворе старик; на окнах неплохие занавески. Старик, должно быть, еврей. Я полагаю, что дельце тут выгодное.

— Ладно, вы все ступайте туда! — вскричал Монпарнас. — Делайте дело. С девчонкой останусь я, а если она шевельнется...

И при свете фонаря блеснул открытый нож, вытащенный из рукава.

Тенардье не говорил ни слова и, видимо, был готов на все.

Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, «навел на дело», пока еще молчал. Он, казалось, задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается, и всем было известно, что только из удальства он ограбил начисто полицейский пост. Вдобавок он сочинял стихи и песни, поэтому пользовался большим авторитетом.

Бабет спросил его:

— А ты что скажешь, Брюжон?

Брюжон с минуту помолчал, потом, повертев головой, наконец решился подать голос:

— Вот что. Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задиристую бабу. Все это не к добру. Уйдем отсюда.

Они ушли.

По дороге Монпарнас пробормотал:

— Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил.

Бабет ответил:

— А я нет. Дамочек я не трогаю.

На углу улицы они остановились и, понизив голос, обменялись следующими загадочными словами:

— Где будем ночевать сегодня?

— Под Пантеном.

— Тенардье, при тебе ключ от решетки?

— А то у кого же!

Эпонина, не спускавшая с них глаз, увидела, как они отправились той же дорогой, что и пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, последовала за ними. Так она проводила их до бульвара. Там они разошлись в разные стороны, и она увидела, как эти шесть человек потонули во мраке, словно растворились в нем.

#### Глава 5

#### Что таится в ночи

После ухода бандитов улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные чащи, кустарники, вересковые заросли, тесно переплетенные ветви, высокие травы ведут сумрачное существование; копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого; то, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком; и вещам, неведомым нам — живым, там, в ночи, дается очная ставка. Дикая и ощетинившаяся природа пугается приближения чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга, и между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытные вожделения, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, чей источник и цель — чрево, с беспокойством принюхиваются, приглядываются к бесстрастному, призрачному, блуждающему очерку существа, облаченного в саван, которое возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии и, чудится им, живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари, воплощение грубой материи, смутно боятся иметь дело с необъятной тьмой, сгустком которой является неведомое существо. Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходца из берлоги; свирепое боится зловещего; волки пятятся перед оборотнем.

#### Глава 6

#### Мариус возвращается к действительности в такой мере, что дает Козетте свой адрес

В то время как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел возле Козетты.

Никогда еще небо не бывало таким звездным и прекрасным, деревья такими трепетными, запах трав таким пряным; никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не казался таким нежным; никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви; никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальной. Козетта плакала.

Ее глаза покраснели.

То было первое облако над восхитительной мечтой.

— Что с тобой? — были первые слова Мариуса.

— Сейчас, — начала она и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с нею, продолжала: — Сегодня утром отец велел мне быть готовой, он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать.

Мариус задрожал с головы до ног.

В конце жизни «умереть» — означает «расстаться»; в начале ее «расстаться» — означает «умереть».

В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу, медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже объяснили, в пору первой любви душой овладевают гораздо раньше, чем телом; позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой, иногда же о душе и вовсе забывают. «Потому что ее нет», — прибавляют Фоблазы и Прюдомы, но, к счастью, этот сарказм — простое кощунство. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи; но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, когда ему случалось прикоснуться к ее руке, очаровательной родинкой на ее шее, всеми ее мыслями. Они условились всякую ночь видеть друг друга во сне — и держали слово. Таким образом, он обладал и всеми снами Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила: ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавчики, ботинки — все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах, и даже твердил про себя, — то был глухой и смутный лепет пробивающейся чувственности, — что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки в ее чулках, ни одной складки на ее корсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать. «Это моя». — «Нет, это моя». — «Уверяю тебя, ты ошибаешься. Это, конечно, я». — «То, что ты принимаешь за себя, — я». Мариус был какою-то частью Козетты, а Козетта — какою-то частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру, в это опьянение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова: «Нам придется уехать», и резкий голос действительности крикнул ему: «Козетта — не твоя!»

Мариус пробудился от сна. В продолжение полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни; слово «уехать» грубо вернуло его к этой жизни.

Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала лишь, что его рука стала холодной, как лед. И теперь уже она спросила его:

— Что с тобой?

Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала:

— Я не понимаю, что ты говоришь.

Она повторила:

— Сегодня утром отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой; он сказал, чтобы я уложила его белье в дорожный сундук, что ему надо уехать и мы уедем, что нам нужны дорожные сундуки, большой для меня и маленький для него, что все это должно быть готово через неделю и что, может быть, мы отправимся в Англию.

— Но ведь это чудовищно! — воскликнул Мариус. Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие, никакая гнусность самых изобретательных тиранов, никакой поступок Бюзириса, Тиберия и Генриха VIII по жестокости не могли сравниться с поступком г-на Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию только потому, что у него там есть какие-то дела.

Он спросил упавшим голосом:

— И когда же ты уедешь?

— Он не сказал когда.

— И когда же ты вернешься?

— Он не сказал когда.

Мариус встал и холодно спросил:

— Козетта, вы поедете?

Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тоски, и сказала с какой-то растерянностью:

— Куда?

— В Англию? Вы поедете?

— Почему ты мне говоришь «вы»?

— Я спрашиваю вас, поедете ли вы?

— Но что же мне делать, скажи? — ответила она, умоляюще сложив руки.

— Значит, вы едете?

— А если отец поедет?

— Значит, вы едете?

Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее.

— Хорошо, — сказал Мариус. — Тогда и я уеду куда-нибудь.

Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте. Она пролепетала:

— Что ты хочешь сказать?

Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу и ответил:

— Ничего.

Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему. Улыбка любимой женщины сияет и во тьме.

— Какие мы глупые! Мариус, я придумала.

— Что?

— Если мы уедем, и ты уедешь! Я тебе скажу куда. Мы встретимся там, где я буду.

Теперь Мариус стал мужчиной, пробуждение было полным. Он вернулся на землю.

— Уехать с вами! — крикнул он Козетте. — Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет! Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров Курфейраку, одному моему приятелю, которого ты не знаешь! На мне старая грошовая шляпа, на моем сюртуке спереди недостает пуговиц, рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги пропускают воду; уже полтора месяца, как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил. Козетта, я нищий! Ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь; если бы ты увидела меня днем, ты подарила бы мне су. Поехать в Англию! Да мне нечем заплатить за паспорт!

Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя ни жесткой коры, царапавшей ему лицо, ни лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния.

Долго стоял он так. Подобное горе — бездна, порождающая желание остаться в ней навеки. Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный.

То рыдала Козетта.

Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестные думы Мариуса.

Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед нею, поцеловал кончик ее ноги, выступавший из-под платья.

Она молча позволила ему это. Бывают минуты, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня.

— Не плачь, — сказал он.

Она прошептала:

— Ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне!

— Ты любишь меня? — спросил он.

Рыдая, она ответила ему теми райскими словами, которые всего пленительнее, когда их шепчут сквозь слезы:

— Я обожаю тебя!

Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал:

— Не плачь. Ну, ради меня не плачь!

— А ты? Ты любишь меня? — спросила она.

Он взял ее за руку.

— Козетта, я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь это делать. Я чувствую рядом с собой отца. Ну так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое: если ты уедешь, я умру.

В тоне, каким он произнес эти слова, слышалась скорбь, столь торжественная и спокойная, что Козетта вздрогнула. Она ощутила тот холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное, как судьба, проносится мимо. Испуганная, она перестала плакать.

— Теперь слушай, — сказал он. — Не жди меня завтра.

— Почему?

— Ожидай меня только послезавтра.

— Почему же?

— Потом поймешь.

— Целый день не видеть тебя! Это невозможно.

— Пожертвуем одним днем, чтобы выиграть, быть может, целую жизнь. — И Мариус вполголоса, как бы про себя, прибавил: — Этот человек никогда не изменяет своим привычкам, он принимает только вечером.

— О ком ты говоришь? — спросила Козетта.

— Я? Я ничего не сказал.

— На что же ты надеешься?

— Подожди до послезавтра.

— Ты этого хочешь?

— Да.

Она охватила его голову руками и, приподнявшись на цыпочки, чтобы стать повыше, пыталась прочесть в его глазах то, что составляло его надежду.

Мариус заговорил снова:

— Я вот о чем думаю. Тебе надо знать мой адрес, мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля, Курфейрака, по Стекольной улице, номер шестнадцать.

Он порылся в кармане, вытащил перочинный нож и лезвием вырезал на штукатурке стены:

*Стекольная улица, № 16.*

Между тем Козетта снова принялась смотреть ему в глаза.

— Скажи мне, что ты задумал, Мариус, ты о чем-то думаешь. Скажи, о чем? О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь!

— О чем я думаю? Вот о чем: невозможно, чтобы бог хотел нас разлучить. Жди меня послезавтра.

— Что же я буду делать до тех пор? — спросила Козетта. — Ты где-то там, приходишь, уходишь. Какие счастливцы мужчины! А я останусь совсем одна. Как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером? Скажи.

— Я попытаюсь кое-что предпринять.

— А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из «Эврианты» то, что ты любишь и что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего окна. Но послезавтра приходи пораньше. Я буду ожидать тебя к ночи, ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные! Так слышишь, ровно в девять часов я буду в саду.

— И я тоже.

И безотчетно, движимые одной и той же мыслью, увлекаемые теми электрическими токами, которые держат любовников в непрерывном общении, оба, в самой своей скорби опьяненные страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды.

Когда Мариус ушел, улица была пустынна. В это время Эпонина шла следом за бандитами, провожая их до самого бульвара.

Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль — мысль, которую — увы! — он сам считал вздорной и невозможной. Он принял отчаянное решение.

#### Глава 7

#### Старое сердце и юное сердце друг против друга

Дедушке Жильнорману уже пошел девяносто второй год. По-прежнему он жил с девицей Жильнорман на улице Сестер страстей господних, № 6, в своем старом доме. Как помнит читатель, это был один из тех стариков прежнего склада, которые ожидают смерти, держась прямо, которых и бремя лет не сгибает, и даже печаль не клонит долу.

И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что «отец начал сдавать». Он больше не отпускал оплеух служанкам, с прежней горячностью не стучал тростью на площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение целых шести месяцев он почти не брюзжал на Июльскую революцию. Довольно спокойно он прочел в «Монитере» следующее сочетание слов: «Г-н Гюмбло-Конте, пэр Франции». Старец, несомненно, впал в уныние. Он не уступил, не сдался — это не было свойственно ни его физической, ни нравственной природе, но чувствовал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг, — другими словами этого не выразить, — ждал Мариуса, убежденный, что «этот скверный мальчишка» рано или поздно постучится к нему; теперь же в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ожидать, то... Не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его; теперь же она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает при искренних и естественных чувствах, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному внуку, исчезнувшему подобным образом. Так в декабрьские ночи, в трескучий мороз, мечтают о солнце. Помимо всего, г-н Жильнорман чувствовал или убедил себя, что ему, деду, совершенно невозможно сделать первый шаг навстречу внуку. «Лучше мне околеть», — говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе лишь с глубоким умилением и немым отчаянием старика, уходящего во тьму.

У него начали выпадать зубы, и это еще усилило его печаль.

Господин Жильнорман, не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, никогда ни одну любовницу не любил так, как любил Мариуса.

В своей комнате, у изголовья кровати, он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной г-жи Понмерси, написанный с нее, когда ей было восемнадцать лет, словно желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он беспрестанно смотрел на него. Как-то, глядя на портрет, он будто невзначай сказал:

— По-моему, он похож на нее.

— На сестру? — спросила девица Жильнорман. — Ну конечно.

Старик прибавил:

— И на него тоже.

Как-то, когда он сидел в полном унынии, зябко сжав колени и почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить:

— Отец, неужели вы все еще сердитесь?.. — Она запнулась, не решаясь продолжать.

— На кого? — спросил он.

— На бедного Мариуса.

Он поднял свою старческую голову, стукнул костлявым и морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом, в величайшем раздражении, крикнул:

— Вы говорите: «бедный Мариус»! Этот господин — шалопай, сквернавец, неблагодарный хвастунишка, бессердечный, бездушный гордец, злюка!

И отвернулся, чтобы дочь не заметила слезы на его глазах.

Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери:

— Я имел честь просить мамзель Жильнорман никогда мне о нем не говорить.

Тетушка Жильнорман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод: «Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. Видно, он терпеть не может Мариуса».

«После той глупости» означало: с тех пор как она вышла замуж за полковника.

Впрочем, как и можно было предположить, девица Жильнорман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем, уланским офицером. Теодюль, в роли его заместителя, не имел никакого успеха. Г-н Жильнорман не согласился на добровольное заблуждение. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя он здесь и чуял наследство, питал отвращение к тяжелой повинности — нравиться. Старик наскучил улану, а улан опротивел старику. Лейтенант Теодюль был, несомненно, веселым, но болтливым малым; легкомысленным, но пошловатым; любившим хорошо пожить, но плохо воспитанным; у него были любовницы — это правда, и он много о них говорил — это тоже правда, — но говорил дурно. Все его качества были с изъяном. Г-ну Жильнорману надоело слушать россказни о всяких его удачных похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. Помимо того, лейтенант Жильнорман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой. Это его делало уже просто невыносимым. В конце концов старик Жильнорман сказал дочери: «Хватит с меня этого Теодюля. В мирное время я не чувствую особенного пристрастия к военным. Принимай их сама, если хочешь. Пожалуй, я даже предпочту саблю в руках рубаки, чем на боку у гуляки. Лязг клинков на поле битвы не так противен, в конце концов, как стукотня ножен по мостовой. Да и к тому же пыжиться, изображать героя, стягивать себе талию, словно бабенка, носить корсет под кирасой — это вдвойне смешно. Настоящий мужчина одинаково далек и от бахвальства, и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего Теодюля себе».

Напрасно дочь повторяла ему: «Но ведь это ваш внучатный племянник». Оказалось, что г-н Жильнорман, чувствовавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей.

В сущности, так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль только заставил его еще больше сожалеть о Мариусе.

Однажды вечером, — то было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине, — он отпустил дочь, занимавшуюся шитьем в соседней комнате. Один в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытый широкими коромандельского дерева ширмами о девяти створках, он сидел, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую, однако, не читал. По своему обыкновению, он был одет, как одевались щеголи времен его молодости, и был похож на старинный портрет Гара́. На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну. «Халат слишком старит», — говорил он.

Дедушка Жильнорман думал о Мариусе с любовью и горечью, и, как обычно, преобладала горечь. Его озлобленная нежность всегда в конце концов начинала возмущаться и превращалась в негодование. Он дошел до того состояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. В настоящую минуту он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что если бы он хотел возвратиться, то уже сделал бы это, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено и ему предстоит умереть, не увидев «сего господина». Но все его существо восставало против этого; его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться.

«Неужели, — говорил он, и это был его горестный ежедневный припев, — неужели он больше не вернется?» Его облысевшая голова склонилась на грудь, и он вперил в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил:

— Угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса?

Старик выпрямился в кресле, мертвенно-бледный и похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь:

— Как? Господина Мариуса?

— Не знаю, — ответил Баск, испуганный и сбитый с толку видом своего хозяина, — сам я его не видел. Николетта сказала мне: «Пришел какой-то молодой человек, доложите, что это господин Мариус».

Дед Жильнорман пробормотал еле слышно:

— Проси сюда.

Он остался сидеть в той же позе, голова его тряслась, взор был пристально устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус.

Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти. Его почти нищенская одежда не была видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо.

Старый Жильнорман, отупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств; он различал Мариуса как бы сквозь ослепительную завесу. Да, действительно это был он, это был Мариус!

Наконец-то! Через четыре года! Он, если можно так выразиться, вобрал его в себя одним взглядом. Он нашел его красивым, благородным, изящным, взрослым, сложившимся мужчиной, умеющим себя держать, обаятельным. Ему хотелось открыть ему объятия, позвать его, броситься навстречу, он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди; наконец, вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жестокость. Он резко спросил:

— Что вам здесь нужно?

Мариус смущенно ответил:

— Сударь...

Господин Жильнорман хотел бы, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом, и самим собой. Он чувствовал, что был резок, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимой, все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им. Он угрюмо перебил Мариуса:

— Зачем же вы все-таки пришли?

Это «все-таки» обозначало: «Если вы не пришли затем, чтобы обнять меня». Мариус взглянул на лицо деда, которому бледность придала сходство с мрамором.

— Сударь...

Старик снова прервал его суровым голосом:

— Вы пришли просить у меня прощения? Вы признали свою вину?

Он полагал, что направляет Мариуса на путь истинный и что «мальчик» смягчится. Мариус вздрогнул: от него требовали, чтобы он отрекся от отца; он потупил глаза и ответил:

— Нет, сударь!

— В таком случае, — с мучительной и гневной скорбью вскричал старик, — чего же вы от меня хотите?

Мариус сжал руки, сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом:

— Сударь, сжальтесь надо мной.

Эти слова вывели г-на Жильнормана из себя; будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было слишком поздно. Дед встал; он опирался обеими руками на трость, губы его побелели, голова тряслась, но его высокая фигура казалась еще выше перед склонившим голову Мариусом.

— Сжалиться над вами! Юноша требует жалости у девяностолетнего старика! Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее; вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные, вы умны, нравитесь женщинам, вы красивый молодой человек, а я даже летом зябну у горящего камина; вы богаты единственно подлинным богатством, какое только существует, а я — всеми немощами старости, болезнью, одиночеством! У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос, а у меня уже нет даже и седых, выпали зубы, не слушаются ноги, ослабела память, я постоянно путаю названия трех улиц — Шарло, Шом и Сен-Клод, вот до чего я дошел; перед вами все будущее, залитое солнцем, а я почти ничего не различаю впереди, настолько я приблизился к вечной ночи; вы влюблены, это уже само собой разумеется, меня же не любит никто на свете, и вы еще требуете у меня жалости! Черт возьми! Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во Дворце правосудия, господа адвокаты, то я вас искренне поздравляю. Вы, я вижу, шалуны.

И старик снова спросил сердито и серьезно:

— Да, так чего же вы от меня хотите?

— Сударь, — ответил Мариус, — я знаю, что мое присутствие вам неприятно, но я пришел только для того, чтобы попросить вас кое о чем, после этого я сейчас же уйду.

— Вы глупец! — воскликнул старик. — Кто вам велит уходить?

Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца: *Ну попроси у меня прощенья! Кинься же мне на шею!* Г-н Жильнорман чувствовал, что Мариус вот-вот готов от него уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон, он понимал все это, и скорбь его возрастала, но так как эта скорбь тут же превращалась в гнев, то усиливалась и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал; это приводило старика в бешенство. Он продолжал:

— Как! Вы пренебрегли мной, вашим дедом, вы покинули мой дом, чтобы уйти неведомо куда, вы причинили огорчение вашей тетушке, вы сделали это, — догадаться нетрудно, — потому что так гораздо удобнее вести холостяцкий образ жизни, корчить щеголя, возвращаться домой когда угодно, развлекаться! Вы не подавали никаких признаков существования, наделали долгов, даже не попросив меня их заплатить, вы стали буяном и скандалистом, а потом, через четыре года, явились сюда, и вам нечего больше сказать мне?

Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности привел Мариуса только к молчанию. Г-н Жильнорман скрестил руки — этот жест был у него особенно повелительным — и с горечью обратился к Мариусу:

— Довольно. Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то? Так о чем же? Что такое? Говорите.

— Сударь, — ответил Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас низвергнется в пропасть, — я пришел попросить у вас позволения жениться.

Господин Жильнорман позвонил. Баск приоткрыл дверь.

— Попросите сюда мою дочь.

Минуту спустя дверь снова приоткрылась, м-ль Жильнорман показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки, с видом преступника: г-н Жильнорман ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал:

— Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте.

Отрывистый и хриплый голос старика возвещал об особенной силе его возмущения. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса, казалось, она едва узнала его и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана.

Тем временем дедушка Жильнорман, снова прислонившись к камину, разразился следующей речью:

— Жениться? В двадцать один год! И все у вас уже улажено! Вам осталось только попросить у меня позволения! Маленькая формальность. Садитесь, сударь. Ну-с, с тех пор как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция. Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны. Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали бароном? Вы ведь умеете примирять одно с другим. Республика — недурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь совсем близко, на улице Сент-Антуан, насупротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома, а возле него надпись: «28 июля 1830 года». Подите посмотрите. Это производит сильное впечатление. Ах, они натворили хороших дел, ваши друзья! Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника господину герцогу Беррийскому? Итак, вам угодно жениться? Можно ли, не будучи нескромным, спросить, на ком?

Он остановился и, прежде чем Мариус успел ответить, с яростью прибавил:

— Ага, значит, у вас есть положение! Вы разбогатели! Сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом?

— Ничего, — ответил Мариус с какой-то твердой и почти свирепой решимостью.

— Ничего? Стало быть, у вас на жизнь есть только те тысяча двести ливров, которые я вам даю?

Мариус ничего не ответил. Г-н Жильнорман продолжал:

— А, понимаю. Значит, девушка богата?

— Не больше, чем я.

— Что? Бесприданница?

— Да.

— Есть надежды на будущее?

— Не думаю.

— Совсем нищая? А что же такое ее отец?

— Не знаю.

— А как ее зовут?

— Мадемуазель Фошлеван.

— Фош... как?

— Фошлеван.

— Пффф! — фыркнул старик.

— Сударь! — вскричал Мариус.

Господин Жильнорман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой:

— Так. Двадцать один год, никакого состояния, тысяча двести ливров в год. Госпоже баронессе Понмерси придется самолично отправляться к зеленщице покупать на два су петрушки.

— Сударь, — ответил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда, — умоляю вас, заклинаю вас во имя неба, я простираю к вам руки, сударь, я у ваших ног, позвольте мне на ней жениться!

Старик рассмеялся пронзительным и мрачным смехом, прерываемым кашлем.

— Ха-ха-ха! Вы, верно, сказали себе: «Чем черт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого непроходимого дурака! Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет! Я бы ему показал мое полное к нему уважение! Обошелся бы я тогда и без него! Ну, да все равно, я ему скажу: «Старый осел, счастье твое, что ты еще видишь меня, мне угодно жениться, мне угодно вступить в брак с мадемуазель — все равно какой, дочерью — все равно чьей, правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так, мне угодно наплевать на свою карьеру, на свое будущее, на свою молодость, на свою жизнь, мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете, вот о чем я мечтаю, а ты не чини препятствий!» И старое ископаемое не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай, как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей Шпаклеван, Пеклеван... Нет, сударь, никогда, никогда!

— Отец!

— Никогда!

По тому тону, каким было произнесено это «никогда», Мариус понял, что всякая надежда потеряна. Он медленно направился к выходу, понурив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. Г-н Жильнорман провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, которая свойственна вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему, схватил его за ворот, энергично втащил обратно, толкнул в кресло и сказал:

— Ну, рассказывай!

Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса.

Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо г-на Жильнормана выражало только грубое и неизреченное добродушие. Предок уступил место деду.

— Ну, полно, посмотрим, говори, рассказывай о своих любовных делишках, выбалтывай, скажи мне все! Черт побери, до чего глупы эти юнцы!

— Отец, — снова начал Мариус.

Все лицо старика озарилось каким-то невыразимым сиянием.

— Так, вот именно! Называй меня отцом, и дело пойдет на лад!

В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое, такое отцовское чувство, что Мариус словно был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола, и жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что дед Жильнорман взирал на него с изумлением.

— Итак, отец, — начал Мариус.

— Так вот оно что! — прервал его Жильнорман. — У тебя взаправду нет ни гроша? Ты одет, как воришка.

Он порылся в ящике, взял оттуда кошелек и положил его на стол.

— Возьми, тут сто луидоров, купи себе шляпу.

— Отец, — продолжал Мариус, — дорогой отец, если бы вы знали! Я люблю ее. Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду — она приходила туда; сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом, не знаю сам, как это случилось, влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижусь с ней каждый день у нее дома, ее отец ничего не знает, вообразите только, они собираются уехать, мы видимся в саду по вечерам, отец хочет увезти ее в Англию, тогда я подумал: «Пойду к дедушке и расскажу ему об этом». Я ведь сойду с ума, умру, заболею, брошусь в воду. Я непременно должен жениться на ней, иначе сойду с ума. Вот вам вся правда, мне кажется, я ничего не забыл. Она живет в саду с решеткой, на улице Плюме. Это недалеко от Дома инвалидов.

Дедушка Жильнорман, сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса. Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табаку на колени.

— Улица Плюме? Ты говоришь, улица Плюме? Погоди-ка! Нет ли там казармы? Ну да, это та самая и есть. Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне что-то. Ну, этот улан, офицер. Про девочку, мой дружок, про девочку! Черт возьми, да, на улице Плюме. На той самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке за решеткой на улице Плюме. В саду. Настоящая Памела. Вкус у тебя недурен. Говорят, прехорошенькая. Между нами, я думаю, что этот пустельга-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, никакой беды в этом нет. К тому же не стоит ему верить. Он бахвал. Мариус, я считаю похвальным для молодого человека быть влюбленным! Так и надо в твоем возрасте. Я предпочитаю тебя видеть влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, черт побери, быть пришитым к юбке, к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру! Что до меня, то должен отдать себе справедливость: из всех этих санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми! Спорить тут нечего. Так, значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории. И не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? В раж не приходят, трагедий не разыгрывают, супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым. Обладать рассудком. Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола; ему говорят: «Дедушка, вот какое дело». Дедушка отвечает: «Да это очень просто. Смолоду перебесишься, в старости угомонишься. Я был молод, тебе быть стариком. На, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забавляйся, черт побери! Нет ничего лучше на свете!» Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помеха. Ты меня понимаешь?

Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой.

Старик разразился смехом, прищурился, хлопнул его по колену, с таинственным и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, самым лукавым образом пожимая плечами:

— Дурачок! Сделай ее своей любовницей.

Мариус побледнел. Он ничего не понял из всего сказанного ему дедом. Вся эта мешанина из улицы Бломе, Памелы, казармы, улана промелькнула мимо него какой-то фантасмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой, как лилия. Старик бредил. Но этот бред окончился словами, которые Мариус понял и которые были смертельным оскорблением для Козетты. Эти слова «сделай ее своей любовницей» пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги.

Он встал, поднял с пола свою шляпу и твердым уверенным шагом направился к дверям. Там он обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил:

— Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца; сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте.

Дедушка Жильнорман, остолбеневший от изумления, открыл рот, протянул руки, попробовал подняться, но, прежде чем он успел произнести хотя бы одно слово, дверь закрылась и Мариус исчез.

Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как бы пораженный громом, не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала его за горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в девяносто один год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил:

— Помогите! Помогите!

Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким, хриплым голосом:

— Бегите за ним! Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой, боже мой! Теперь он уже больше не вернется!

Он бросился к окну, выходившему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть не до пояса, причем Баск и Николетта удерживали его сзади, и прокричал:

— Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!

Но Мариус не мог услышать его; в это мгновение он уже поворачивал за угол улицы Сен-Луи.

Девяностолетний старец с выражением тягчайшей муки поднял два-три раза руки к вискам, шатаясь отошел от окна и грузно опустился в кресло, без пульса, без голоса, без слез, бессмысленно покачивая головой и шевеля губами, с пустым взглядом, с опустевшим сердцем, где осталось лишь нечто мрачное и беспросветное, как ночь.

### Книга девятая

### Куда они идут?

#### Глава 1

#### Жан Вальжан

В тот же самый день, в четыре часа, Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсова поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека, он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке и в серых холщовых штанах; картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. В настоящее время, думая о Козетте, он был спокоен и счастлив; то, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось; однако недели две тому назад в нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардье; Жан Вальжан был переодет, и Тенардье его не узнал; но с тех пор он видел его еще несколько раз и теперь был уверен, что Тенардье бродил неспроста в этом квартале. Этого было достаточно, чтобы принять важное решение. Тенардье здесь — значит, все опасности налицо. Кроме того, в Париже было неспокойно для всякого, кто имел основания скрывать что-либо в своей жизни; политические смуты представляли неудобство в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Морэ, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Он решил покинуть Париж, и даже Францию, и переехать в Англию. Козетту он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой неделе. Сидя на откосе Марсова поля, он глубоко задумался: его обуревали мысли о Тенардье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта.

Он был весьма озабочен всем этим.

Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился и сейчас, особенно усиливал его тревогу. Сегодня утром, встав раньше всех и прогуливаясь в саду, когда окна Козетты еще были закрыты, он вдруг увидел надпись, нацарапанную на стене, по-видимому, гвоздем:

*Стекольная улица, № 16.*

Это было сделано совсем недавно; царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а кустик крапивы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности, надпись сделали ночью. Что это означало? Чей-то адрес? Условный знак для кого-то? Предупреждение ему? Так или иначе, было ясно, что сад этот стал доступен и туда пробрались какие-то неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз всполошивших дом. Это послужило канвой для усиленной работы мысли. Он поостерегся сказать Козетте о строчке, нацарапанной на стене, боясь ее испугать.

Среди этих тревожных размышлений он заметил по тени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился на верхушке откоса, прямо за его спиной. Он уже хотел обернуться, но тут к нему на колени упала сложенная вчетверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через его голову. Он взял бумажку, развернул ее и прочел следующее, написанное карандашом, большими буквами, слово:

*Переезжайте.*

Жан Вальжан быстро поднялся, на откосе уже никого не было. Осмотревшись кругом, он заметил человека, ростом побольше ребенка и поменьше мужчины, в серой блузе и табачного цвета плисовых штанах, который, перешагнув парапет, скользнул вниз, в ров Марсова поля.

Жан Вальжан в глубоком раздумье тотчас же отправился домой.

#### Глава 2

#### Мариус

Мариус ушел от г-на Жильнормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в бесконечном отчаянии.

Впрочем, — те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это, — улан, пустельга-офицер, этот двоюродный брат Теодюль не оставил никакого следа в его сознании. Ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному; позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения — это те же морщины. В ранней юности их не бывает. То, что потрясает Отелло, не задевает Кандида. Подозревать Козетту! Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам — обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. Было уже позднее утро, когда он уснул тем гнетущим, тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анжольраса, Фейи и Комбефера. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и уже собирались уходить.

Курфейрак спросил его:

— Ты пойдешь на похороны генерала Ламарка?

Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски.

Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову.

Весь день он скитался, сам не зная где; время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочной хлебец за одно су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в Сене, не сознавая этого. Бывают у человека такие минуты, когда у него под черепом словно пылает адская печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся, он больше ничего не боялся; он перешагнул через все это со вчерашнего дня. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера, у него была только одна определенная мысль: в девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее; дальше — тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из своей задумчивости и задавался вопросом: «Не дерутся ли там?»

С наступлением темноты, точно в девять часов, Мариус, как и обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло двое суток с тех пор, как он видел Козетту, сейчас он снова увидит ее; все другие мысли исчезли, он чувствовал лишь глубокую и невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, всегда таят в себе нечто столь властительное и чудесное, что, посетив его, они целиком заполняют сердце.

Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросль и прошел к углублению возле крыльца. «Она ждет меня здесь», — подумал он. Козетты там не было. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыты. Он обошел сад — в саду никого не было. Тогда он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит: «Что вам угодно?» Все это было пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта!» — крикнул он. «Козетта!» — повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду, никого в доме.

Мариус вперил отчаявшийся взор в этот мрачный дом, такой же черный, такой же безмолвный, как гробница, но пустой. Он взглянул на каменную скамью, где провел столько восхитительных часов возле Козетты. Потом сел на ступеньку крыльца; сердце его было полно нежности и решимости. В глубине души он благословлял эту любовь и сказал себе, что теперь, когда Козетта уехала, ему остается только умереть. Вдруг он услышал голос, казалось, доносившийся с улицы, заслоненной от него деревьями:

— Господин Мариус!

Он встал.

— Что? — спросил он.

— Господин Мариус, вы здесь?

— Да.

— Господин Мариус, — снова раздался голос, — ваши друзья ожидают вас у баррикады на улице Шанврери.

Этот голос не был ему совсем незнаком. Он напоминал хриплый и грубый голос Эпонины. Мариус подбежал к решетке, отодвинул расшатавшийся прут, просунул голову и увидел какого-то человека, с виду юношу, который, убегая, исчезал в сумерках.

#### Глава 3

#### Господин Мабеф

Кошелек Жана Вальжана не принес пользы г-ну Мабефу.

По своей благородной, но наивной строгости г-н Мабеф не принял подарка звезд; он отнюдь не мог допустить, чтобы звезда способна была рассыпаться золотыми монетами. Он не догадался, что упавшее с неба было даром Гавроша, и отнес кошелек полицейскому приставу своего квартала как утерянную вещь, которую нашедший передает в распоряжение заявивших о пропаже. Теперь кошелек был действительно утерян. Само собой разумеется, что никто его не потребовал, и г-на Мабефа он ничуть не выручил.

Господин Мабеф продолжал спускаться все ниже под гору.

Опыты с индиго в Ботаническом саду удались не лучше, чем в Аустерлицком. В прошлом году он задолжал своей служанке; теперь, как известно читателю, он задолжал домохозяину. Ломбард в конце тринадцатого месяца продал медные клише его «Флоры». Какой-нибудь медник сделал из них кастрюли. С исчезновением этих клише он не мог уже пополнить даже оставшиеся у него разрозненные экземпляры «Флоры» и уступил по дешевой цене букинисту гравюры и отпечатанный текст как *неполноценные.* У него ничего больше не осталось от труда всей его жизни. Он стал проедать деньги, полученные за проданные экземпляры. Увидев, что и этот жалкий источник иссякает, он бросил свой сад и оставил его невозделанным. Еще раньше, и давно уже, он отказался от двух яиц и куска мяса, которые съедал время от времени. Обедал он хлебом и картофелем. Он продал свою последнюю мебель, затем все, без чего он мог обойтись, из постельного белья, одежды и одеял, затем свои гербарии и эстампы; но у него еще оставались самые ценные его книги, среди которых были редчайшие, как, например, «Исторические библейские четверостишия», издание 1560 года, «Свод библий» Пьера де Бесс, «Жемчужины Маргариты» Жана де Лаэ, с посвящением королеве Наваррской, книга «Об обязанностях и достоинстве посла» сьёра де Вилье-Хотмана, «Раввинский стихослов» 1644 года, Тибулл 1567 года с великолепной надписью: «Венеция, в доме Мануция»; наконец, экземпляр Диогена Лаэрция, напечатанный в Лионе в 1644 году и включавший знаменитые варианты рукописи 411, тринадцатого века, из Ватикана, и двух венецианских рукописей 393 и 394, столь плодотворно исследованных Анри Этьеном, а также все отрывки на дорическом наречии, имеющиеся только в знаменитой рукописи двенадцатого столетия из Неаполитанской библиотеки. Г-н Мабеф никогда не разжигал камина в своей спальне и ложился с наступлением вечера, чтобы не жечь свечи. Казалось, у него не стало больше соседей, его избегали, когда он выходил; он это замечал. Нищета ребенка внушает участие любой матери, нищета молодого человека внушает участие молодой девушке, нищета старика никому не внушает участия. Из всех бедствий — это наиболее леденящее. Однако дедушка Мабеф не утратил целиком своей детской ясности. Его глаза даже становились живее, когда он устремлял их на книги, и он улыбался, созерцая редчайший экземпляр Диогена Лаэрция. Из всей обстановки, за исключением самого необходимого, только и уцелел его книжный шкаф со стеклянными дверцами.

Однажды тетушка Плутарх сказала ему:

— Мне не на что приготовить обед.

То, что она называла обедом, представляло собой хлебец и четыре или пять картофелин.

— А в долг? — спросил Мабеф.

— Вы отлично знаете, что в долг мне не дают.

Господин Мабеф открыл библиотечный шкаф, долго рассматривал свои книги одну за другой, словно отец, вынужденный отдать на заклание одного из своих сыновей и оглядывающий их, прежде чем сделать выбор, затем быстро взял одну, сунул ее под мышку и ушел. Он вернулся два часа спустя без книги, положил тридцать су на стол и сказал:

— Вот вам на обед.

Тетушка Плутарх заметила, что с этого времени ясное лицо старика подернулось какой-то мрачной тенью, и тень эта не исчезала больше.

Но завтра, послезавтра, каждый день нужно было начинать сначала. Г-н Мабеф уходил с книгой и возвращался с серебряной монетой. Когда букинисты увидели, что он вынужден продавать, то стали покупать у него за двадцать су то, за что он заплатил двадцать франков иногда тем же книгопродавцам. Том за томом, вся библиотека ушла к ним. Иногда он говорил: «Мне все же восемьдесят лет», словно у него была какая-то затаенная надежда добраться до конца своих дней раньше конца своих книг. Он ушел из дому с Робером Этьеном, которого он продал за тридцать пять су на набережной Малакэ, а вернулся с Альдом, купленным за сорок су на улице Грэ. «Я задолжал пять су», — сказал он тетушке Плутарх, весь сияя. В этот день он совсем не обедал.

Он был членом Общества садоводства. Там знали о его нищете. Председатель этого Общества навестил его, обещал ему поговорить о нем с министром земледелия и торговли и выполнил обещание. «Ну как же! — воскликнул министр. — Конечно, надо помочь! Старый ученый! Ботаник! Безобидный человек! Нужно для него что-нибудь сделать!» На следующий день г-н Мабеф получил приглашение обедать у министра и, дрожа от радости, показал письмо тетушке Плутарх. «Мы спасены», — сказал он ей. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его измятый галстук, его старый фрак с прямыми полами и плохо начищенные старые башмаки поразили привратников. Никто к нему не обратился, не исключая самого министра. Часов в десять вечера, все еще ожидая, что с ним заговорят, он услышал, как жена министра, красивая декольтированная дама, к которой он не осмеливался подойти, спросила кого-то: «А кто же этот старый господин?» Он вернулся домой пешком, в полночь, под проливным дождем. Он продал томик Эльзевира, чтобы оплатить фиакр, доставивший его в дом министра.

Каждый вечер перед сном он привык прочитывать несколько страничек из Диогена Лаэрция. Он достаточно знал греческий язык, чтобы насладиться красотами принадлежавшего ему подлинника. Теперь у него уже не оставалось иной радости. Прошло несколько недель. Внезапно заболела тетушка Плутарх. Существует нечто более огорчительное, чем невозможность уплатить булочнику за хлеб: это невозможность уплатить аптекарю за лекарства. Как-то вечером доктор прописал очень дорогую микстуру. Кроме того, болезнь усиливалась, нужна была сиделка. Г-н Мабеф открыл свой шкаф, там было пусто. Последний том был продан. У него остался только Диоген Лаэрций.

Он сунул этот уникальный экземпляр под мышку и вышел из дому; то было 4 июня 1832 года; он отправился к воротам Сен-Жак, к наследнику Руайоля, и возвратился с сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик старой служанки и молча ушел в свою комнату.

На следующий день с рассвета он уселся в своем саду на опрокинутую тумбу, и через забор можно было видеть, как он неподвижно сидел в продолжение всего утра, опустив голову и тупо устремив взор на запущенные грядки. Время от времени шел дождь; старик, казалось, этого не замечал. После полудня в Париже поднялся какой-то необычный шум. Этот шум был похож на ружейные выстрелы и крики толпы.

Дедушка Мабеф поднял голову. Заметив проходившего с лопатой на плече садовника, он спросил:

— Что это такое?

Садовник совершенно спокойно ответил:

— Бунт.

— Какой бунт?

— Такой. Дерутся.

— Почему дерутся?

— А бог их знает! — сказал садовник.

— Где же это? — снова спросил г-н Мабеф.

— Где-то возле Арсенала.

Дедушка Мабеф пошел к себе, взял шляпу, по привычке стал искать книгу, чтобы сунуть ее под мышку, не нашел и, сказав: «Ах да, я и позабыл!» — вышел из дому с растерянным видом.

### Книга десятая

### 5 июня 1832 года

#### Глава 1

#### Внешняя сторона вопроса

Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего. Из мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, из проносящегося неведомого дуновения. Дуновению этому встречаются по пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащая нищета, и оно увлекает их за собой.

Куда?

На волю случая. Наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других.

Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушное ослепление, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены; смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, любое тщеславие, считающее себя обойденным судьбой; недовольство, несбыточные мечты, честолюбие, окруженное непреодолимыми преградами, всякий, чающий выхода из крушения; наконец, в самом низу чернь, эта воспламеняющаяся грязь, — таковы составные элементы мятежа.

Самое великое и самое ничтожное — существа, которые скитаются за пределами общества, ожидая удачи, праздношатающиеся, темные личности, бродяги предместий, все те, кто ночует в застроенной домами пустыне, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безыменные сыны нищеты и убожества, раздетые, разутые, — все они принадлежат мятежу.

Любой, кто носит в душе тайный бунт против государственного порядка, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь.

Мятеж — это своего рода смерч, при некоторых температурных условиях внезапно образующийся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчится, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, древесный ствол и соломинку.

Горе тому, кого он уносит с собой, и тому, кого он сталкивает с пути! Он разбивает их друг о друга.

Он сообщает неведомое могущество тем, кого он подхватывает. Он наполняет первого встречного силой событий; он все претворяет в метательный снаряд. Он обращает камешек в ядро, носильщика — в генерала.

Если поверить некоторым оракулам тайной политики, то с точки зрения власти мятеж в небольшой дозе даже не мешает. Система их воззрений такова: мятеж укрепляет те правительства, которые он не опрокидывает. Он испытывает армию; он сплачивает буржуазию; он развивает мускулы полиции; он свидетельствует о крепости социального костяка. Это гимнастика; это почти гигиена. Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания.

Мятеж тридцать лет тому назад рассматривался еще и с других точек зрения.

Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает «здравым смыслом»; Филинт против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным, она предполагает объяснение, увещание, несколько высокомерную мягкость, которая, будучи смешением хулы и прощения, воображает себя мудростью, часто оказываясь одним лишь педантством. Целая политическая школа, именуемая «золотой серединой», вышла отсюда. Это партия теплой водицы — между горячей и холодной. Школа эта, с ее ложной глубиной и верхоглядством, изучает следствия, не восходя к причинам, и с высоты полузнания бранит народные волнения.

Если послушать эту школу, то окажется: «Мятежи, усложняющие переворот 1830 года, лишают в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили в распрю эту революцию, первоначально столь замечательную своим единодушием. В Июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые места повреждений; мятеж сделал их ощутимыми. Оказалось возможным сказать: «Ага! Здесь перелом». После Июльской революции люди чувствовали только освобождение; после мятежей они почувствовали катастрофу.

Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротства; нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх; во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Высчитано, что первый день мятежа стоит Франции двадцать миллионов, второй — сорок, третий — шестьдесят. Трехдневный мятеж обходится в сто двадцать миллионов, — иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из шестидесяти линейных кораблей.

Конечно, с точки зрения исторической, мятеж отмечен своеобразной красотой; уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война; в одной чувствуется душа леса, в другом чувствуется сердце города; там Жан Шуан, здесь Жанн. Мятежи озарили пусть красным, но великолепным светом все наиболее своеобразные особенности парижского характера: великодушие, самоотверженность, бурную веселость; здесь и студенчество, доказывающее, что опрометчивая смелость есть свойство просвещенного ума, и непоколебимость национальной гвардии, и сторожевые посты лавочников, и крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различие возрастов, — это одна и та же раса, это те же стоические люди, умирающие в возрасте двадцати лет за свои идеи, и в сорок лет — за свои семьи. Армия, всегда опечаленная во время гражданской войны, противопоставляла отваге благоразумие. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали и мужество буржуазии.

Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующийся этим ранам, нанесенным революции ею же самой, торжество побежденных в 1830 году, твердящих: «Что же, мы все это предвидели!» Прибавьте Париж, быть может возвеличившийся, но Францию, несомненно, ослабевшую. Прибавьте — потому что следует сказать обо всем — кровопролития, слишком часто позорящие победу рассвирепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге — мятежи были гибельны».

Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется столь охотно.

Что до нас, то мы отбрасываем слово «мятеж», слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва. Прежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж? И кроме того, всякий ли мятеж является бедствием? А если бы 14 июля и обошлось в сто двадцать миллионов! Возведение Филиппа V на испанский престол стоило Франции два миллиарда. Даже за равную цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые кажутся доводами, а на самом деле — только слова. Предмет наших размышлений — мятеж, исследуем поэтому его сущность. В вышеизложенном доктринерском возражении речь идет только о следствии, мы же ищем причины.

Мы уточняем.

#### Глава 2

#### Суть вопроса

Есть мятеж и есть восстание; это проявление двух видов гнева — один неправый, другой правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда малой кучке людей удается захватить власть; тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием, а нападение части на целое есть мятеж; в зависимости от того, кто занимает Тюильри, король или Конвент, нападение на Тюильри может быть справедливым или несправедливым. Одна и та же пушка, наведенная на толпу, виновна 10 августа и права 14 вандемьера. С виду схоже, по существу различно; швейцарцы защищали ложное, Бонапарт — истинное. То, что всеобщее голосование создало в сознании своей свободы и верховенства, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации: инстинкт массы, вчера ясновидящий, может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. Поломка машин, разграбление складов, порча рельс, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием, Рамюс, убитый школярами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней, — это мятеж. Израиль против Моисея, Афины против Фокиона, Рим против Сципиона — это мятеж; Париж против Бастилии — это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба — это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса; Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое усиление света, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Встречается ли, например, что-либо более странное, чем длительное в кровавое сопротивление соляных контрабандистов, этот законный непрерывный протест, который в решительный момент, в день спасения, в час народной победы, оборачивается шуанством, объединяется с троном, и восстание «против» становится мятежом «за»! Мрачные образцы невежества! Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и, еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. «Смерть соляной пошлине!» порождает «Да здравствует король!». Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Колиньи, убийцы госпожи де Ламбаль, убийцы Брюна, шайки сторонников Наполеона в Испании, зеленые лесные братья, термидорианцы, банды Жегю, кавалеры Нарукавной повязки — вот мятеж. Вандея — это огромный католический мятеж. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбудораженных, пришедших в движение масс; есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком набате звучит бронза. Колебание страстей и невежества — нечто иное, чем толчок прогресса. Восставайте, пусть, но только для того, чтобы расти! Укажите мне, куда вы идете. Восстание — это только движение вперед. Всякое другое возмущение вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж; движение вспять — это насилие над человеческим родом. Восстание — это взрыв ярости, охватившей истину; уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же мостовые предоставляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI — это восстание; Гебер против Дантона — это мятеж.

Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутым выше, может быть, как сказал Лафайет, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым, преступным покушением.

Существует и некоторое различие в степени накала; нередко восстание — вулкан, а мятеж — горящая солома.

Бунт, мы уже отметили это, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк — мятежник; Камилл Демулен — правитель.

Порою восстание — это возрождение.

Решение всех вопросов посредством всеобщего голосования — явление совершенно новое, поэтому каждая эпоха предшествовавшей нам истории, в течение четырех тысяч лет только и говорившей что о попранном праве и страдании народов, несла с собой свою, возможную для нее форму протеста. При цезарях не было восстания, зато был Ювенал.

Facit indignatio[[13]](#footnote-13) заступает место Гракхов.

При цезарях был сиенский изгнанник; был, кроме него, и человек, написавший «Анналы».

Мы не говорим о великом изгнаннике Патмоса, он также обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим-Ниневию, на Рим-Вавилон, на Рим-Содом пылающий отблеск Апокалипсиса.

Иоанн на своей скале — это сфинкс на пьедестале; можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден; но человек, написавший «Анналы», — латинянин; выразимся точнее — римлянин.

Царствование неронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные меццо-тинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной; следует влить в сделанные им борозды сгущенную, язвящую прозу.

Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи, — слово страшное. Писатель удваивает и утраивает силу своего пера, когда молчание навязано народу властелином. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы лишь следствие уплотнения ее тираном.

Тирания вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения. Острие цицероновского периода, едва ощутимое для Верреса, совсем затупилось бы о Калигулу. Меньше размаха в строении фразы — больше напряженности в ударе. Тацит мыслит со всей мощью.

Честность великого сердца, превратившаяся в сгусток истины и справедливости, поражает подобно молнии.

Скажем мимоходом, примечательно, что Тацит исторически не противостоял Цезарю. Для него были приуготовлены Тиберии. Цезарь и Тацит — два последовательных явления, встречу которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацит велик; бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедливым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании, уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии — вся эта слава искупает Рубикон. Здесь сказывается своего рода чуткость божественного правосудия, которое поколебалось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства.

Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума еще более отвратительна при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел, и мастера на примеры — Тацит и Ювенал — с еще большею пользой бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить.

Рим смердит отвратительнее при Вителлии, чем при Сулле. При Клавдии и Домициане отвратительное пресмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов — дело рук деспота; их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы; власть имущие гнусны, сердца мелки, совесть немощна, души зловонны; то же при Каракалле, то же при Коммоде, то же при Гелиогабале, тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду.

Отсюда появление, с виду запоздалое, Тацитов и Ювеналов; лишь когда очевидность становится бесспорной, приходит ее истолкователь.

Но и Ювенал, и Тацит, точно так же как Исайя в библейские времена, как Данте в эпоху Средневековья, — это человек; мятеж и восстание — это народ, иногда неправый, иногда правый.

В наиболее частых случаях мятеж является следствием причин материального порядка; восстание — всегда явление нравственного порядка. Мятеж — это Мазаньелло, восстание — это Спартак. Восстание в дружбе с разумом, мятеж — с желудком. Чрево раздражается, но Чрево, конечно, не всегда виновно. В случаях голода мятеж, в Бюзансе например, имеет реальный, волнующий и справедливый повод. Тем не менее он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он неправ по форме. Свирепый, хотя и справедливый, исступленный, хотя и мощный, он поражал наугад; он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей, он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ — цель хорошая, истреблять его — плохой для этого способ.

Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается той же смутой. Перед тем как право разобьет свои оковы, поднимаются волнение и пена. Нередко начало восстания — мятеж, точно так же как исток реки — горный поток. И обычно оно впадает в океан — Революцию. Иногда, однако, рожденное на тех горных вершинах, которые возносятся над нравственным горизонтом, на высотах справедливости, мудрости, разума и права, созданное из чистейшего снега идеала, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном своем триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте.

Все это в прошлом, будущее — иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа и, предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн — как уличных войн, так и войн на границах государства — вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше Сегодня, наше Завтра — это мир.

Впрочем, восстание, мятеж, чем бы первое ни отличалось от второго, в глазах истого буржуа одно и то же, он мало разбирается в этих оттенках. Для него все это просто-напросто беспорядки, крамола, бунт собаки против хозяина, лай, тявканье, попытка укусить, за которую следует посадить на цепь в конуру; так он думает до того дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисуется в полутьме, приняв львиный облик.

Тогда буржуа кричит: «Да здравствует народ!»

Чем же, после этого объяснения, является для истории июньское движение 1832 года? Мятеж это или восстание?

Это восстание.

Может статься, что в изображении грозного события нам придется иногда употребить слово «мятеж», но лишь для того, чтобы определить внешние его проявления, в то же время всегда памятуя о различии между его формой — мятежом и его сущностью — восстанием.

Движение 1832 года, в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании, было так величаво, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взволнованное воображение, заявляют они, в один день не успокоить. Революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она всегда неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит к состоянию спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев.

Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который парижане памятуют как *эпоху мятежей,* без сомнения, представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века.

Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу.

События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой и драматической действительности, которою историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут, и мы настаиваем на этом, — именно тут жизнь, трепет, биение человеческого сердца. Малые подробности, как мы, кажется, уже говорили, — это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в далях истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует подробностями такого рода. Судебные следствия, хоть и по иным основаниям, чем история, но также не все выявили и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что не ведомо никому, — факты, над которыми прошло забвение одних и смерть других. Большинство действующих лиц этих гигантских сцен исчезло, они умолкли уже назавтра; но мы можем дать заверение: мы сами видели то, о чем расскажем. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает, но изобразим то, что было на самом деле. В рамках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод, и, наверное, наименее известный, — дни 5 и 6 июня 1832 года; но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, которое мы собираемся приподнять, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения.

#### Глава 3

#### Погребение — повод к возрождению

Весной 1832 года, несмотря на то что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, большой город похож на артиллерийское орудие: когда оно заряжено, достаточно искры, чтобы последовал залп. В июне 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка.

Ламарк был человек действия и доброй славы. Последовательно, при Империи и при Реставрации, он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох: доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен: его слово было подобно мечу. Как и Фуа, его предшественник, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайней левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее, и толпой — за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друэ он чувствовал себя in petto[[14]](#footnote-14) одним из маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года задели его как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона нескрываемой ненавистью, вызывавшей сочувствие у народа, и в продолжение семнадцати лет, едва замечая происходившие в это время события, величественно хранил печаль Ватерлоо. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу, которую ему поднесли как почетную награду офицеры Ста дней. Наполеон умер со словом *армия* на устах, Ламарк — со словом *отечество.*

Близкая его смерть страшила народ, как потеря, а правительство — как повод к волнениям. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло.

В канун и утро 5 июня — день, назначенный для погребения генерала Ламарка, Сент-Антуанское предместье, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняло угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим ропотом толпы. Люди вооружались, как могли. Столяры запасались распорками от своих верстаков, «чтобы взламывать двери». Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив его и заточив обломок. Другой, горя желанием «идти на приступ», три дня спал не раздеваясь. Один плотник, по имени Ломбье, встретил приятеля; тот спросил: «Куда ты идешь?» — «Да, видишь ли, у меня нет оружия». — «Ну, так что же?» — «Вот я и иду на стройку за своим циркулем». — «А на что он тебе?» — «Не знаю», — ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих: «Ну-ка, поди сюда!» Потом давал им десять су на вино и спрашивал: «У тебя есть работа?» — «Нет». — «Поди к Фиспьеру, что между Монрейльской и Шаронской заставами, там найдешь работу». У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари «гоняли, точно на почтовых», то есть бегали повсюду, чтобы собрать свой народ. У Бартелеми, возле Тронной заставы, и у Капеля, в «Колпачке», посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались: «Ты где держишь пистолет?» — «Под блузой». — «А ты?» — «Под рубашкой». На Поперечной улице, у мастерской Роланда, и во дворе Мезон-Брюле, против мастерской инструментальщика Бернье, шептались кучки людей. Неистовой своей горячностью бросался в глаза некий Маво, который ни в одной мастерской не работал более недели — хозяева увольняли его, «потому что приходилось все время спорить с ним». Маво был убит на баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос: «Чего же ты хочешь?» — отвечал: «Восстания». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, поджидали некоего Лемарена, революционного уполномоченного предместья Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыто.

Итак, 5 июня, в день, попеременно то солнечный, то дождливый, по улицам Парижа с официальной, военной пышностью, из предосторожности несколько преувеличенной, следовал похоронный кортеж генерала Ламарка. Гроб сопровождали два батальона с барабанами, затянутыми черным крепом, и с опущенными ружьями, десять тысяч национальных гвардейцев с саблями на боку и артиллерийские батареи национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей, возбужденное, необычное, — члены общества Друзей народа, студенты юридического факультета, медицинского факультета, изгнанники всех национальностей; знамена испанские, итальянские, польские, немецкие, трехцветные длинные знамена, всевозможные флаги; дети, размахивающие зелеными ветками, плотники и каменотесы, как раз бастовавшие в это время, типографщики, приметные по их бумажным колпакам, шли по двое, по трое, крича, почти все размахивая палками, а некоторые и саблями, беспорядочно и тем не менее дружно, иногда шумной толпой, иногда колонной. Отдельные группы выбирали себе предводителей; какой-то человек, вооруженный парой отчетливо проступавших под одеждой пистолетов, казалось, делал смотр плотным рядам, которые проходили перед ним. На боковых аллеях бульваров, на сучьях деревьев, на балконах, в окнах, на крышах — всюду виднелись головы мужчин, женщин, детей; все глаза были полны тревоги. Толпа вооруженная проходила, толпа смятенная глядела.

Правительство наблюдало в свою очередь. Оно наблюдало, держа руку на эфесе шпаги. На площади Людовика XV можно было заметить в боевой готовности, с полными патронташами, с заряженными ружьями и мушкетонами, четыре эскадрона карабинеров на конях, с трубачами во главе; в Латинском квартале и в Ботаническом саду — муниципальную гвардию, построенную эшелонами от улицы к улице; на Винном рынке — эскадрон драгун; на Гревской площади — половину 12-го полка легкой кавалерии, другую половину — на площади Бастилии; 6-й драгунский — у Целестинцев; двор Лувра запрудила артиллерия. Остальные войска, не считая полков парижских окрестностей, стояли в казармах, ожидая приказа. Встревоженные власти держали наготове, чтобы обрушить их на грозные толпы, двадцать четыре тысячи солдат в городе и тридцать тысяч в пригороде.

В процессии передавались всевозможные слухи. Говорили о происках легитимистов; говорили о герцоге Рейхштадтском, которого бог приговорил к смерти в ту самую минуту, когда толпа прочила его в императоры. Некто, оставшийся неизвестным, объявил, что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода. На лицах большинства людей, шедших с обнаженной головой, преобладало выражение восторженности и одновременно подавленности. Там и сям среди этого множества народа, находившегося во власти столь неистовых, но благородных чувств, виднелись также физиономии настоящих злодеев, виднелись гнусные рты, словно кричавшие: «Пограбим!» Существуют такого рода волнения, которые словно взбалтывают глубину болот, и тогда со дна поднимается на поверхность туча грязи. Явление это возникает не без участия «хорошо организованной» полиции.

Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий — гроб, обнесенный вокруг Вандомской колонны, камни, брошенные в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, галльский петух, сорванный с одного народного знамени и втоптанный в грязь, полицейский, раненный ударом сабли у ворот Сен-Мартен, офицер 12-го легкого кавалерийского полка, громко провозгласивший: «Я республиканец», Политехническая школа, неожиданно вырвавшаяся из своего вынужденного заточения и появившаяся здесь, крики: «Да здравствует Политехническая школа! Да здравствует Республика!» — отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к похоронному кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу.

Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой, он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, эта самая рыжая бородка снова появилась позднее, в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе.

Похоронная колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет, он прощался с Ламарком. Это была умилительная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили — с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию.

Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громогласные крики: *Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу!* Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета по Морландской набережной.

В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета.

Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост, на правом — драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча двигались вперед шагом, с видом мрачного выжидания.

В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать.

Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, а другие — что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно лишь одно: внезапно раздались три выстрела, первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым — глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третий задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!..» — и тут же со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая все перед собой.

Теперь кончено: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время засыпанный; тесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада; молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны разносится по всем четырем концам Парижа, люди кричат: «К оружию!», люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.

#### Глава 4

#### Волнения былых времен

Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там — внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, вмиг исчезают выставки товаров; потом слышатся отдельные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, теперь начнется потеха!»

Не прошло и четверти часа, как в двадцати различных местах Парижа почти в одно и то же время произошло следующее.

На улице Сент-Круа-де-ла-Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда с трехцветным длинным знаменем, обернутым крепом, и тремя вооруженными людьми во главе — один из них держал саблю, другой ружье, третий пику.

На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, звучным голосом открыто предлагал прохожим патроны.

На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя, на нем белыми буквами начертаны были слова: *Республика или смерть!* На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились кучки людей со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слова *секция* и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и чуть заметной промежуточной белой полоской.

На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников — одну на улице Бобур, вторую на улице Мишель-ле-Конт, третью на улице Тампль. В несколько минут тысячерукая толпа расхватала и унесла двести тридцать ружей — почти все двухствольные, — шестьдесят четыре сабли, восемьдесят три пистолета. Чтобы вооружить побольше людей, один брал ружье, другой — штык.

Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое — патроны, мой муж потом сказал мне».

Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла оттуда ятаганы и турецкое оружие.

Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице.

И всюду — на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков — запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций, читали прокламации и кричали: «К оружию!», били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребах, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады.

Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствующих мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: *Оружие сдано.* Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья и сабли, говоря при этом: *Завтра пошлите за ними в мэрию.* На улицах разоружали часовых-одиночек и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Никола́ офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в одном доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый.

В квартале Сен-Жак студенты целыми роями выходили из своих меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Иасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярдов» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах у подъездов, распределяли оружие. На улице Транснонен, чтобы построить баррикады, разнесли лесной склад. Лишь в одном только месте — на углу улиц Сент-Авуа и Симон-де-Фран — жители оказали сопротивление и сами разрушили баррикаду. И лишь в одном только месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, начатую на улице Тампль, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках.

То, что мы здесь рассказываем медленно и последовательно, происходило сразу во всем городе, среди невероятной суматохи, подобно множеству молний, вспыхнувших при одном раскате грома.

Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был тот знаменитый дом № 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мерри, а с другой — баррикадой на улице Мобюэ, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом — одна с улицы Монторгейль на улицу Большая Бродяжная, другая — с улицы Жофруа-Ланжевен на улицу Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Марэ, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной — на улице Менильмонтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой — возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры.

У баррикады на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто казался начальником баррикады, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот, — сказал он, — на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты. К тому же мятеж вел себя согласно законам искуснейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы, с бесчисленными углами и поворотами, были выбраны превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. Человек, убитый на улице Понсо, как установили, обыскав его, имел при себе план Парижа.

В действительности же правила мятежом какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, мэрию на Королевской площади, все Марэ, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д’О, все улицы возле рынков; на левом берегу — казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Треть Парижа была в руках повстанцев.

Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, домашние обыски, быстро захваченные лавки оружейников свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов.

К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска — другой, противоположный. Перестреливались от одной решетки к другой. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался в пассаже между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса он провел в этом щекотливом положении.

Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа один барабанщик получил удар кинжалом. Другой на Лебяжьей улице был окружен тридцатью молодыми людьми, которые прорвали его барабан и отобрали саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар. На улице Мишель-ле-Конт три офицера пали мертвыми один за другим. Много муниципальных гвардейцев, раненных на Ломбардской улице, отступили.

Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с такой надписью: *Республиканская революция, № 127.* Была ли это революция на самом деле?

Восстание превратило центр Парижа в какую-то недоступную, в извилинах улиц, огромную цитадель.

Там находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались, это и доказывало, что вопрос решался именно там.

В некоторых полках солдаты колебались, и это увеличивало ужасающую неизвестность исхода. Они вспоминали народное ликование, с которым была встречена в июне 1830 года нейтральность 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками — Бюжо под начальством Лобо. Огромные патрули, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествуемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали друг за другом. Правительство, располагая целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, и послышался набат Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, видевший Аустерлиц, смотрел на это мрачно.

Эти старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и руководства только знанием тактики — этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихни, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя.

Национальные гвардейцы предместья прибежали второпях в беспорядке. Батальон 12-го легкого полка прибыл на рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курбвуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки.

В Тюильри становилось пустынно, но Луи-Филипп сохранял полное спокойствие.

#### Глава 5

#### Своеобразие Парижа

Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем — ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышатся барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник ограничивается тем, что говорит:

— Кажется, на улице Сен-Мартен заварилась каша.

Или:

— В предместье Сент-Антуан.

Часто он беззаботно прибавляет:

— Где-то в той стороне.

Позже, когда уже можно различить мрачную и раздирающую душу трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:

— Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!

Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки быстро закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.

Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.

Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд.

Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен маленький хилый старичок, тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.

Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; ни в одной из других столиц ее не встретишь. Для этого необходимы два условия — величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.

Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный, и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что *они* овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: *Сначала раздобудьте полк;* что Лафайет болен, но тем не менее заявил им: *Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок;* что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно выступят к центру восстания — первая от Бастилии, вторая от ворот Сен-Мартен, третья от Гревской площади, четвертая от рынков; что, впрочем, возможно, войска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит, несомненно, серьезно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было очевидно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке какое-то неведомое чудовище.

Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; полицейская префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В частности, в Консьержери длинное подземелье, именовавшееся «Парижской улицей», было все покрыто охапками соломы, на которых валялось множество арестованных; некто Лагранж, лионец, мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под этими копошащимися на ней людьми казалось шумом ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Повсюду чувствовалась тревога и какой-то мало свойственный Парижу трепет.

В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство, только и слышалось: «Боже мой, он еще не вернулся!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому и неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего к надрывному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах улиц вдруг появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем все это кончится?» С минуты на минуту, по мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.

### Книга одиннадцатая

### Атом братается с ураганом

#### Глава 1

#### Несколько разъяснений относительно корней поэзии Гавроша. Влияние некоего академика на эту поэзию

В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад, в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, уходить, спасаться — одни, призывая к сопротивлению, другие, побледнев от страха. Огромная река людей, покрывавшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Менильмонтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговки всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как бишь тебя звать, я забираю твою машинку!» — убежал с пистолетом.

Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней, встретила мальчика, который размахивал пистолетом и напевал:

Днем видно все, зато ночами

Мы ни черта не видим с вами!

Любой забористый стишок

Для буржуа — что вилы в бок.

Эй, колпаки! Господь — свидетель,

Вы позабыли добродетель.

То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну.

На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки.

Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и все другие песни, которые он охотно распевал при случае? Бог знает. Возможно, они были его собственные. Помимо того, Гаврош хорошо знал все ходячие народные песенки и присоединял к ним свое собственное щебетание. Проказливый гном и уличный мальчишка, он создавал попурри из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял все песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение для господина Баур-Лормиана, одного из сорока Бессмертных. Гаврош был гамен, причастный к литературе.

Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную, дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для собственных братьев. Братья вечером, отец утром — вот какова была его ночь. Покинув на рассвете Балетную улицу, он поспешно вернулся к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак, затем ушел, доверив их той доброй матери-улице, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес следующую речь: «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при дворе, удираю. Ребята, если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Оба мальчика, подобранные полицейским сержантом и уведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромной китайской головоломке Парижа, не возвратились. На дне нашего общества полно таких исчезнувших следов. Гаврош больше их не видел. Два с половиной или три месяца протекло с той ночи. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая: «Куда, к черту, девались мои ребята?»

Между тем он прибыл с пистолетом в руке на улицу Капустный мост. Он заметил, что на этой улице осталась открытой только одна лавчонка, и притом, что заслуживало внимания, лавчонка пирожника. Это был ниспосланный провидением случай поесть еще разок яблочного пирожка, перед тем как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах и кармашках, вывернул их и, не найдя ничего, даже одного су, закричал: «Караул!»

Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка!

Это не помешало, однако, Гаврошу продолжать свой путь.

Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя улицу Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши.

Немного подальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчи:

— До чего они жирные, эти самые рантье! Знай едят. Набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами? Они и сами не скажут. Они их прожирают, вот что! Жрут сколько влезет в брюхо.

#### Глава 2

#### Гаврош в походе

Размахивать среди улицы пистолетом без собачки — занятие, имеющее весьма важное общественное значение, и Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал:

— Все идет отлично! У меня здорово болит левая лапа, я ушиб мой ревматизм, но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа, вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики? Собачья порода. Нет, черт возьми, не надо оскорблять собак! Мне так нужна собачка в пистолете. Друзья мои, я шел бульваром, там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед! Пусть вражья кровь поля зальет! Я за отечество умру, не видеть мне моей подружки! О да, Нини, конец, ни-ни! Но все равно, да здравствует веселье! Будем драться, черт побери! Хватит с меня деспотизма!

В эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии; Гаврош положил пистолет на мостовую, поднял всадника, затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше.

На улице Ториньи все было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Марэ, представляло резкий контраст с огромным возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны трио ведьм, то в Париже — квартеты кумушек, и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брошено Бонапарту на перекрестке Бодуайе, как в свое время Макбету — в вереске Армюира. Это было бы почти такое же карканье.

Но кумушки с улицы Ториньи — три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком — занимались только собственными делами.

Казалось, все четыре стоят у четырех углов старости — одряхления, немощи, нужды и печали.

Тряпичница была смиренной. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница валяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой; она бывает такой, какой создают ее привратницы, скоромной или постной, — по прихоти того, кто сгребает кучу. Случается, что метла добросердечна.

Тряпичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки, она улыбалась трем привратницам, и какой улыбкой! Разговоры между ними шли примерно такие:

— А ваша кошка все такая же злюка?

— Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки — вот кто может на них пожаловаться.

— Да и люди тоже.

— Однако кошачьи блохи не переходят на людей.

— Это пустяки, вот собаки — те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак, что пришлось писать об этом в газетах. Это было в те времена, когда в Тюильри большие бараны возили маленькую колясочку Римского короля. Вы помните Римского короля?

— А мне больше нравился герцог Бордоский.

— А я знала Людовика Семнадцатого. Я больше люблю Людовика Семнадцатого.

— Говядина-то как вздорожала, мамаша Патагон!

— Ах, и не говорите, мясники эти просто мерзавцы! Мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь.

Тут вмешалась тряпичница:

— Да, сударыни мои, с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдешь. Ничего больше не выкидывают. Все поедают.

— Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем.

— Что правда, то правда, — угодливо согласилась тряпичница, — у меня все-таки есть профессия.

После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться, присущей натуре человека, прибавила:

— Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку (по-видимому, она хотела сказать: сортировку). И все раскладываю по кучкам у меня в комнате. Потом я убираю тряпки в корзину, огрызки фруктов — в лохань, простые лоскутья — в шкаф, шерстяные — в комод, бумагу — в угол под окном, съедобное — в миску, осколки стаканов — в камин, стоптанные башмаки — за двери, кости — под кровать.

Гаврош, остановившись позади, слушал.

— Старушки, — спросил он, — по какому это случаю вы завели разговор о политике?

Целый залп ругательств, учетверенный силой четырех глоток, обрушился на него.

— Еще один злодей тут как тут!

— Что это он держит в своей культяпке? Пистолет?

— Скажите на милость, этакий негодный мальчишка!

— Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство!

Гаврош, исполненный презрения, ограничился вместо всякого возмездия тем, что щедро, всей пятерней, сделал им нос.

Тряпичница крикнула:

— Ах ты, бездельник босопятый!

Та, что именовалась мамашей Патагон, яростно всплеснула руками:

— Быть беде, это уж наверняка. Есть тут по соседству один молодчик с бороденкой, он мне попадался каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче смотрю, — уж у него ружье под ручкой. Мамаша Баше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в... в... — ну, там, где этот теленок! — в Понтуазе. А теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорника! Кажется, у Целестинцев полно пушек. Что же еще может сделать правительство с негодяями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить, и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий! Господи боже мой, я-то видела нашу бедную королеву, как ее везли на телеге! И опять из-за всего этого вздорожает табак! Это подлость! А тебя-то, разбойник, я уж наверное увижу на гильотине!

— Ты сопишь, старушенция, — ответил Гаврош. — Высморкай получше свой хобот.

И отправился дальше.

Когда он дошел до Мощеной улицы, он вспомнил о тряпичнице и разразился следующим монологом:

— Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша Мусорная Куча. Этот пистолет на тебя же поработает. Чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки.

Внезапно он услышал шум позади: погнавшаяся за ним привратница Патагон издали грозила ему кулаком и кричала:

— Ублюдок несчастный!

— Плевать мне на это с высокого дерева, — ответил Гаврош.

Немного погодя он прошел мимо особняка Ламуаньона. Здесь он испустил следующий клич:

— Вперед, на бой!

Но тут его охватила тоска. С упреком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаясь его растрогать.

— Я иду биться, — сказал он, — а ты вот не бьешь!

Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробегал тощий пуделек. Гаврош разжалобился.

— Бедненький мой тяв-тяв, — сказал он ему, — ты, верно, проглотил целый бочонок, у тебя все обручи наружу.

Затем он направился к Орм-Сен-Жерве.

#### Глава 3

#### Справедливое негодование парикмахера

Достойный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во время Империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре брадобрея с солдатом, он его приукрасил бы и назвал: «Диалог бритвы и сабли».

— Сударь, — спросил парикмахер, — а как император держался на лошади?

— Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал.

— А хорошие кони были у него? Должно быть, прекрасные?

— В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. То была рысистая кобыла, вся белая. У нее были очень широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, очень длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше пятнадцати пядей ростом.

— Славная лошадка, — сказал парикмахер.

— Да, это была верховая лошадь его величества.

Парикмахер почувствовал, что после таких значительных слов подобает немного помолчать; он сообразовался с этим, затем снова начал:

— Император был ранен только раз, не правда ли, сударь?

Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который присутствовал при этом:

— В пятку. Под Ратисбоном. Я его никогда не видел так хорошо одетым, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка.

— А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз?

— Я? — спросил солдат. — Пустяки! Под Маренго получил два удара саблей по затылку, под Аустерлицем — пулю в правую руку, другую — в левую ляжку под Иеной, под Фридландом — удар штыком, вот сюда, под Москвой — семь или восемь ударов пикой куда попало, под Люценом осколок бомбы раздробил мне палец... Ах да, еще в битве при Ватерлоо я получил картечную пулю в бедро. Вот и все.

— Как прекрасно умереть на поле боя! — с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник. — Что касается меня, то, честное слово, вместо того чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, понемногу, каждый день, с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот пушечное ядро!

— У вас губа не дура, — сказал солдат.

Едва он это сказал, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной.

Парикмахер побледнел как полотно.

— О боже, — воскликнул он, — это то самое!

— Что?

— Пушечное ядро.

— Вот оно, — сказал солдат.

И он поднял что-то, катившееся по полу. То был булыжник.

Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убегавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо лавочки парикмахера, Гаврош, таивший в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать его по-своему и швырнул камнем в окно.

— Понимаете ли, — прохрипел цирюльник, у которого бледность перешла в синеву, — они делают пакости, лишь бы напакостить! Чем его обидели, этого мальчишку?

#### Глава 4

#### Ребенок удивляется старику

Между тем на рынке Сен-Жан, где уже успели разоружить пост, произошло стратегическое соединение Гавроша с кучкой людей, которую вели Анжольрас, Курфейрак, Комбефер и Фейи. Почти все были вооружены. Баорель и Жан Прувер разыскали их и увеличили собою отряд. У Анжольраса была охотничья двустволка, у Комбефера ружье национальной гвардии с номером легиона, а за поясом — два пистолета, высовывавшихся из-под расстегнутого сюртука; у Жана Прувера старый кавалерийский мушкетон, у Баореля карабин; Курфейрак размахивал тростью, из которой вытащил спрятанный в ней клинок. Фейи, с обнаженной саблей в руке, шествовал впереди, крича: «Да здравствует Польша!»

Они шли с Морландской набережной, без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с горящими глазами. Гаврош спокойно подошел к ним.

— Куда мы идем?

— Иди с нами, — ответил Курфейрак.

Позади Фейи шел, или, вернее, прыгал, Баорель, чувствовавший себя среди мятежа, как рыба в воде. Он был в малиновом жилете и имел при себе запас слов, способных сокрушить все, что угодно. Его жилет потряс какого-то прохожего, который, потеряв голову от страха, закричал:

— Красные пришли!

— Красные, красные! — подхватил Баорель. — Что за нелепый страх, буржуа! Я вот, например, нисколько не боюсь алых маков, и красная шапочка не внушает мне никакого ужаса. Поверьте мне, буржуа, предоставим бояться красного только рогатому скоту.

Где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства — разрешение есть яйца; это было великопостное послание парижского архиепископа своей «пастве».

Баорель воскликнул:

— Паства! Это вежливый способ сказать: «стадо».

И он сорвал со стены послание, покорив этим сердце Гавроша. С этой минуты он стал присматриваться к Баорелю.

— Баорель, — заметил Анжольрас, — ты неправ. Тебе бы следовало оставить это разрешение в покое, не в нем дело, ты зря расходуешь гнев. Береги боевые припасы. Не следует открывать огонь в одиночку, ни ружейный, ни душевный.

— У каждого своя манера, — возразил Баорель. — Эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют, я хочу есть яйца без всякого разрешения. У тебя манера — кипеть под ледком, ну а я развлекаюсь. К тому же я вовсе не расходую себя, я беру разбег; а послание я разорвал, клянусь Геркулесом, только чтобы войти во вкус!

Слово «Геркулес» поразило Гавроша. Он пользовался всяким случаем чему-нибудь поучиться, а к этому срывателю объявлений он возымел почтительные чувства. Он спросил его:

— Что это значит — «Геркулес»?

Баорель ответил:

— По-латыни это обозначает: черт меня побери.

Здесь Баорель увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой, по-видимому одного из Друзей азбуки, и крикнул ему:

— Живо патронов! Para bellum![[15]](#footnote-15)

— Красивый мужчина! Это верно, — сказал Гаврош, теперь уже понимавший латынь.

Их сопровождала шумная толпа — студенты, художники, молодые люди, состоявшие членами Кугурды из Экса, рабочие, портовые грузчики, вооруженные дубинами и штыками, а иные и с пистолетами за поясом, как Комбефер. В этой толпе шел какой-то старик, с виду очень дряхлый. Он был без всякого оружия, но старался не отставать, хотя и казался погруженным в какие-то думы. Гаврош заметил его.

— Этшкое? — спросил он.

— Так, старичок.

То был г-н Мабеф.

#### Глава 5

#### Старик

Расскажем о том, что произошло.

Анжольрас и его друзья проходили по Колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, когда драгуны бросились в атаку. Анжольрас, Курфейрак и Комбефер принадлежали к числу тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком: «На баррикады!» На улице Ледигьера они встретили медленно шедшего старика.

Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. К тому же, хотя все утро моросило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шляпу он держал в руке. Курфейрак узнал дедушку Мабефа. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного старосты и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутолоке, в двух шагах от надвигавшейся конницы старика, который разгуливал с непокрытой головой, под дождем, среди пуль, почти в самом центре перестрелки; он подошел к нему, и здесь между двадцатипятилетним бунтовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог:

— Господин Мабеф, ступайте домой.

— Почему?

— Начинается суматоха.

— Отлично.

— Будут рубить саблями, стрелять из ружей, господин Мабеф.

— Отлично.

— Палить из пушек.

— Отлично. А куда вы все идете?

— Мы идем свергать правительство.

— Отлично.

И он пойдет с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым; рабочие хотели взять его под руки, он отказался, отрицательно покачав головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо — как у спящего.

— Что за странный старикан, — перешептывались студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член Конвента, старый цареубийца.

Все это скопище народа вступило на Стекольную улицу. Маленький Гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок горниста. Он пел:

Вот луна поднялась в небеса.

— Не пора ли? Ложится роса, —

Молвил Жан несговорчивой Жанне.

Ту, ту, ту

На Шату.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —

все мое богатство.

Чтобы клюкнуть, — не смейтесь, друзья! —

Встали до́ свету два воробья

И росы налакались в тимьяне.

Зи, зи, зи

На Пасси.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —

все мое богатство.

Точно пьяницы, в дым напились,

Точно два петуха подрались, —

Тигр от смеха упал на поляне.

Дон, дон, дон

На Медон.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —

все мое богатство.

Чертыхались на все голоса.

— Не пора ли? Ложится роса, —

Молвил Жан несговорчивой Жанне.

Тен, тен, тен

На Пантен.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —

все мое богатство.

Они направлялись к Сен-Мерри.

#### Глава 6

#### Новобранцы

Толпа увеличивалась каждое мгновение. Возле Щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек; Курфейрак, Анжольрас и Комбефер заметили его вызывающую и грубую внешность, но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставни лавочек рукояткой своего увечного пистолета и вовсе не обратил внимания на этого человека.

Случилось так, что, свернув на Стекольную улицу, толпа проходила мимо подъезда Курфейрака.

— Это очень кстати, — сказал Курфейрак, — я забыл дома кошелек, и я потерял шляпу. — Он оставил толпу и быстро, шагая через четыре ступеньки, взбежал к себе наверх. Там он взял старую шляпу и кошелек, а также захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, который был запрятан у него в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, его окликнула привратница:

— Господин де Курфейрак!

— Привратница, как вас зовут? — в ответ спросил Курфейрак.

Привратница опешила.

— Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен.

— Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите: в чем дело? Что такое?

— Здесь кто-то вас спрашивает.

— Кто такой?

— Не знаю.

— Где он?

— У меня, в привратницкой.

— К черту! — крикнул Курфейрак.

— Но он уже больше часа ждет вас, — заметила привратница.

В это время из каморки привратницы вышел юноша, по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснушчатый, в дырявой блузе и заплатанных плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к Курфейраку, причем голос его, кстати сказать, нисколько не походил на женский:

— Могу я повидать господина Мариуса, позвольте вас спросить?

— Его нет.

— Вернется он сегодня вечером?

— Я ничего не знаю. — И Курфейрак прибавил: — Что до меня, то я не вернусь.

Молодой человек пристально взглянул на него и спросил:

— Почему?

— Потому.

— Куда же вы идете?

— А тебе какое дело?

— Можно мне понести ваш ящик?

— Я иду на баррикаду.

— Можно мне пойти с вами?

— Как хочешь! — ответил Курфейрак. — Улица свободна, мостовые — для всех.

И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними.

Толпа никогда не идет именно туда, куда хочет. Мы объяснили уже, что ее несет, словно порывом ветра. Она миновала Сен-Мерри и оказалась, сама хорошенько не зная каким образом, на улице Сен-Дени.

### Книга двенадцатая

### «Коринф»

#### Глава 1

#### История «Коринфа» со времени его основания

Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны Центрального рынка, замечают направо, против улицы Мондетур, лавку корзинщика, вывеской которому служит корзина, изображающая императора Наполеона Первого со следующей надписью:

###### НАПОЛЕОН ИЗ ИВЫ ЗДЕСЬ СПЛЕТЕН

Однако они нисколько не подозревают о тех страшных сценах, свидетелем которых был этот самый квартал каких-нибудь тридцать лет тому назад.

Именно здесь была улица Шанврери, которая в старину писалась Шанверери, и прославленный кабачок, именуемый «Коринфом».

Вспомним все, что говорилось о воздвигнутой в этом месте баррикаде, которую, впрочем, затмила баррикада Сен-Мерри. На эту-то замечательную баррикаду по улице Шанврери, теперь покрытую глубоким мраком забвения, мы и хотим пролить немного света.

Да будет нам дозволено для ясности рассказа прибегнуть к простому способу, уже примененному нами при описании Ватерлоо. Кто пожелал бы достаточно точно представить себе массивы домов, возвышавшихся в то время поблизости от церкви Сент-Эсташ, в северо-восточном углу Центрального рынка, где сейчас начинается улица Рамбюто, должен лишь мысленно начертить букву N, взяв вершиной улицу Сен-Дени, а основанием — рынок; вертикальные ее черточки обозначали бы улицы Большую Бродяжную и Шанврери, а поперечина — улицу Малую Бродяжную. Старая улица Мондетур перерезала все три линии буквы N под самыми неожиданными углами. Таким образом, путаный лабиринт этих четырех улиц создавал на пространстве в сто квадратных туазов, между Центральным рынком и улицей Сен-Дени — с одной стороны, и улицами Лебяжьей и Проповедников — с другой, семь маленьких кварталов причудливой формы, различной величины, расположенных вкривь и вкось, как бы случайно, и едва отделенных друг от друга узкими щелями, подобно каменным глыбам на стройке.

Мы говорим «узкими щелями», так как не можем дать более ясного понятия об этих темных уличках, тесных, коленчатых, окаймленных ветхими восьмиэтажными домами. Эти развалины были столь преклонного возраста, что на улицах Шанврери и Малой Бродяжной фасады подпирались рядом балок, тянувшихся от дома к дому. Улица была узкой, а сточная канава широкой, прохожие брели по вечно мокрой мостовой, пробираясь возле лавчонок, похожих на погреба, возле толстых каменных тумб с железными обручами, возле невыносимо зловонных мусорных куч и ворот с огромными вековыми решетками. Улица Рамбюто стерла все это.

Название Мондетур[[16]](#footnote-16) отлично передает извилистость всех этих улиц. Еще выразительнее говорит об этом название улицы *Пируэт*, примыкающей к улице Мондетур.

Прохожий, свернувший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, что она мало-помалу суживается перед ним, как если бы он вошел в удлиненную воронку. В конце этой коротенькой улички он обнаруживал, что впереди со стороны Центрального рынка путь преграждает ряд высоких домов, и мог полагать, что попал в тупик, если бы не замечал направо и налево двух темных проходов, которыми он мог пробраться. Это и была улица Мондетур, одним концом соединявшаяся с улицей Проповедников, а другим — с улицами Лебяжьей и Малой Бродяжной. В глубине этого своего рода тупика, на углу правого прохода, стоял дом пониже остальных и выдававшийся на улицу наподобие мыса.

Именно в этом доме, только о двух этажах, бойко обосновался на целых три столетия знаменитый кабачок. Он наполнял шумным весельем то самое место, которое старик Теофиль отметил следующим двустишием:

Там качается страшный скелет,

То повесился бедный влюбленный.

Место для этого заведения было подходящее, кабатчики наследовали его от отца к сыну.

Во времена Матюрена Ренье кабачок назывался «Горшок роз», а так как тогда были в моде ребусы, то вывеску ему заменял столб, выкрашенный в розовый цвет[[17]](#footnote-17). В прошлом столетии почтенный Натуар, один из причудливых живописцев, ныне презираемый чопорной школой, многократно напиваясь в этом кабачке за тем самым столом, где пил Ренье, из благодарности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда. Восхищенный кабатчик изменил свою вывеску и велел под этой кистью написать золотом «Коринфский виноград». Отсюда и название «Коринф». Для пьяниц нет ничего более естественного, чем пропустить слово. Пропуск слова — это извилина фразы. Название «Коринф» мало-помалу вытеснило «Горшок роз». Последний представитель династии кабатчиков, дядюшка Гюшлу, уже совершенно не зная предания, приказал выкрасить столб в синий цвет.

Зала внизу, где была стойка, зала на втором этаже, где был бильярд, узкая винтовая лестница, проходившая через потолок, вино на столах, копоть на стенах, свечи среди бела дня — вот что представлял собою кабачок. Лестница с люком в нижней зале вела в погреб. На третьем этаже жил сам Гюшлу. Туда поднимались по лестнице, скорее по лесенке, за незаметной дверью в большую залу второго этажа. Под крышей находились две чердачных каморки — приют служанок. Первый этаж делили между собой кухня и зала со стойкой.

Дядюшка Гюшлу, возможно, родился химиком, да вышел поваром; в его кабачке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел изумительное блюдо, которым можно было лакомиться только у него, а именно — фаршированных карпов, которых он называл carpes au gras[[18]](#footnote-18). Их ели при свете сальной свечи или кенкетов времен Людовика XVI, за столами, где прибитая гвоздями клеенка заменяла скатерть. Сюда приходили издалека. В одно прекрасное утро Гюшлу счел уместным уведомить прохожих о своей «специальности»; он обмакнул кисть в горшок с черной краской, и так как у него была своя орфография, равно как и своя кухня, то он изобразил на стене следующую примечательную надпись:

###### Carpes ho gras.

Зиме, ливням и граду заблагорассудилось стереть букву s, которой кончалось первое слово, и g, которой начиналось третье, после чего осталось:

###### Carpe ho ras.

При помощи непогоды и дождя скромное гастрономическое извещение стало глубоко осмысленным советом.

Таким образом, оказалось, что, не зная французского, Гюшлу знал латинский, что кухня помогла ему создать философское изречение и, желая только затмить Карема, он сравнялся с Горацием[[19]](#footnote-19). Было поразительно и то, что сие изречение означало также: «Зайдите в мой кабачок».

Теперь от всего этого не осталось и следа. Лабиринт Мондетур был разворочен и широко открыт в 1847 году и, по всей вероятности, сейчас не существует. Улица Шанврери и «Коринф» исчезли под мостовой улицы Рамбюто.

Как мы упоминали, «Коринф» был местом встреч, если не сборным пунктом, для Курфейрака и его друзей. Открыл «Коринф» Грантэр. Он зашел туда, привлеченный надписью Carpe ho ras, и возвратился ради carpes au gras. Здесь пили, здесь ели, здесь кричали; мало ли платили, плохо ли платили, вовсе ли не платили — здесь всякого ожидал радушный прием. Дядюшка Гюшлу был добряк.

Да, Гюшлу был добряк, как мы сказали, но вместе с тем трактирщик-вояка — забавная разновидность. Казалось, он всегда пребывал в скверном настроении, он словно стремился застращать своих клиентов, ворчал на посетителей и с виду был больше расположен затеять с ними ссору, чем подать им ужин. И тем не менее, мы подтверждаем это, здесь всякого ожидал радушный прием. Такая чудаковатость хозяина привлекала в его заведение посетителей и была приманкой для молодых людей, приглашавших туда друг друга со словами: «Ну-ка, пойдем послушаем, как дядюшка Гюшлу будет брюзжать». Когда-то он был учителем фехтования. Порою он вдруг разражался оглушительным хохотом. У кого громкий голос, тот добрый малый. В сущности, это был шутник с мрачной внешностью; для него не было большего удовольствия, чем напугать; он напоминал табакерку в форме пистолета, выстрел из которой вызывает только чихание.

Его жена, тетушка Гюшлу, была бородатое и весьма безобразное создание.

В 1830 году Гюшлу умер. С ним исчезла тайна приготовления «скоромных карпов». Его безутешная вдова продолжала вести дело. Но кухня ухудшилась и стала отвратительной; вино, которое всегда было скверным, стало ужасным. Курфейрак и его друзья продолжали, однако, ходить в «Коринф», — «из жалости», как говорил Боссюэ.

Одышка и безобразие не мешали вдове Гюшлу предаваться воспоминаниям о сельской жизни. Благодаря ее произношению они утрачивали слащавость. У нее была особенная манера выражаться, что придавало соль ее экскурсиям в свое деревенское и девическое прошлое. «В девушках слушаю, бывало, пташку-малиновку, как она заливается в кустах боярки, и ничего мне на свете больше не нужно», — рассказывала она.

Зала во втором этаже, где помещался «ресторан», представляла собой большую, длинную комнату, уставленную табуретками, скамеечками, стульями, длинными лавками и столами; в ней же стоял и старый, хромой бильярд. Туда поднимались по винтовой лестнице, кончавшейся в углу залы четырехугольной дырой, наподобие корабельного трапа.

Эта зала с одним-единственным узким окном освещалась всегда горевшим кенкетом и была похожа на чердак. Любая мебель, снабженная четырьмя ножками, вела себя в ней так, как будто была трехногой. Единственным украшением выбеленных известкой стен было следующее четверостишие в честь хозяйки Гюшлу:

В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она.

В ее ноздре волосатой бородавка большая видна.

Ее встречая, дрожишь: вот-вот на тебя чихнет,

И нос ее крючковатый провалится в черный рот.

Это было написано углем на стене.

Госпожа Гюшлу, весьма сходная с портретом, изображенным в этих стихах, с утра до вечера совершенно невозмутимо ходила взад и вперед мимо них. Две служанки, Матлота и Жиблота, известные только под этими именами[[20]](#footnote-20), помогали г-же Гюшлу ставить на столы кувшинчики с красным скверным вином и всевозможную бурду, подававшуюся голодным посетителям в глиняных мисках. Матлота, жирная, круглая, рыжая и крикливая, в свое время любимая султанша покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанке всегда подобает уступать первое место своей хозяйке, то она и была менее безобразна, чем г-жа Гюшлу. Жиблота, долговязая, тощая, с лимфатической бледностью в лице, с синевой под глазами и всегда опущенными ресницами, изнуренная, изнемогающая, можно было бы сказать — пораженная хронической усталостью, вставала первой, ложилась последней, прислуживала всем, даже другой служанке, молча и кротко улыбаясь какой-то неопределенной усталой, сонной улыбкой.

У входа в залу кабачка взгляд посетителя останавливали на себе следующие строчки, написанные на дверях мелом рукой Курфейрака:

Коли можешь — угости,

Коли смеешь — сам поешь.

#### Глава 2

#### Чем закончилась веселая попойка

Легль из Мо, как известно, имел пребывание главным образом у Жоли. Он находил жилье так же, как птица, — на любой ветке. Оба друга жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все у них было общим, даже отчасти Мюзикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром 5 июня они отправились завтракать в «Коринф». Жоли был простужен и гнусавил от сильного насморка, насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поношенный, Жоли был хорошо одет.

Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери «Коринфа».

Они поднялись на второй этаж.

Их встретили Матлота и Жиблота.

— Устриц, сыру и ветчины, — приказал Легль.

Затем они уселись за стол.

В кабачке никого не было; они сидели только вдвоем.

Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол.

Только они принялись за устриц, как чья-то голова появилась в лестничном трапе и чей-то голос произнес:

— Шел мимо. Почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри. Зашел.

То был Грантэр.

Он взял табурет и уселся за стол.

Жиблота, увидев Грантэра, поставила две бутылки вина на стол.

Итого — три.

— Ты разве собираешься выпить обе бутылки? — спросил Легль у Грантэра.

— Тут все люди с умом, один ты недоумок, — ответил Грантэр. — Где это видано, чтобы две бутылки удивили мужчину?

Друзья начали с еды, Грантэр с вина. Полбутылки было живо опорожнено.

— Дыра у тебя в желудке, что ли? — спросил Легль.

— Дыра у тебя на локте, — ответил Грантэр. И, допив свой стакан, прибавил: — Да, да, Легль — орел надгробных речей, сюртук-то у тебя старенек.

— Надеюсь, что так, — ответствовал Легль. — У нас согласная домашняя жизнь, у моего сюртука и у меня. Он сам принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре, снисходительно относится к моим движениям; я его чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье — что старые друзья.

— Вод эдо правда, — воскликнул Жоли, вступив в разговор, — сдарый сюрдук — все равдо что сдарый друг.

— Особенно в устах человека с насморком, — согласился Грантэр.

— Грантэр, — спросил Легль, — ты с бульвара?

— Нет.

— А мы с Жоли видели начало шествия.

— Чудесдое зрелище, — сказал Жоли.

— А как спокойно на этой улице! — воскликнул Легль. — Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном? Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри! Дю Брель и Соваль приводят их список, и аббат Лебеф также. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми францисканцами Франциска Ассизского, францисканцами Франциска де Поль, капуцинами, кармелитами, малыми августинцами, большими августинцами, старыми августинцами... Их расплодилось видимо-невидимо.

— Не будем говорить о монахах, — прервал Грантэр, — от этого хочется чесаться.

Потом он разразился:

— Брр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондрия снова овладевает мной! Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу род людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги! Сколько чернил! Сколько мазни! И все это написано людьми! Какой же это плут сказал, что человек — двуногое без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, презренная, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее! Увы! Женщина подстерегает и старого откупщика, и молодого щеголя; кошки охотятся и за мышами, и за птицами. Не прошло еще и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде, она вставляла медные колечки в петельки корсета, или как это у них там называется. Она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Я встретил жертву ныне утром развеселой. И всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Розы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусеницами, заметны. Ах, нет более нравственности на земле! В свидетели я призываю мирт — символ любви, лавр — символ войны, оливу, эту глупышку, — символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу — эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите — право? Хотите знать, что такое право? Галлы зарятся на Клузиум, Рим оказывает покровительство Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Бренн отвечает: «В том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты эквы, вольски и сабиняне. Они были ваши соседи. Жители Клузиума — наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум». Рим отвечает: «Вы не возьмете Клузиум».

Тогда Бренн взял Рим. После этого он вскричал: Vae victis![[21]](#footnote-21) Вот что такое право. Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов! Прямо мороз по коже продирает!

Он протянул свой стакан, Жоли наполнил его, Грантэр выпил и продолжал, почти не прервав своих разглагольствований, — этот стакан вина словно и не был никем замечен, даже им самим:

— Бренн, завладевающий Римом, — орел; банкир, завладевающий гризеткой, — орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина — лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы за тощего петуха, вместе с кантоном Ури, или за петуха жирного, вместе с кантоном Гларис, — неважно, пейте. Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем. Вот как! Значит, опять наклевывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у господа бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Живо, революцию! У господа бога руки всегда в этом скверном смазочном масле. На его месте я поступил бы проще: я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики, я плавно вел бы человеческий род, нанизывал бы события, петля за петлей, не разрывая нити, мне бы не нужны были запасные средства, у меня не было бы экстренных постановок. То, что иные прочие называют прогрессом, преуспевает при помощи двух двигателей: людей и событий. Но как это ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для людей, заурядного недостаточно: среди людей должны быть гении, а меж событий — революции. Чрезвычайные события — это закон; мировой порядок вещей не может обойтись без них; вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих театральных постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, бог вывешивает блуждающее светило на стене небесного свода. Появляется нежданно какая-то чудна́я звезда с огромным хвостом. И это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а бог — кометой. Трах! — и вот северное сияние, вот — революция, вот — великий человек; девяносто третий год дается крупной прописью, с красной строки — Наполеон, наверху афиши — комета тысяча восемьсот одиннадцатого года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная нежданными сверкающими звездами! Бум! бум! Редкое зрелище! Смотрите вверх, зеваки! Все тут в беспорядке — и светила, и пьеса. Бог мой, это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, кричат о великолепии, но означают скудость. Друзья, провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция — что этим доказывается? Что господь иссяк. Он производит переворот, потому что налицо разрыв связи между настоящим и будущим и потому что он, бог, не мог связать концы с концами. Право, меня это утверждает в моих предположениях относительно материального положения Иеговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скаредности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мной, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода; видя нашу человеческую долю, даже долю королевскую, столь потертой — до самой веревочной основы, чему свидетель повесившийся принц Конде; видя зиму, являющуюся не чем иным, как прорехой в зените, откуда дует ветер; видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утра, одевающем вершины холмов; видя капли росы — этот поддельный жемчуг; видя иней — этот стеклярус; видя разлад среди человечества, и заплаты на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на луне, видя всюду столько нищеты, я подозреваю, что бог не богат. Правда, у него есть видимость богатства, но я чую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал, когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по одной видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите, сегодня пятое июня, а почти темно; с самого утра я жду наступления дня, но его нет, и я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено, одно не прилажено к другому, старый мир совсем скособочился, я перехожу в оппозицию. Все идет вкривь и вкось; вселенная только дразнит. Все равно как детей: тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме того, меня огорчает вид этого плешивца Легля из Мо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как это голое колено. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец предвечный, уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток, от толпы бездельников к толпе буянов! Мне бы родиться турком, целый день созерцать глуповатых дщерей востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные, подобно сновидениям целомудренного человека, мне бы родиться босеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными синьоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинцев германскому союзу и посвящающим досуги сушке своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений! Вот для чего я был предназначен! Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему обычно так плохо судят о турках; у Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю сераля с гуриями и рая с одалисками! Не будем оскорблять магометанство — единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике! Засим выпьем. Земной шар — неимоверная глупость. Похоже на правду, что они идут драться, все эти дураки, идут разбивать друг другу морды, резать друг друга, и когда же? — в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы! Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль: пора просветить человеческий род! Увы, я снова печален! Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, со службы увольняют, здесь унижают, здесь убивают, здесь ко всему привыкают!

После этого припадка красноречия Грантэр стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля.

— Кстати, о революции, — сказал Жоли, — виддо Бариус влюблед по-дастоящему.

— В кого, не знаешь? — спросил Легль.

— Дет.

— Нет?

— Я же тебе говорю — дет!

— Любовные истории Мариуса! — воскликнул Грантэр. — Я наперед знаю все. Мариус — туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт — значит безумец. *Timbroeus Apollo* [[22]](#footnote-22). Мариус и его Мари, или его Мария, или его Мариетта, или его Марион, — должно быть, забавные влюбленные. Отлично представляю их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложе среди звезд.

Грантэр уже собрался приступить ко второй бутылке и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный.

Не колеблясь, он сразу сделал выбор между тремя собеседниками и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю из Мо.

— Не вы ли господин Боссюэ? — спросил он.

— Это мое уменьшительное имя, — ответил Легль. — Что тебе надо?

— Вот что. Какой-то высокий блондин на бульваре спросил меня: «Ты знаешь тетушку Гюшлу?» — «Да, — говорю я, — на улице Шанврери, вдова старика». Он и говорит: «Поди туда. Там ты найдешь господина Боссюэ и скажешь ему от моего имени: «Азбука». Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су.

— Жоли, дай мне взаймы десять су, — сказал Легль, потом повернулся к Грантэру: — Грантэр, дай мне взаймы десять су.

Таким образом, составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику.

— Благодарю вас, сударь, — сказал тот.

— Как тебя зовут? — спросил Легль.

— Наве. Я приятель Гавроша.

— Оставайся с нами, — сказал Легль.

— Позавтракай с нами, — сказал Грантэр.

— Не могу, — ответил мальчик, — я иду в процессии, ведь это я кричу: «Долой Полиньяка!»

И, скользнув одной ногой далеко назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий, он удалился.

Когда мальчик ушел, взял слово Грантэр:

— Вот это чистокровный гамен. Есть много разновидностей этой породы. Гамен-нотариус зовется попрыгуном, гамен-повар — котелком, гамен-булочник — колпачником, гамен-лакей — грумом, гамен-моряк — юнгой, гамен-солдат — барабанщиком, гамен-живописец — мазилкой, гамен-лавочник — мальчишкой на побегушках, гамен-царедворец — пажом, гамен-король — дофином, гамен-бог — младенцем.

Тем временем Легль размышлял, потом он сказал вполголоса:

— «Азбука» — иначе говоря, «Похороны Ламарка».

— А высокий блондин, — установил Грантэр, — это Анжольрас, уведомивший тебя.

— Пойдем? — спросил Боссюэ.

— Да улице дождь, — заметил Жоли. — Я поклялся идти в огодь, до де в воду. Я де хочу простудиться.

— Я остаюсь здесь, — сказал Грантэр. — Я предпочитаю завтрак похоронным дрогам.

— Короче, мы остаемся, — заключил Легль. — Отлично! Выпьем в таком случае. Тем более что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа.

— А, бятеж! Я за дего! — воскликнул Жоли.

Легль потер себе руки и сказал:

— Вот и взялись подправить революцию тысяча восемьсот тридцатого года! В самом деле, она жмет народу под мышками.

— Для меня она почти безразлична, ваша революция, — сказал Грантэр. — Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, укращенная ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле, я думаю, что сегодня Луи-Филипп благодаря непогоде может воспользоваться своими королевскими атрибутами двояко: поднять скипетр против народа, а зонт — против дождя.

В зале стало темно, тяжелые тучи совсем заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было: все пошли «смотреть на события».

— Полдень сейчас или полночь? — вскричал Боссюэ. — Ничего решительно не видно. Жиблота, огня!

Грантэр мрачно продолжал пить.

— Анжольрас презирает меня, — бормотал он. — Анжольрас сказал: «Жоли болен, Грантэр пьян». И он послал Наве к Боссюэ, а не ко мне. А приди он за мной, я пошел бы с ним. Тем хуже для Анжольраса! Я не пойду на эти его похороны.

Приняв такое решение, Боссюэ, Жоли и Грантэр остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем горели две свечи, одна в медном, совершенно позеленевшем подсвечнике, другая в горлышке треснувшего графина. Грантэр пробудил в Жоли и Боссюэ вкус к вину; Боссюэ и Жоли помогли Грантэру вновь обрести веселое расположение духа.

Сам Грантэр после полудня уже бросил пить вино — этот незамысловатый источник мечты. У настоящих пьяниц вино пользуется только уважением, не больше. Что касается хмеля, то здесь существует черная и белая магия; вино всего лишь белая магия. Грантэр был великий охотник до зелья грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывавшаяся ему, вместо того чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка — это бездна. Не имея под рукой ни опиума, ни гашиша и желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшное оцепенение. Три вида паров — пива, водки и абсента — ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак; душа — этот небесный мотылек — тонет в нем; и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает смутные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры — Кошмар, Ночь, Смерть, парящие над заснувшей Психеей.

Грантэр еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, и Боссюэ и Жоли, чокаясь с ним, разделяли его веселье. Грантэр подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденностью движений. Важно опершись кулаком левой руки на колено и выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете, с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке, и обращал к толстухе Матлоте следующие торжественные тирады:

— Да откроют ворота дворца! Да будут все академиками и да получат право обнимать мадам Гюшлу! Выпьем!

И, повернувшись к тетушке Гюшлу, он прибавил:

— О женщина, античная и древностью освященная, приблизься, дабы я созерцал тебя!

А Жоли кричал:

— Батлота и Жиблота, де давайте больше пить Градтэру. Од растратил субасшедшие дедьги. Од уже прожрал с сегоддяшдего утра с чудовищдой расточительдостью два фрадка девядосто пять садтибов!

А Грантэр снова вопиял:

— Кто же это без моего позволения сорвал с небосвода звезды и поставил их на стол под видом свечей?

Боссюэ, сильно упившийся, сохранял обычное спокойствие.

Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих друзей.

Внезапно он услышал позади какой-то смутный шум, быстрые шаги и крики: «К оружию!» Он обернулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шанврери, Анжольраса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Фейи с саблей, Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетоном, Комбефера с ружьем, Баореля с ружьем и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними.

Улица Шанврери в длину не превышала расстояния ружейного выстрела. Боссюэ, приставив ладони рупором ко рту, крикнул:

— Курфейрак, Курфейрак! Ого-го!

Курфейрак услышал призыв, заметил Боссюэ, сделал несколько шагов по улице Шанврери, и «Чего тебе надо?» Курфейрака скрестилось с «Куда ты идешь?» Боссюэ.

— Строить баррикаду, — ответил Курфейрак.

— Отлично, иди сюда! Место хорошее! Строй здесь!

— Правильно, Орел, — ответил Курфейрак.

И по знаку Курфейрака вся ватага устремилась на улицу Шанврери.

#### Глава 3

#### Ночь начинает опускаться на Грантэра

Место действительно было указано превосходно: улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал «Коринф»; загородить улицу Мондетур справа и слева не представляло труда; таким образом, атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб и по открытой местности. У пьяного Боссюэ был острый глаз трезвого Ганнибала.

При вторжении этого сборища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице, направо, налево, заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров, начиная с первого этажа до самой крыши. Какая-то перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфяком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым, и по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа. «Боже мой! Боже мой!» — вздыхала тетушка Гюшлу.

Боссюэ сошел вниз, навстречу Курфейраку.

Жоли, высунувшись в окно, кричал:

— Курфейрак, почебу ты без зодтика, ты простудишься!

Тем временем в несколько минут из зарешеченных нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туаз мостовой. Гаврош и Баорель остановили и опрокинули проезжавшие мимо роспуски некоего Ансо, торговца известью; на этих роспусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены грудами булыжника из развороченной мостовой. Анжольрас поднял дверцу погреба, и все пустые бочки вдовы Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Фейи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочки и роспуски двумя внушительными кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. С фасада соседнего дома были сорваны подпиравшие его балки и положены на бочки. Когда Боссюэ и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукою народа, когда необходимо построить все то, что строят разрушая.

Матлота и Жиблота присоединились к работающим. Жиблота ходила взад и вперед, таская для строителей щебень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино, — словно во сне.

В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми.

Боссюэ перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил выйти пассажиров, помог сойти «дамам», отпустил кондуктора и, взяв лошадей под уздцы, возвратился с экипажем к баррикаде.

— Омнибусы, — сказал он, — не проходят перед «Коринфом». Non licet omnibus adire Corinthum[[23]](#footnote-23).

Мгновение спустя распряженные лошади отправились куда глаза глядят по улице Мондетур, а омнибус, поваленный набок, довершил заграждение улицы.

Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже.

Глаза ее блуждали, она смотрела на все невидящим взглядом и тихо подвывала. Вопль испуга словно не осмеливался вылететь из ее глотки.

— Светопреставление, — бормотала она.

Жоли запечатлел поцелуй на жирной, красной и морщинистой шее тетушки Гюшлу, сказав при этом Грантэру: «Здаешь, бой билый, жедская шея всегда была для бедя чеб-то бескодечдо изыскаддым».

Но Грантэр достиг высот дифирамбического красноречия. Он схватил за талию поднявшуюся во второй этаж Матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна.

— Матлота безобразна! — кричал он. — Матлота — идеал безобразия. Матлота — химера. Тайна ее рождения такова: некий готический Пигмалион, делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов, в один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил Любовь одушевить его, и оно стало Матлотой. Взгляните на нее, граждане! У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой. А уж тетушка Гюшлу — та старый вояка. Посмотрите, что у нее за усы! Она их унаследовала от своего супруга. Женщина-гусар, вот она кто! Она тоже будет драться. Они вдвоем нагонят страху на все предместье. Товарищи, мы свалим правительство, это так же верно, как верно то, что существует пятнадцать промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой маргариновой. Впрочем, наплевать мне на это. Господа, отец всегда презирал меня за то, что я не понимал математику. Я понимаю только любовь и свободу. Я Грантэр — добрый малый! У меня никогда не бывает денег, я к ним не привык, а потому никогда в них и не нуждаюсь; но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков! Вы бы увидели! О, если бы у добрых людей была толстая мошна! Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда! Сколько бы добра он сделал! Матлота, поцелуй меня! Ты сладострастна и робка! Твои щечки жаждут сестринского поцелуя, а губки — поцелуя любовника!

— Замолчи, пивная бочка! — сказал Курфейрак.

— Я член муниципального совета Тулузы и магистр игр в честь Флоры там же! — ответил с важностью Грантэр.

Анжольрас, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, поднял свое прекрасное строгое лицо. Анжольрас, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при Фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем.

— Грантэр, — крикнул он, — пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду!

Эти гневные слова произвели на Грантэра необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу протрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжольраса и сказал ему:

— Позволь мне поспать здесь.

— Ступай для этого в другое место! — крикнул Анжольрас.

Но Грантэр, не сводя с него нежного и мутного взгляда, ответил:

— Позволь мне тут поспать, пока я не умру.

Анжольрас презрительно взглянул на него.

— Грантэр, ты не способен ни верить, ни думать, ни хотеть, ни жить, ни умирать.

— Ты увидишь, — серьезно ответил Грантэр. Он пробормотал еще несколько невнятных слов, потом его голова тяжело упала на стол, и мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которой его сразу и резко подтолкнул Анжольрас.

#### Глава 4

#### Попытка утешить тетушку Гюшлу

Баорель, в восторге от баррикады, кричал:

— Вот улица и декольтирована! Любо смотреть!

Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабатчика:

— Тетушка Гюшлу, вы как будто жаловались, что полиция составила на вас протокол, когда Жиблота вытряхнула постельный коврик в окно?

— Да, да, дорогой господин Курфейрак. Ах, боже мой, неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку? А за коврик да за горшок с цветами, который вывалился из чердачной каморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафу. Подумайте, какая гнусность!

— Вот видите, тетушка Гюшлу, мы мстим за вас.

Но тетушка Гюшлу, кажется, не слишком понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощечину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения. «Отец, — сказала она, — ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление». Отец спросил: «В какую щеку он ударил тебя?» — «В левую». Отец ударил ее в правую и сказал: «Теперь ты можешь быть довольна. Поди скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощечину его жене».

Дождь прекратился. Желающие драться прибывали. Рабочие принесли под блузами бочонок пороху, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, два или три карнавальных факела и плетенку с плошками, оставшимися от праздника «тезоименитства короля», каковой состоялся совсем недавно, 1 мая. Говорили, что этими припасами снабдил их один лавочник из Сент-Антуанского предместья, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоящий против него фонарь на улице Сен-Дени и все фонари на окрестных улицах — Мондетур, Лебяжьей, Проповедников, Большой и Малой Бродяжной.

Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, обе опиравшиеся на «Коринф» и образовавшие прямой угол; большая замыкала улицу Шанврери, а другая — улицу Мондетур со стороны Лебяжьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собралось около пятидесяти рабочих; тридцать из них были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный «заем» в лавке оружейника.

Трудно представить себе что-либо более причудливое и пестрое, чем это сборище людей. Один был в куртке с кавалерийской саблей и двумя седельными пистолетами, другой в жилете, в круглой шляпе и с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружен шилом шорника. Был один, который кричал: «Истребим всех до последнего и умрем на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная портупея и патронташ национальной гвардии, на покрышке которого красной шерстью была вышита надпись: «Общественный порядок». Здесь было много ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнаженных рук, несколько пик. Прибавьте к этому все возрасты, все разнообразие лиц бледных подростков, загорелых портовых рабочих. Все торопились и, помогая друг другу, говорили о своей надежде на успех: о том, что к трем часам утра подойдет помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что весь Париж поднимется. То были страшные слова, к которым примешивалось какое-то сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали имен друг друга. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых.

На кухне развели огонь, и в формочке для отливки пуль плавили жбаны, ложки, вилки, все оловянное «серебро» кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсюли и крупная дробь. В бильярдной тетушка Гюшлу, Матлота и Жиблота, по-разному изменившиеся от страха — одна отупев, другая запыхавшись, третья проснувшись, — рвали старые полотенца и щипали корпию; им помогали трое повстанцев — трое волосатых, бородатых и усатых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчиков из бельевого магазина.

Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжольрасом в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу Щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой. А молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус.

Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу пустить все дело в ход. Он сновал взад и вперед, поднимался вверх, спускался вниз, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось, он явился сюда для того, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно, — его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно, — его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая; он не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своем хребте. Он приставал к бездельникам, подстегивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего; он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всей этой суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку — настоящая муха, суетившаяся возле исполинской колесницы Революции.

Его маленькие руки действовали без устали, а маленькое горло неустанно исторгало крики:

— Смелей! Давай еще булыжника! Еще бочек! Еще какую-нибудь штуку! Где бы ее взять? Вали сюда корзинку со щебнем, заткнем эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в нее все, швыряй в нее все, втыкай в нее все! Ломайте дом. Баррикада — это окрошка из всякой крошки. Глянь-ка, вон застекленная дверь!

Один из работавших воскликнул:

— Застекленная дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь?

— Подумаешь, сам богатырь! — отпарировал Гаврош. — Застекленная дверь на баррикаде — превосходная вещь! Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкано донышек от бутылок? Стеклянная дверь! Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду. Черт побери, со стеклом не шутите! Эх, плохо вы соображаете, приятели!

Впрочем, он был взбешен своим пистолетом без собачки. Он ходил от одного к другому и требовал: «Ружье, давайте ружье! Почему мне не дают ружья?»

— Ружье, тебе? — удивился Комбефер.

— Вот те на? — возмутился Гаврош. — А почему бы нет? Было ведь у меня ружье в тысяча восемьсот тридцатом году, когда поспорили с Карлом Десятым.

Анжольрас пожал плечами.

— Когда ружей хватит для мужчин, тогда их дадут детям.

Гаврош гордо повернулся к нему и объявил:

— Если тебя убьют раньше меня, я возьму твое.

— Мальчишка! — крикнул Анжольрас.

— Молокосос! — не остался в долгу Гаврош. Заблудившийся щеголь, бродивший в конце улицы, отвлек его внимание. Гаврош крикнул: — Идите к нам, молодой человек! Как насчет нашей старушки родины? Неужели нет желанья ей помочь?

Щеголь поспешно скрылся.

#### Глава 5

#### Подготовка

Газеты того времени, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврери, «сооружение почти неодолимое», достигала уровня второго этажа, заблуждались. На деле она была в среднем не выше шести-семи футов. Ее построили с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли по своему желанию или исчезать за нею, или показываться над заграждением и даже взбираться на верхушку его при помощи четырех рядов камней, положенных друг на друга и образующих с внутренней стороны ступени. Сложенная из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса роспусков Ансо и опрокинутого омнибуса, баррикада словно ощетинилась и снаружи, с фронта, казалась неприступной.

Между стеной дома и наиболее отдаленным от кабачка краем баррикады была оставлена щель, достаточная для того, чтобы сквозь нее мог пройти человек, — таким образом, возможен был выход. Дышло омнибуса поставили стоймя и привязали веревками; красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над баррикадой.

Малая баррикада Мондетур, скрытая позади кабачка, была незаметна. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анжольрас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, открывавший через улицу Проповедников выход к Центральному рынку, без сомнения желая сохранить возможность сообщаться с внешним миром и не слишком страшась нападения со стороны опасной и труднопроходимой улицы Проповедников.

Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы «коленом траншеи», а также узкой щели, оставленной на улице Шанврери, внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправильный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположенными в глубине улицы, имелся промежуток шагов в двадцать, таким образом, баррикада, можно сказать, прикрывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запертыми сверху донизу домами.

Вся работа была произведена без помехи меньше чем за час; перед горсточкой этих смелых людей ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Изредка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шанврери и заметив баррикаду.

Как только были закончены обе баррикады и водружено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался Курфейрак. Анжольрас принес квадратный ящик, и Курфейрак открыл его. Ящик был наполнен патронами. Среди самых храбрых, когда они увидели патроны, пробежал трепет, и на мгновение воцарилась тишина.

Курфейрак раздавал их, улыбаясь.

Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготовлять новые патроны, забивая в них отлитые пули. Что касается бочонка пороха, то он стоял в сторонке на столе возле дверей, и его не тронули, оставив про запас.

Сигналы боевой тревоги, разносившиеся по всему Парижу, все не умолкали, но, превратясь в конце концов в какой-то однообразный шум, уже более не привлекали внимания. Этот шум то отдалялся, то приближался с заунывными раскатами.

Все одновременно, не спеша, с торжественной важностью, зарядили ружья и карабины. Анжольрас расставил перед баррикадами трех часовых — одного на улице Шанврери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малой Бродяжной.

А когда баррикады были построены, места назначены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда одни на этих страшных безлюдных улицах, одни среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось никаких признаков человеческой жизни, окутанные нараставшими тенями сумерек, оторванные от всего мира, в этой тьме и в этом молчании, где чувствовалось приближение чего-то трагического и ужасающего, повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные, стали ждать.

#### Глава 6

#### В ожидании

Что делали они в эти часы ожидания?

Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории.

Пока мужчины изготовляли патроны, а женщины корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, пока дозорные с оружием в руках наблюдали за баррикадой, а Анжольрас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозорами, Комбефер, Курфейрак, Жан Прувер, Фейи, Боссюэ, Жоли, Баорель и некоторые другие отыскали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы. В уголке кабачка, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам своих стульев, эти прекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи.

Какие стихи? Вот они:

Ты помнишь ту пленительную пору,

Когда клокочет молодостью кровь

И жизнь идет не под гору, а в гору, —

Костюм поношен, но свежа любовь?

Мы не могли начислить даже сорок,

К твоим годам прибавив возраст мой.

А как нам был приют укромный дорог,

Где и зима казалась нам весной!

Наш Манюэль тогда был на вершине,

Париж святое правил торжество,

Фуа гремел, и я храню доныне

Булавку из корсажа твоего.

Ты всех пленяла. Адвокат без дела,

Тебя водил я в Прадо на обед.

И даже роза в цветниках бледнела,

Завистливо косясь тебе вослед.

Цветы шептались: «Боже, как прелестна!

Какой румянец! А волос волна!

Иль это ангел низошел небесный,

Иль воплотилась в девушку весна?»

И мы, бывало, под руку гуляем,

И нам в лицо глядят с улыбкой все,

Как бы дивясь, что рядом с юным маем

Апрель явился в праздничной красе.

Все было нам так сладостно, так ново!

Любовь, любовь! Запретный плод и цвет!

Бывало, молвить не успею слово,

Уже мне сердцем ты даешь ответ.

В Сорбонне был приют мой безмятежный,

Где о тебе всечасно я мечтал,

Где пленным сердцем карту Страсти нежной

Я перенес в студенческий квартал.

И каждый день заря нас пробуждала

В душистом нашем, свежем уголке.

Надев чулки, ты ножками болтала,

Звезда любви — на нищем чердаке!

В те дни я был поклонником Платона,

Мальбранш и Ламенне владели мной.

Ты, приходя с букетом, как мадонна,

Сияла мне небесной красотой.

О, наш чердак! Мы, как жрецы, умели

Друг другу в жертву приносить сердца!

Как по утрам, в сорочке встав с постели,

Ты в зеркальце гляделась без конца!

Забуду ли те клятвы, те объятья,

Восходом озаренный небосклон,

Цветы и ленты, газовое платье,

Речей любви пленительный жаргон!

Считали садом мы горшок с тюльпаном,

Окну служила юбка вместо штор,

Но я, простым довольствуясь стаканом,

Тебе японский подносил фарфор.

И смехом все трагедии кончались:

Рукав сожженный иль пропавший плед!

Однажды мы с Шекспиром распрощались,

Продав портрет, чтоб раздобыть обед.

И каждый день мы новым счастьем пьяны,

И поцелуям новый счет я вел.

Смеясь, уничтожали мы каштаны,

Огромный Данте заменял нам стол.

Когда впервые, уловив мгновенье,

Твой поцелуй ответный я сорвал,

И, раскрасневшись, ты ушла в смятенье, —

Как, побледнев, я небо призывал!

Ты помнишь эти радости, печали,

Разорванных косынок лоскуты,

Ты помнишь все, чем жили, чем дышали,

Весь этот мир, все счастье — помнишь ты?

Час, место, ожившие воспоминания юности, редкие звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пустынных улиц, неизбежность неумолимо надвигавшихся событий — все придавало волнующее очарование этим стихам, прочитанным вполголоса в сумерках Жаном Прувером, который, — мы упоминали о нем, — был нежным поэтом.

Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой — один из тех восковых факелов, которые на Масленице можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в Куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья.

Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра, и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улица и баррикада оставались погруженными в тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем.

Этот свет придавал багрецу знамени какой-то зловещий кровавый отблеск.

#### Глава 7Человек, завербованный на Щепной улице

Уже совсем наступила ночь, а все оставалось по-прежнему. Слышался только смутный гул, порой ружейная стрельба, но редкая, прерывистая и отдаленная. Затянувшаяся передышка свидетельствовала о том, что правительство стягивает свои силы. На баррикаде пятьдесят человек ожидали шестидесяти тысяч.

Анжольрасом овладело нетерпение, испытываемое сильными душами на пороге опасных событий. Он пошел за Гаврошем, который занялся изготовлением патронов в нижней зале при неверном свете двух свечей, поставленных из предосторожности на прилавок, так как на столах был рассыпан порох. На улицу от этих двух свечей не проникало ни одного луча света. Повстанцы позаботились также о том, чтобы не зажигали огня в верхних этажах.

В эту минуту Гаврош был очень занят, и отнюдь не одними своими патронами. Только что в нижнюю залу вошел человек со Щепной улицы и уселся за наименее освещенный стол. На снаряжение ему досталось солдатское ружье крупного калибра, которое он поставил между колен. До сих пор Гаврош, отвлеченный множеством «занятных» вещей, даже не замечал этого человека.

Когда он вошел, Гаврош, восхитившись его ружьем, машинально проводил его взглядом, потом, когда человек сел, мальчишка вновь вскочил со своего места. Тот, кто проследил бы за ним до этого мгновения, заметил бы, что человек со Щепной улицы внимательно наблюдал решительно за всем происходившим на баррикаде и в отряде повстанцев; но, едва войдя в залу, он погрузился в какую-то сосредоточенную задумчивость и, казалось, перестал замечать окружающее. Мальчик подошел к этому задумавшемуся человеку и начал вертеться вокруг него на цыпочках, как это делают, когда боятся кого-нибудь разбудить. В то же время на его детском лице, одновременно дерзком и рассудительном, легкомысленном и серьезном, веселом и скорбном, замелькали одна за другой все те выразительные стариковские гримасы, которые обозначают: «Вздор! Не может быть! Мне померещилось! Разве это не... Нет, не он! Конечно, он! Да нет же!» и т. д. Гаврош раскачивался на пятках, сжимал кулаки в карманах, вытягивал шею, как птица, и выпячивал нижнюю губу — свидетельство того, что он пустил в ход всю свою проницательность. Он был озадачен, нерешителен, неуверен, убежден, восхищен. Ужимками своими он напоминал начальника евнухов, отыскавшего на невольничьем рынке среди дебелых бабищ Венеру, или знатока, распознавшего среди бездарной мазни картину Рафаэля. Все в нем пришло в движение: инстинкт его что-то учуял, ум его что-то сопоставлял. Было очевидно, что Гаврош натолкнулся на важное открытие.

В самый разгар его усиленных размышлений к нему и подошел Анжольрас.

— Ты маленький, — сказал Анжольрас, — тебя не заметят. Выйди за баррикаду, прошмыгни вдоль домов, пошатайся немножко по улицам, потом вернешься и расскажешь мне, что там происходит.

Гаврош выпрямился.

— Значит, и маленькие на что-нибудь годятся! Очень приятно! Иду. А покамест доверяйте маленьким и не доверяйте большим... — Затем, подняв голову и понизив голос, Гаврош прибавил, показав на человека со Щепной улицы: — Вы хорошо видите этого верзилу?

— Ну и что же?

— Это сыщик.

— Ты уверен?

— Не прошло и двух недель, как он стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я уселся подышать свежим воздухом.

Анжольрас быстро отошел от мальчика и тихо прошептал несколько слов оказавшемуся здесь портовому рабочему. Тот вышел из залы и почти тотчас вернулся обратно в сопровождении трех товарищей. Четверо мужчин, четыре широкоплечих грузчика, незаметно встали позади стола, на который облокотился человек со Щепной улицы, явно готовые броситься на него.

Тогда Анжольрас подошел к нему и спросил:

— Кто вы такой?

При этом неожиданном вопросе человек вздрогнул. Пристально взглянув в ясные глаза Анжольраса, он в их глубине, казалось, прочел его мысль. Он улыбнулся самой презрительной, самой смелой и решительной улыбкой, какую только можно вообразить, и ответил с высокомерной важностью:

— Я вижу, что... Ну да!

— Вы сыщик?

— Я представитель власти.

— Ваше имя?

— Жавер.

Анжольрас сделал знак четырем рабочим. В мгновение ока, прежде чем Жавер успел обернуться, он был схвачен за шиворот, опрокинут на землю, связан, обыскан.

У него нашли маленькую круглую карточку, вделанную между двух стекол, с гербом Франции и оттиснутой вокруг надписью: «Надзор и Бдительность» на одной стороне, а на другой — «ЖАВЕР, полицейский надзиратель, пятидесяти двух лет» и подпись тогдашнего префекта полиции Жиске.

Кроме того, у него были обнаружены часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Кошелек и часы ему оставили. Под часами, в глубине жилетного кармана, нащупали и извлекли вложенный в конверт листок бумаги. Развернув его, Анжольрас прочел пять строк, написанных рукой того же префекта полиции:

«Выполнив свою политическую задачу, полицейский надзиратель Жавер должен удостовериться особым розыском, действительно ли замечены следы злоумышленников на откосе правого берега Сены, возле Иенского моста».

Окончив обыск, Жавера поставили на ноги и, скрутив ему руки за спиной, привязали к тому знаменитому столбу, стоящему посредине нижней залы, который некогда дал название кабачку.

Гаврош, присутствовавший при этой сцене, вынес всему свое молчаливое одобрение кивком головы, потом подошел к Жаверу и сказал ему:

— Вот мышь и поймала кота.

Все было выполнено столь быстро, что, когда об этом узнали люди, толпившиеся возле кабачка, дело было кончено. Жавер ни разу не крикнул. Услышав, что Жавер привязан к столбу, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Комбефер и повстанцы с обеих баррикад сбежались в нижнюю залу.

Жавер, стоявший у столба и так оплетенный веревками, что не мог пошевельнуться, поднял голову с неустрашимым спокойствием никогда не лгавшего человека.

— Это сыщик, — сказал Анжольрас. — И, обернувшись к Жаверу, добавил: — Вас расстреляют за десять минут до того, как баррикада будет взята.

В ответ Жавер высокомерным тоном спросил:

— Почему же не сейчас?

— Мы бережем порох.

— В таком случае прикончите меня ударом ножа.

— Шпион, — ответил красавец Анжольрас, — мы судьи, а не убийцы.

Затем он позвал Гавроша:

— Ну, а ты отправляйся по своим делам! Выполни, что я тебе сказал.

— Иду, — крикнул Гаврош.

И уже на пороге, на минутку задержавшись, сказал:

— Кстати, вы мне отдадите его ружье! — И прибавил: — Я оставляю вам музыканта, но хочу получить кларнет.

Мальчик отдал честь по-военному и весело проскользнул в проход большой баррикады.

#### Глава 8

#### Несколько вопросительных знаков по поводу некоего Кабюка, который, быть может, и не именовался Кабюком

Трагическое описание, предпринятое нами, не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и жизненной выразительности эти великие часы рождения революции, часы высоких социальных усилий, сопряженных с мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброске исполненный эпического и дикого ужаса случай, последовавший тотчас после ухода Гавроша.

Скопища людей, как известно, подобны снежному кому; катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, в которой не спрашивают, кто откуда пришел. Среди прохожих, присоединившихся к сборищу, руководимому Анжольрасом, Комбефером и Курфейраком, находился некто, одетый в потертую на спине куртку грузчика; он размахивал руками, вопил и был похож на буйного пьяницу. Этот человек, именовавшийся или принявший имя Кабюк, по сути совершенно неизвестный тем, которые утверждали, будто его знают, сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за столом, который они вытащили из кабачка. Этот Кабюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал:

— Товарищи, знаете что? Вон из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда — черта с два! — никто не пройдет по улице!

— Да, но дом заперт, — сказал один из его собутыльников.

— А мы постучимся.

— Не откроют.

— Высадим дверь!

Тут Кабюк бежит к двери, возле которой висит весьма увесистый молоток, и стучится. Дверь не открывают. Он стучит во второй раз. Никто не отвечает. Третий раз. То же молчание.

— Есть тут кто-нибудь? — кричит Кабюк.

Никаких признаков жизни.

Тогда он хватает ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь была старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая, из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой, — настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддалась.

Тем не менее жильцы дома, вероятно, встревожились: на третьем этаже осветилось и открылось, наконец, слуховое квадратное оконце. В оконце показалась свеча и благообразное испуганное лицо седовласого старика привратника.

Кабюк перестал стучать.

— Что вам угодно, господа? — спросил привратник.

— Отворяй! — потребовал Кабюк.

— Господа, это невозможно.

— Отворяй сейчас же.

— Нельзя, господа!

Кабюк взял ружье и прицелился в привратника, но так как он стоял внизу и было очень темно, то привратник этого не видел.

— Ты отворишь? Да или нет?

— Нет, господа!

— Ты говоришь — нет?

— Я говорю — нет, милостивые...

Привратник не договорил. Раздался выстрел; пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронизав шейную вену. Старик свалился без единого стона. Свеча упала и потухла, и ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца, и беловатого дымка, поднимавшегося к крыше.

— Так! — сказал Кабюк, опустив ружье прикладом на мостовую.

Едва он произнес это слово, как почувствовал чью-то руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос:

— На колени.

Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжольраса. Анжольрас держал в руке пистолет.

Он пришел на звук выстрела.

Левой рукой он схватил ворот блузы, рубаху и подтяжки Кабюка.

— На колени, — повторил он.

И властным движением согнув, как тростинку, коренастого, здоровенного крючника, хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кабюк пытался сопротивляться, но, казалось, был схвачен рукой сверхчеловеческой силы.

Бледный, с обнаженной шеей и разметавшимися волосами, Анжольрас женственным своим лицом напоминал в эту минуту античную Фемиду. Раздувавшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю то выражение неумолимого гнева и чистоты, которое, в представлении Древнего мира, подобает правосудию.

Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль, чувствуя невозможность произнести хотя бы слово перед тем, что им предстояло увидеть.

Побежденный Кабюк не пытался больше отбиваться и дрожал всем телом. Анжольрас отпустил его и вынул часы.

— Соберись с силами, — сказал он. — Молись или размышляй. У тебя осталась одна минута.

— Пощадите! — пролепетал убийца; потом он опустил голову и пробормотал несколько невнятных ругательств.

Анжольрас не сводил глаз с часовой стрелки; выждав минуту, он сунул часы в карман. Потом, схватив за волосы Кабюка, который, скорчившись и завывая, жался к его коленям, он приблизил к его уху дуло пистолета. Многие из этих отважных людей, так спокойно отправившихся на самое рискованное и страшное предприятие, отвернулись.

Раздался выстрел, убийца упал ничком на мостовую, Анжольрас выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом.

Потом он толкнул ногою труп и сказал:

— Выбросьте это вон.

Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшееся в последних непроизвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили его через малую баррикаду на улицу Мондетур.

Анжольрас стоял задумавшись. Выражение какого-то мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли.

— Граждане, — сказал Анжольрас, — то, что сделал этот человек, гнусно, а то, что сделал я, — ужасно. Он убил, и вот почему я убил его. Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь — большее преступление, чем где бы то ни было: на нас взирает революция, мы жрецы Республики, мы священные жертвы долга, и не следует давать другим повод оклеветать нашу борьбу. Поэтому я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я осудил также и себя, и вы скоро увидите, к чему я себя приговорил.

Слушавшие содрогнулись.

— Мы разделим твою участь! — крикнул Комбефер.

— Пусть так, — ответил Анжольрас. — Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости, но необходимость — чудовище старого мира; там необходимость называлась Роком. Закон же прогресса в том, что чудовища рассеиваются перед лицом ангелов и Рок исчезает перед лицом Братства. Сейчас не время для слова «любовь». И все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь — тебе будущее! Смерть, я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу! Граждане, в грядущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Так же как не будет больше Сатаны, не будет больше и Михаила Архангела. В грядущем никто не станет никого убивать, земля будет сиять, род человеческий — любить. Граждане, он придет, тот день, когда все станет согласием, гармонией, светом, радостью и жизнью, он придет! И вот, для того чтобы он пришел, мы идем на смерть.

Анжольрас умолк. Его целомудренные уста сомкнулись; неподвижно, точно мраморное изваяние, стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружавших говорить вполголоса.

Жан Прувер и Комбефер молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом, к которому примешивалось сострадание, смотрели на строгое лицо этого юноши, палача и жреца, светлого, как кристалл, и твердого, как скала.

Скажем тут же, что позднее, после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году.

Добавим также, что, если верить странному, но, вероятно, обоснованному полицейскому преданию, Кабюк был не кто иной, как Звенигрош. Во всяком случае, после смерти Кабюка больше никто не слышал о Звенигроше. Исчезнув, Звенигрош не оставил за собой никакого следа; казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец — тьмою.

Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса.

Этот юноша, смелый и беззаботный на вид, с наступлением ночи вернулся, чтобы вновь присоединиться к повстанцам.

### Книга тринадцатая

### Мариус уходит во мрак

#### Глава 1

#### От улицы Плюме до квартала Сен-Дени

Голос в сумерках, позвавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврери, показался ему голосом рока. Он хотел умереть, и ему представился к этому случай; он стучался в ворота гробницы, и рука во тьме протягивала ему ключ от них. Зловещий выход, открывающийся во мраке отчаянию, всегда полон соблазна. Мариус раздвинул прутья решетки, столько раз пропускавшей его, вышел из сада и сказал: «Пойдем!»

Обезумев от горя, не в силах принять какое-либо твердое решение, неспособный отныне согласиться ни с чем, что предложила бы ему судьба после этих двух месяцев опьянения молодостью и любовью, одолеваемый самыми мрачными мыслями, какие только может внушить отчаяние, он хотел лишь одного — скорее покончить с жизнью.

Он пошел быстрым шагом. У него были при себе пистолеты Жавера, таким образом, он оказался вооруженным.

Молодой человек, которого он мельком увидел, скрылся из виду где-то на повороте улицы.

Мариус, выйдя с улицы Плюме бульваром, пересек эспланаду и мост Инвалидов, Елисейские поля, площадь Людовика XV и очутился на улице Риволи. Здесь магазины были открыты, под аркадами горел газ, женщины делали покупки в лавках; в кафе «Летер» ели мороженое, а в английской кондитерской — пирожки. Лишь несколько почтовых карет пронеслись галопом, выехав из гостиниц «Пренс» и «Мерис».

Через пассаж Делорм Мариус вышел на улицу Сент-Оноре. Здесь лавки были заперты, торговцы переговаривались у полуотворенных дверей, по тротуарам сновали прохожие, фонари были зажжены, все окна, начиная со второго этажа, были освещены, как обычно. На площади Пале-Рояль стояла кавалерия.

Мариус пошел по улице Сент-Оноре. По мере того как он удалялся от площади Пале-Рояль, освещенных окон попадалось все меньше, лавки были наглухо закрыты, на порогах домов никто не переговаривался, улица становилась все темнее, а толпа людей все гуще, ибо прохожие теперь собирались толпой. В этой толпе никто как будто не произносил ни слова, и, однако, оттуда доносилось глухое, низкое гудение.

По дороге к фонтану Арбр-Сэк попадались «сборища» — неподвижные и мрачные группы людей, которые среди прохожих напоминали камни в потоке воды.

У въезда на улицу Прувер толпа больше не двигалась. То была стойкая, внушительная, крепкая, плотная, почти непроницаемая глыба из тесно сгрудившихся людей, которые тихонько толковали между собой. Тут почти не было сюртуков или круглых шляп — всюду рабочие балахоны, блузы, фуражки, взъерошенные волосы и землистые лица. Все это скопище смутно колыхалось в ночном тумане. В глухом говоре толпы был хриплый отзвук закипающих страстей. Хотя никто не двигался, слышно было, как переступают ноги в грязи. По ту сторону этой толщи людей, на улицах Руль, Прувер и в конце улицы Сент-Оноре, не было ни одного окна, в котором горел бы огонек свечи. Виднелись только убегающие вдаль и меркнущие в глубине улиц цепочки фонарей. Фонари того времени напоминали подвешенные на веревках большие красные звезды, отбрасывавшие на мостовую тень, похожую на громадного паука. Улицы не были пустынны. Там можно было различить ружья в козлах, покачивавшиеся штыки и стоявшие биваком войска. Ни один любопытный не переходил этот рубеж. Там движение прекращалось. Там кончалась толпа и начиналась армия.

Мариус стремился туда с настойчивостью человека, потерявшего надежду. Его позвали, значит, нужно было идти. Ему удалось пробиться сквозь толпу, сквозь биваки отрядов, он ускользнул от патрулей и избежал часовых. Сделав крюк, он вышел на улицу Бетизи и направился к рынку. На углу улицы Бурдоне фонарей больше не было.

Миновав зону толпы, он перешел границу войск и очутился среди чего-то страшного. Ни одного прохожего, ни одного солдата, ни проблеска света, никого; безлюдье, молчание, ночь; неведомый, пронизывающий холод. Войти в такую улицу все равно что войти в погреб.

Он продолжал двигаться вперед.

Он сделал несколько шагов. Кто-то бегом промчался мимо. Кто это был? Мужчина? Женщина? Было ли их несколько? Он не мог этого сказать. Тень мелькнула и исчезла.

Окольными путями он вышел в переулок, решив, что это Гончарная улица; в середине этой улицы он натолкнулся на препятствие. Он протянул руки вперед. То была опрокинутая тележка; он чувствовал под ногами лужи, выбоины, разбросанный и наваленный булыжник. Здесь была начатая и покинутая баррикада. Перебравшись через кучи булыжника, он очутился по другую сторону заграждения. Он шел у самых уличных тумб и находил дорогу по стенам домов. Ему показалось, будто немного поодаль от баррикады промелькнуло что-то белое. Он приблизился, и это белое приняло определенную форму. То были две белые лошади — те, которых Боссюэ утром выпряг из омнибуса. Они брели весь день наугад, из улицы в улицу и в конце концов остановились здесь с тупым терпением животных, которые в такой же степени постигают действия человека, в какой человек — пути провидения.

Мариус прошел мимо них. Когда он подходил к улице, показавшейся ему улицей Общественного договора, откуда-то грянул ружейный выстрел, и просвистевшая совсем близко от него пуля, наугад прорезая мрак, пробила над его головой медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году на улице Общественного договора в углу рыночной колоннады можно было увидеть этот продырявленный таз для бритья.

Ружейный выстрел был все же проявлением жизни. Но с этой минуты больше ничего не случилось.

Весь его путь походил на спуск по черным ступеням.

И все же Мариус шел вперед.

#### Глава 2

#### Париж — глазами совы

Существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, которое парило бы в это время над Парижем, увидело бы мрачную картину.

Весь старый квартал Центрального рынка, пересеченный улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, образующий как бы город в городе, являющийся местом скрещения тысячи переулков и превращенный повстанцами в свой оплот и укрепление, предстал бы перед этим крылатым существом какой-то громадной темной ямой, вырытой в самом сердце Парижа. Здесь взгляд погружался в пропасть. Разбитые фонари, закрытые окна — это исчезновение всякого света, всякой жизни, всякого шума, всякого движения. Невидимый дозор мятежа бодрствовал повсюду и поддерживал порядок, то есть ночной мрак. Погрузить малое количество людей во всеобъемлющую тьму, так сказать, умножить число бойцов с помощью всех тех средств, которыми эта темнота располагает, — вот необходимая тактика восстания. На исходе дня каждое окно, где зажигали свечу, разбивалось пулей. Свет потухал, а иногда лишался жизни и обитатель. Поэтому все замерло там. В домах царили только страх, печаль и оцепенение; на улицах — какой-то священный ужас. Нельзя было различить ни длинных рядов окон и этажей, ни зубчатых выступов труб и крыш, ни тех смутных бликов, которыми отсвечивает грязная и влажная мостовая. Око, взиравшее с высоты на этот сгусток тьмы, быть может, уловило бы там и сям мерцавший свет, подобный огонькам, блуждающим среди развалин; этот свет выхватывал из мрака ломаные и причудливые линии, очертания странных сооружений: там были баррикады. Остальное представлялось озером темноты, туманным, гнетущим, унылым. Над ним вставали неподвижные и зловещие силуэты: башня Сен-Жак, церковь Сен-Мерри и два или три других громадных здания, которые человек создает гигантами, а ночь превращает в призраки.

Всюду, вокруг этого пустынного и внушавшего тревогу лабиринта, в кварталах, где парижская суматоха не стихла окончательно и где горело несколько редких фонарей, воздушный наблюдатель мог бы различить металлическое поблескивание сабель и штыков, глухой грохот артиллерии и движение молчаливых батальонов, возраставшее с каждой минутой; он увидел бы страшный пояс, который стягивался и медленно смыкался вокруг восставших.

Обложенный войсками квартал был теперь чем-то вроде чудовищной пещеры; там все казалось уснувшим или неподвижным, и, как мы видели, каждая улица, в которую удавалось пробраться, встречала человека только мраком.

Мраком первобытным, полным ловушек, чреватым неведомыми и опасными столкновениями, куда страшно было проникнуть и где жутко было остаться; входящие трепетали перед теми, кто поджидал их, ожидавшие дрожали перед теми, кто приближался. За каждым поворотом улиц — невидимые бойцы в засадах, грозящие смертью западни, скрытые в толщах мрака. Тут был конец всему. Никакой надежды отныне на иной свет, кроме вспышки ружейного выстрела, на иную встречу, кроме внезапного и короткого знакомства со смертью. Где? Как? Когда? Никто не знал. Но это было бесспорно и неизбежно. Здесь, в этом месте, избранном для борьбы, правительство и восстание, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятежники собирались схватиться врукопашную ощупью, наугад. Для одних и для других необходимость этого была одинаковой. Отныне оставался лишь один исход — выйти отсюда победителями или сойти в могилу. Положение было настолько напряженным, тьма настолько непроницаемой, что самые робкие проникались решимостью, а самые смелые — ужасом.

Впрочем, обе стороны не уступали друг другу в ярости, ожесточении и решимости. Для одних идти вперед — значило умереть, и никто не думал отступать, для других остаться — значило умереть, но никто не думал бежать.

Необходимость требовала, чтобы завтра все закончилось, чтобы победу одержала та или другая сторона, чтобы восстание стало революцией или оказалось лишь неудавшимся дерзким предприятием. Правительство это понимало так же, как и повстанцы; ничтожнейший буржуа чувствовал это. Отсюда и мучительное беспокойство, усугубляемое беспросветным мраком этого квартала, где все должно было решиться, отсюда и нарастающая тревога вокруг этого молчания, которому предстояло разразиться катастрофой. Здесь был слышен только один звук, раздирающий сердце, как хрипение, угрожающий, как проклятие: набат Сен-Мерри. Нельзя было представить ничего более леденящего душу, чем растерянный, полный отчаяния вопль этого колокола, жалостно сетующего во мгле.

Как это часто бывает, природа, казалось, дала согласие на то, что люди готовились делать. Ничто не нарушало горестной гармонии целого. Звезды исчезли, тяжелые облака затянули весь горизонт своими угрюмыми складками. Над мертвыми улицами распростерлось черное небо, точно исполинский саван над исполинской могилой.

Пока битва, еще всецело политическая битва, подготовлялась на том самом месте, которое уже видело столько революционных событий, пока юношество, тайные общества, школы — во имя принципов, а средний класс — во имя корысти приближались друг к другу, чтобы столкнуться и повергнуть друг друга в прах, пока каждый торопил и призывал последний и решительный час, — вдали и вне рокового квартала, в глубочайших бездонных низинах того старого отверженного Парижа, который теряется в блеске Парижа счастливого и пышущего изобилием, слышалось глухое рокотание сурового голоса народа.

Голоса, устрашающего и священного, который слагается из рычания зверя и из слова божьего, который ужасает слабых и предупреждает мудрых, который звучит одновременно снизу, как львиный рык, и с высоты, как глас громовый.

#### Глава 3

#### Последний рубеж

Мариус дошел до Центрального рынка.

Здесь все было еще безмолвнее, еще мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Казалось, леденящий покой гробницы изошел от земли и распростерся под небом.

Какое-то красноватое зарево, однако, вырисовывало на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шанврери со стороны церкви Сент-Эсташ. То был отблеск факела, горевшего на баррикаде «Коринфа». Мариус двинулся по направлению к этому зареву. Оно привело его к Свекольному рынку, и Мариус разглядел мрачное устье улицы Проповедников. Он вошел туда. Сторожевой пост повстанцев, карауливший на другом конце, не заметил его. Он чувствовал близость того, что искал, и шел, легко и бесшумно ступая. Так он добрался до крутого поворота улочки Мондетур, короткий отрезок которой, как помнит читатель, служил единственным средством сообщения с внешним миром, которое сохранил Анжольрас. Выглянув из-за угла последнего дома с левой стороны, Мариус осмотрел отрезок переулка Мондетур.

Немного подальше от черного угла этого переулка и улицы Шанврери, отбрасывающего широкое полотнище тени туда, где он схоронился, он увидел тусклый блик на мостовой, смутно различил кабачок, а за ним мигавшую плошку, которая стояла на какой-то бесформенной стене, и людей, прикорнувших с ружьями на коленях. Все это находилось туазах в десяти от него. То была внутренняя часть баррикады.

Дома, окаймлявшие улочку справа, скрывали от него остальную часть кабачка, большую баррикаду и знамя.

Мариусу оставалось сделать только один шаг.

Тогда несчастный юноша присел на тумбу, скрестил руки и стал думать о своем отце.

Он думал о героическом полковнике Понмерси, об отважном солдате, который при Республике охранял границы Франции, а при императоре достиг границ Азии, который видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин, Москву, который проливал свою кровь на всех бранных полях Европы — ту же кровь, что текла в жилах Мариуса, — и поседел раньше времени, подчиняясь сам и подчиняя других жесткой дисциплине; который прожил жизнь в мундире, с застегнутой портупеей, с густой, свисающей на грудь бахромой эполет, с почерневшей от пороха кокардой, с каской, давящей на лоб, в полевых бараках, в лагерях, на биваках, в госпиталях и который после двадцати лет великих войн вернулся с рубцами на лице, улыбающийся, простой, спокойный, ясный и чистый, как дитя, все сделав для Франции и ничего против нее.

Мариус говорил себе, что и его день настал, и его час, наконец, пробил, что по примеру отца он также должен быть смелым, неустрашимым, отважным, должен идти навстречу пулям, подставлять свою грудь под штыки, проливать свою кровь, искать врага, искать смерти, что и он, в свою очередь, будет воевать и выйдет на поле битвы, что это поле битвы — улица, а эта война — гражданская война.

Он увидел гражданскую войну, разверзшуюся перед ним, подобно пропасти, и в эту пропасть ему предстояло ринуться.

Тогда он содрогнулся.

Он вспомнил отцовскую шпагу, которую его дед продал старьевщику и о которой он так горько сожалел. Он говорил себе, что она правильно поступила, эта доблестная и незапятнанная шпага, ускользнув от него и гневно уйдя во мрак; что, если она так бежала, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, значит, она предчувствовала мятеж, войну в сточных канавах, уличную войну, стрельбу через отдушины погребов, удары, наносимые и получаемые в спину; что она, эта шпага, вернувшаяся с полей Маренго и Фридланда, не хотела идти на улицу Шанврери и после подвигов, свершенных с отцом, иного свершать с сыном не желала! Он говорил себе, что если бы эта шпага была с ним, если бы, приняв ее у изголовья умершего отца, он осмелился бы взять ее и принести с собой на это ночное сражение французов с французами на уличном перекрестке, она, наверное, обожгла бы ему руки и запылала перед ним, как меч архангела! Какое счастье, говорил он себе, что она исчезла. Как это хорошо, как справедливо! Какое счастье, что дед его оказался подлинным хранителем славы отца: ведь лучше шпаге полковника быть проданной с молотка, достаться старьевщику, быть брошенной в железный лом, чем обагрять сегодня кровью грудь отечества.

И он горько заплакал.

Это было ужасно. Но что же делать? Жить без Козетты он не мог. Раз она уехала, остается только умереть. Ведь он поклялся ей, что умрет! Она уехала, зная об этом, значит, она хочет, чтобы он умер. Ясно, что она его больше не любит, если исчезла, даже не уведомив его, не сказав ни слова, не послав письма, хотя знала его адрес! Ради чего и зачем теперь жить? И потом, как же это? Прийти сюда и отступить! Приблизиться к опасности и бежать! Увидеть баррикаду и улизнуть! Улизнуть, дрожа от страха и думая про себя: «Довольно, с меня хватит, я видел, и этого достаточно; это гражданская война, я ухожу!» Покинуть друзей, которые его ожидают, которые, быть может, в нем нуждаются! Эту горсточку, противостоявшую целой армии! Изменить всему сразу: любви, дружбе, слову! Оправдать свою трусость патриотизмом! Но это было невозможно. Если бы призрак отца появился здесь, во мраке, и увидел, что сын отступил, то отстегал бы его ножнами шпаги и крикнул бы ему: «Иди же, трус!»

Раздираемый противоречивыми мыслями, Мариус опустил голову.

Но вдруг он снова поднял ее. Нечто вроде торжественного просветления свершилось в его уме. Близость могилы расширяет горизонт мысли; когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина. Видение битвы, в которую он чувствовал себя готовым вступить, предстало перед ним, но уже не жалким, а величественным. Благодаря какой-то неведомой внутренней работе души уличная война внезапно преобразилась перед его умственным взором. Все неразрешимые вопросы, осаждавшие его во время раздумья, снова вернулись к нему беспорядочной толпой, но не смущали его более. На каждый из них был теперь ответ.

Рассудим, почему отец мог возмутиться? Разве не бывает случаев, когда восстание возвышается до степени исполняемого долга? В какой же мере для сына полковника Понмерси могло быть унизительным завязывающееся сражение? Это не Монмирайль, ни Шампобер, это нечто другое. Борьба идет не за священную землю отчизны, но за святую идею. Родина скорбит, пусть так; зато человечество приветствует восстание. Впрочем, действительно ли родина скорбит? Франция истекает кровью, но свобода радуется; а если свобода радуется, Франция забывает о своей ране. И затем, если смотреть на вещи шире, то что можно сказать о гражданской войне?

Гражданская война! Что это значит? Разве есть война с иноземцами? Разве всякая война между людьми — не война между братьями? Война определяется лишь ее целью. Нет ни войн с иноземцами, ни войн гражданских; есть только война несправедливая и война справедливая. До того дня, когда будет заключено великое человеческое соглашение, война, по крайней мере та, которая является порывом спешащего будущего против мешкотного прошлого, может быть необходимой. В чем могут упрекнуть такую войну? Война становится постыдной, а шпага становится кинжалом убийцы только тогда, когда она наносит смертельный удар праву, прогрессу, разуму, цивилизации, истине. В этом случае война, — будь она гражданской или против иноземцев, — равно несправедлива, и имя ее — преступление. Помимо этого священного условия — справедливости, по какому праву одна форма войны будет презирать другую? По какому праву шпага Вашингтона может служить отрицанием пики Камилла Демулена? Леонид против иноземца, Тимолеон против тирана, — который из них более велик? Один защитник, другой освободитель. Возможно ли клеймить позором всякое вооруженное выступление внутри государства, не задаваясь вопросом о его цели? В таком случае наложите печать бесчестья на Брута, Марселя, Арну де Бланкенгейма, Колиньи. Партизанская война? Уличная война? Почему же нет? Ведь такова война Амбиорикса, Артевелде, Марникса, Пелагия. Но Амбиорикс боролся против Рима, Артевелде — против Франции, Марникс — против Испании, Пелагий — против мавров; все — против внешнего врага. Так вот, монархия — это и есть внешний враг; угнетение — внешний враг; «священное право» — внешний враг. Деспотизм нарушает моральные границы, подобно тому как вторжение врага нарушает границы географические. Изгнать тирана или изгнать англичан — это в обоих случаях значит: освободить свою территорию. Наступает час, когда недостаточно только возражать; за философией должно следовать действие; живая сила заканчивает то, что наметила идея. «Скованный Прометей» начинает, Аристогитон заканчивает. «Энциклопедия» просвещает души, 10 августа их воспламеняет. После Эсхила — Фразибул; после Дидро — Дантон. Народ стремится найти руководителя. В массе он сбрасывает с себя апатию. Толпу легко сплотить в повиновении. Людей нужно расшевеливать, расталкивать, не давать покоя ради самого блага их освобождения, нужно колоть им глаза правдой, метать в них грозный свет полными пригоршнями. Нужно, чтобы они сами были слегка поражены собственным спасением; этот ослепительный свет пробуждает их. Отсюда необходимость набатов и битв. Нужно подняться великим воинам, озарить народы дерзновением и встряхнуть это несчастное человечество, над которым нависает мрак священного права, цезаристской славы, грубой силы, фанатизма, безответственной власти и самодержавных величеств; встряхнуть это скопище, тупо созерцающее мрачное торжество ночи во всем его сумеречном великолепии. Долой тирана! Как? О ком вы говорите? Вы называете Луи-Филиппа тираном? Нет, не больше, чем Людовика XVI. Оба они из тех, кого история обычно называет «добрыми королями»; но принципы не дробятся, логика истины прямолинейна, а свойство истины не оказывать снисхождения; стало быть, никаких уступок; всякое нарушение человеческих прав должно быть пресечено, Людовик XVI воплощает «священное право», Луи-Филипп тоже, *потому что он Бурбон;* оба в известной мере олицетворяют захват права, и, чтобы устранить всемирно распространенную узурпацию права, до́лжно с ними сразиться; так нужно, потому что всегда начинала именно Франция. Когда во Франции ниспровергается властелин, он ниспровергается всюду. Словом, вновь утвердить социальную правду, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте, подавить всякий зародыш враждебности, возвратив каждого самому себе, уничтожить препятствие, которое королевская власть ставит всеобщему величайшему согласию, вновь поднять человечество на один уровень с правом, — какое дело может быть более справедливым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны созидают мир. Огромная крепость предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихоимства, злоупотреблений, насилий, несправедливостей и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависти. Нужно ее ниспровергнуть. Нужно обрушить эту чудовищную громаду. Победить при Аустерлице — великий подвиг; взять Бастилию — величайший.

Нет человека, который не заметил бы по собственному опыту, что душа — и в этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, — обладает странной способностью рассуждать почти хладнокровно при самых крайних обстоятельствах, и нередко безутешное любовное горе, глубочайшее отчаяние в самых мучительных, в самых мрачных своих монологах обсуждают и оспаривают те или иные положения. К буре чувств примешивается логика, и нить силлогизма вьется, не разрываясь, в скорбном неистовстве мысли. Именно в таком состоянии и находился Мариус.

Размышляя подобным образом, изнеможенный, то полный решимости, то колеблясь и в конечном счете трепеща перед тем, что он собирался сделать, Мариус окидывал блуждающим взором внутреннюю часть баррикады. Там вполголоса разговаривали не покидавшие своих мест повстанцы, и чувствовалось то обманчивое спокойствие, которое знаменует собою последнюю фазу ожидания. Над ними, в слуховом окне третьего этажа, Мариус различал какого-то зрителя или наблюдателя, казавшегося ему как-то по-особому внимательным. То был убитый Кабюком привратник. В отблесках факела, скрытого в груде булыжника, снизу едва можно было разглядеть его голову. Ничто не могло быть более необычным, чем это озаряемое колеблющимся мрачным светом иссиня-бледное, неподвижное, удивленное лицо под вставшими дыбом волосами, с открытыми и застывшими глазами и разинутым ртом, словно из любопытства наклонившееся над улицей. Можно было подумать, что тот, кто умер, всматривается в тех, кому предстоит умереть. От оконца красноватыми струйками спускалась вниз длинная кровяная дорожка, обрываясь на втором этаже.

### Книга четырнадцатая

### Величие отчаяния

#### Глава 1

#### Знамя. Действие первое

Все еще никто не появлялся. На Сен-Мерри пробило десять часов. Анжольрас и Комбефер уселись с карабинами в руках возле прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы даже самый глухой, самый отдаленный шум шагов.

Внезапно в этой зловещей тишине раздался звонкий молодой, веселый голос, казалось доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны», зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха:

Друг Бюго, не спишь ли?

Я от слез опух.

Ты жандармов вышли

Поддержать мой дух.

В голубой шинели,

Кивер на боку.

Пули засвистели!

Ку-кукурику!

Они сжали друг другу руки.

— Это Гаврош, — сказал Анжольрас.

— Он нас предупреждает, — добавил Комбефер.

Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы, какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув:

— Где мое ружье? Они идут!

Электрический ток пробежал по всей баррикаде, послышался шорох рук, нащупывающих ружья.

— Хочешь взять мой карабин? — спросил мальчика Анжольрас.

— Я хочу большое ружье, — ответил Гаврош.

И он взял ружье Жавера.

Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один — стоявший на посту в конце улицы, другой — дозорный с Малой Бродяжной. Дозорный из переулка Проповедников остался на своем месте, — очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся.

Пролет улицы Шанврери, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане.

Каждый занял свое боевое место.

Сорок три повстанца, среди них Анжольрас, Комбефер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баорель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Фейи, с ружьями на прицеле, стояли в окнах обоих этажей «Коринфа».

Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных, грузных шагов ясно послышался со стороны Сен-Ле. Этот гул, сначала слабый, затем более отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, беспрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, не было слышно. То было и молчание, и гул движущейся статуи Командора, но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о какой-то толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались; они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких, как иглы, и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений, которые возникают в дремоте, под сомкнутыми веками, в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела.

Опять настало молчание, точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий потому, что никого не было видно, — казалось, заговорила сама тьма, — крикнул:

— Кто идет?

В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей.

— Французская революция, — взволнованно и гордо ответил Анжольрас.

— Огонь! — скомандовал голос.

Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца пылавшей печи.

Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было очевидно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком.

— Товарищи, — крикнул Курфейрак, — не будем зря тратить порох. Подождем отвечать, пока они не продвинутся дальше по улице.

— И прежде всего, — сказал Анжольрас, — поднимем снова знамя!

Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам. За баррикадой слышался стук шомполов в стволах; отряд снова заряжал ружья.

— У кого из вас хватит отваги? — продолжал Анжольрас. — Кто водрузит знамя над баррикадой?

Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять была взята на прицел, — попросту значило умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжольрас содрогнулся. Он повторил:

— Никто не возьмется?

#### Глава 2

#### Знамя. Действие второе

Стех пор как повстанцы дошли до «Коринфа» и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на дедушку Мабефа. Однако г-н Мабеф не покинул отряда. Он вошел в первый этаж кабачка и уселся позади стойки. Там он как бы целиком погрузился в самого себя. Казалось, он ни на что не смотрит, ни о чем не думает. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждая об опасности и предлагая ему удалиться, но, по-видимому, он их не слышал. Когда его оставляли в покое, его губы шевелились, словно он беседовал с кем-то, но стоило заговорить с ним, как его губы смыкались, а глаза потухали. За несколько часов до того, как баррикада была атакована, он принял позу, которую ни разу с тех пор не изменил. Его сжатые в кулаки руки лежали на коленях, голова наклонилась вперед, словно он заглядывал в пропасть. Ничто не могло вывести его из этого положения; казалось, мысль его витает далеко от баррикады. Когда каждый отправился к своему боевому посту, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столбу Жавера, караулившего его повстанца с обнаженной саблей и Мабефа. Во время атаки, при залпе, он почувствовал сотрясение воздуха, и это как бы пробудило его; он вдруг поднялся, прошел через залу, и как раз в то мгновение, когда Анжольрас повторил свой вопрос: «Никто не возьмется?» — старик появился на пороге кабачка.

Его появление глубоко взволновало повстанцев. Послышались крики:

— Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член Конвента! Представитель народа!

Возможно, г-н Мабеф не слышал этого.

Он направился прямо к Анжольрасу, — повстанцы расступились перед ним с каким-то благоговейным страхом, — вырвал знамя у Анжольраса, который, попятившись назад, окаменел от изумления, затем этот восьмидесятилетний старец, с трясущейся головой, начал твердым шагом медленно всходить по лесенке из булыжника, устроенной на баррикаде; никто не осмелился ни остановить его, ни предложить ему помощь. Это было столь мрачно и столь величественно, что все вокруг вскричали: «Шапки долой!» То было страшное зрелище! С каждой следующей ступенькой эти седые волосы, старческое лицо, огромный облысевший и морщинистый лоб, эти впалые глаза, полуоткрытый от удивления рот, дряхлая рука, поднимавшая красный стяг, выступали из тьмы, вырастая в кровавом свете факелов, и чудилось, что призрак Девяносто третьего года вышел из-под земли со знаменем террора в руках.

Когда он достиг верхней ступеньки, когда это дрожащее и грозное привидение, стоя на груде обломков против тысячи двухсот невидимых ружей, выпрямилось перед лицом смерти, словно было сильнее ее, вся баррикада приняла во мраке сверхъестественный, грандиозный вид.

Наступило молчание, какое бывает только при лицезрении чуда.

Среди этого молчания старик взмахнул красным знаменем и крикнул:

— Да здравствует Революция! Да здравствует Республика! Братство! Равенство! И смерть!

На баррикаде услышали быстрый и тихий говорок, похожий на шепот торопящегося закончить молитву священника. Вероятно, то был полицейский пристав, который с другого конца улицы предъявлял именем закона требование «разойтись».

Затем тот же громкий голос, что спрашивал: «Кто идет?» — крикнул:

— Уходите прочь!

Господин Мабеф, мертвенно-бледный, исступленный, со зловещими огоньками безумия в глазах, поднял знамя над головой и повторил:

— Да здравствует Республика!

— Огонь! — скомандовал голос.

Второй залп, подобный урагану картечи, обрушился на баррикаду.

У старика подогнулись колени, затем он снова выпрямился, уронил знамя и упал, как доска, навзничь, на мостовую, вытянувшись во весь рост и раскинув руки.

Ручейки крови побежали из-под него. Старческое бледное и печальное лицо было обращено к небу.

Одно из тех чувств, над которыми не властен человек и которые заставляют забыть даже об опасности, охватило повстанцев, и они с почтительным страхом приблизились к трупу.

— Что за люди эти цареубийцы! — воскликнул Анжольрас.

Курфейрак прошептал ему на ухо:

— Скажу только одному тебе, я не хочу охлаждать восторг. Да он меньше всего цареубийца. Я был с ним знаком. Его звали дедушка Мабеф. Не знаю, что с ним случилось сегодня, но этот скудоумный оказался храбрецом. Ты только взгляни на его лицо.

— Голова скудоумного, а сердце Брута, — ответил Анжольрас.

Затем он повысил голос:

— Граждане! Вот пример, который старики подают молодым. Мы колебались, а он решился. Мы отступили перед опасностью, а он пошел ей навстречу! Вот чему те, кто трясется от старости, учат тех, кто трясется от страха! Этот старец исполнен величия перед лицом родины. Он долго жил и со славою умер! А теперь укроем в доме этот труп, пусть каждый из нас защищает этого мертвого старика, как защищал бы своего живого отца, и пусть его присутствие среди нас сделает баррикаду непобедимой!

Гул угрюмых и решительных голосов, выражающий согласие, последовал за этими словами.

Анжольрас наклонился, приподнял голову старика и, по-прежнему суровый, поцеловал его в лоб, затем, отведя назад его руки и с нежной осторожностью касаясь мертвеца, словно боясь причинить ему боль, он снял с него сюртук, показал всем окровавленные дыры и сказал:

— Отныне вот наше знамя.

#### Глава 3

#### Гаврош сделал бы лучше, если бы согласился взять карабин Анжольраса

Дедушку Мабефа покрыли длинной черной шалью вдовы Гюшлу. Шесть человек сделали из своих ружей носилки, положили на них тело и, обнажив головы, ступая с торжественной медлительностью, отнесли его на большой стол в нижней зале.

Эти люди, целиком занятые тем священным и важным, что они делали, больше не думали о грозившей им опасности.

Когда труп проносили мимо Жавера, хранившего свою невозмутимость, Анжольрас сказал шпиону:

— Скоро и тебя!

В это время Гаврошу, единственному, кто не покинул своего поста и остался в дозоре, показалось, что какие-то люди тихонько подкрадываются к баррикаде. Он тотчас закричал:

— Берегись!

Курфейрак, Анжольрас, Жан Прувер, Комбефер, Жоли, Баорель, Боссюэ беспорядочной гурьбой выбежали из кабачка. Уже почти не оставалось времени. Они увидели густое поблескивание штыков, колыхавшихся над баррикадой. Рослые солдаты муниципальной гвардии, одни, перелезая через омнибус, другие, воспользовавшись проходом, пробрались внутрь, оттесняя мальчика, который хотя и отступал назад, но не бежал.

Мгновение было решительным. То была первая опасная минута наводнения, когда река поднимается в уровень с насыпью и вода начинает просачиваться сквозь щели в плотине. Еще секунда, и баррикада была бы взята.

Баорель бросился на первого появившегося гвардейца и убил его выстрелом в упор; второй заколол Баореля ударом штыка. Третий уже опрокинул наземь Курфейрака, кричавшего: «Ко мне!» Самый высокий из всех, настоящий великан, шел на Гавроша, выставив вперед штык. Мальчуган поднял своими ручонками огромное ружье Жавера, решительно нацелился в гиганта и спустил курок. Выстрела не последовало. Жавер не зарядил ружья. Гвардеец расхохотался и занес над ребенком штык.

Прежде чем штык коснулся Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата: чья-то пуля ударила его прямо в лоб, и он упал на спину. Вторая пуля ударила в самую грудь гвардейца, напавшего на Курфейрака, и свалила его на мостовую.

То был Мариус, только что появившийся на баррикаде.

#### Глава 4

#### Бочонок с порохом

Скрываясь за поворотом улицы Мондетур, Мариус, охваченный трепетом и сомнением, присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Безмерная опасность, смерть г-на Мабефа — эта скорбная загадка, убитый Баорель, крик Курфейрака: «Ко мне!», ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщении, — все это сразу рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым освободил Курфейрака.

Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление, на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в одну толпу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместья, с ружьями наготове. Они занимали уже более двух третей заграждения, но не прыгали внутрь баррикады, точно колебались, боясь какой-то ловушки. Они смотрели вниз в темноту, словно в львиное логово. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные, раздраженные лица.

У Мариуса не было больше оружия, он бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале, возле дверей, он заметил бочонок с порохом.

Когда, полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться. Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука схватила конец дула и закрыла его. Это был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел, пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он упал, — но не задела Мариуса. Все это, казалось, скорее могло померещиться в дыму, чем произойти в действительности. Мариус, входивший в нижнюю залу, едва заметил это. Однако он смутно видел направленный на него ствол ружья, руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в такие минуты все, что видит человек, мелькает перед ним, несется, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь неясно чувствует, что этот вихрь увлекает его к еще большему мраку и все вокруг него в тумане.

Повстанцы, захваченные врасплох, но не устрашенные, вновь стянули свои силы. Анжольрас крикнул: «Подождите! Не стреляйте наугад!» Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друга друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения, оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в их числе Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер и Комбефер, открыто отошли к домам, поднимавшимся позади кабачка, и гордо встали лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады.

Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга в упор на таком близком расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. Офицер, в металлическом нагруднике и густых эполетах, протянул шпагу вперед и крикнул:

— Сдавайтесь!

— Огонь! — ответил Анжольрас.

Оба залпа раздались одновременно, и все исчезло в дыму.

Дым был едкий и удушливый, и в нем, слабо и глухо стеная, ползли раненые и умирающие.

Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, они молча заряжали ружья.

Внезапно послышался громовой голос:

— Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду!

Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос. Мариус, войдя в нижнюю залу, взял там бочонок пороха, затем, воспользовавшись дымом и туманной мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, где был укреплен факел. Вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось, — все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться; и теперь все — национальные гвардейцы, гвардейцы муниципальные, офицеры, солдаты, столпившиеся на другом конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжники с факелом в руке, гордый, одушевленный роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груде, где виднелся разбитый бочонок с порохом, и грозно воскликнул:

— Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду!

Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой.

— Взорвешь баррикаду? — воскликнул какой-то сержант. — Значит, и себя вместе с ней!

Мариус ответил:

— И себя вместе с ней!

И он приблизил факел к бочонку с порохом.

Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули беспорядочной толпой к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было настоящее паническое бегство.

Баррикада была освобождена.

#### Глава 5

#### Конец стихам Жана Прувера

Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею.

— Ты здесь?

— Какое счастье! — воскликнул Комбефер.

— Ты пришел кстати! — сказал Боссюэ.

— Без тебя меня бы уже не было на свете! — вставил Курфейрак.

— Без вас меня бы ухлопали! — прибавил Гаврош.

Мариус спросил:

— Кто тут начальник?

— Ты, — ответил Анжольрас.

Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу, теперь же его мысли превратились в вихрь. Этот вихрь, заключенный в нем самом, казалось ему, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, эта баррикада, г-н Мабеф, принявший смерть за Республику, он сам во главе повстанцев — все это казалось ему чудовищным кошмаром. Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все, происходившее вокруг, стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил, он еще не познал, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что должно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним развертывалась драма его собственной жизни.

В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьи. Мариус даже не заметил его.

Между тем нападавшие больше не появлялись; слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы, однако они не отваживались снова обрушиться на этот неприступный редут, ожидая, быть может, приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых; некоторые, студенты медицинского факультета, принялись перевязывать раненых.

Из кабачка выставили все столы, за исключением двух, оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал дедушка Мабеф; вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфяками вдовы Гюшлу и служанок. На эти тюфяки положили раненых. Что касается трех бедных созданий, живших в «Коринфе», то было неизвестно, что с ними сталось. Однако впоследствии их нашли спрятавшимися в погребе.

Горестное событие омрачило радость освобожденной баррикады.

Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных — Жана Прувера. Поискали среди раненых — его не было. Поискали среди убитых — его не было. Очевидно, он попал в плен.

Комбефер сказал Анжольрасу:

— Они взяли в плен нашего друга; зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика?

— Да, — ответил Анжольрас, — но меньше, чем жизнь Жана Прувера.

Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера.

— Отлично, — ответил Комбефер, — я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентера предложить им обмен пленными.

— Слушай, — сказал Анжольрас, положив руку на плечо Комбефера.

В конце улицы раздалось многозначительное бряцание оружия.

Послышался мужественный голос, крикнувший:

— Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!

То был голос Прувера. Мелькнула молния, и грянул залп. Снова наступила тишина.

— Они его убили! — воскликнул Комбефер.

Анжольрас взглянул на Жавера и сказал:

— Твои друзья сами тебя расстреляли.

#### Глава 6

#### Томление смерти после томления жизни

Особенность войны этого рода в том, что баррикады почти всегда атакуются в лоб, и нападающие, как правило, воздерживаются от обхода, быть может опасаясь засады или боясь углубляться далеко в извилистые улицы. Поэтому-то все внимание повстанцев было направлено на большую баррикаду, которая, очевидно, являлась наиболее угрожаемым местом, где неминуемо должна была снова начаться схватка. Мариус все же подумал о маленькой баррикаде и пошел туда. Она была пустынна и охранялась только плошкой, мигавшей среди булыжников. Впрочем, в переулке Мондетур и на перекрестках Малой Бродяжной и Лебяжьей улиц было совершенно спокойно.

Когда Мариус, произведя осмотр, возвращался обратно, он услышал, как в темноте кто-то тихо позвал его:

— Господин Мариус!

Он вздрогнул, узнав голос, окликнувший его два часа тому назад сквозь решетку на улице Плюме.

Но теперь этот голос казался лишь вздохом.

Он оглянулся и никого не заметил.

Мариус решил, что ослышался, что это был обман чувств, добавленный воображением к тем необыкновенным событиям, которые совершались вокруг. И он сделал еще шаг, желая выйти из того закоулка, где находилась баррикада.

— Господин Мариус! — повторил голос.

На этот раз сомнения не было, Мариус ясно слышал голос; он снова осмотрелся и никого не увидел.

— Я здесь, у ваших ног, — сказал голос.

Он нагнулся и увидел во мраке очертания какого-то живого существа. Оно тянулось к нему. Оно ползло по мостовой. Именно оно и обращалось к нему.

Свет плошки позволял разглядеть блузу, порванные панталоны из грубого плиса, босые ноги и что-то похожее на лужу крови. Мариус различил бледное, поднятое к нему лицо и услышал слова:

— Вы меня не узнаете?

— Нет.

— Эпонина.

Мариус быстро наклонился. Действительно, перед ним была эта несчастная девочка. Она была одета в мужское платье.

— Как вы очутились здесь? Что вы тут делаете?

— Я умираю, — сказала она.

Есть слова и события, пробуждающие людей, подавленных горем. Мариус воскликнул, как бы внезапно проснувшись:

— Вы ранены! Подождите, я отнесу вас в дом. Там вас перевяжут. Вас тяжело ранили? Как мне поднять вас, чтобы не сделать вам больно? Где у вас болит? Боже мой! Помогите! И зачем вы сюда пришли?

Он попытался подсунуть под нее руку, чтобы поднять ее с земли.

При этом он задел ее кисть.

Эпонина слабо вскрикнула.

— Я сделал вам больно? — спросил Мариус.

— Чуть-чуть.

— Но я дотронулся только до вашей руки.

Она подняла руку, и Мариус увидел посреди ладони темное отверстие.

— Что с вашей рукой? — спросил он.

— Она пробита!

— Пробита?

— Да.

— Чем?

— Пулей.

— Каким образом?

— Вы видели наведенное на вас ружье?

— Да, и руку, закрывшую дуло.

— То была моя рука.

Мариус содрогнулся.

— Какое безумие! Бедное дитя! Но тем лучше, если так; это пустяки. Дайте мне отнести вас на постель. Вам сделают перевязку, от простреленной руки не умирают.

Она прошептала:

— Пуля прострелила руку, но вышла через спину. Не стоит брать меня отсюда! Я скажу вам сейчас, как мне помочь намного лучше, чем это сделает доктор. Сядьте возле меня на этот камень.

Он повиновался; она положила голову к нему на колени и, не глядя на него, сказала:

— О, как хорошо! Как мне приятно! Вот и небольно! — Помолчав с минуту, она с усилием подняла голову и взглянула на Мариуса: — Знаете, господин Мариус? Меня злило, что вы ходите в тот сад, — это глупо, потому что я сама показала вам дом, и, кроме того, я должна была понимать, что такой молодой человек, как вы...

Она остановилась и, отгоняя какие-то мрачные мысли, видимо промелькнувшие в ее уме, снова заговорила с раздирающей душу улыбкой:

— Я казалась вам некрасивой, правда? Вот что, — продолжала она, — вы погибли! Теперь никому не уйти с баррикады. Ведь это я привела вас сюда. Вы скоро умрете; я на это и рассчитывала. И все-таки, когда я увидела, что в вас целятся, я закрыла рукой дуло ружья. Как чудно́! А это потому, что я хотела умереть раньше вас. Когда в меня попала пуля, я притащилась сюда, меня не видели, не подобрали. Я ожидала вас, я думала: «Неужели он не придет?» Ах, если бы вы знали! Я от боли рвала зубами блузу, я так страдала! А теперь мне хорошо. Помните тот день, когда я вошла в вашу комнату и когда я смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я вас встретила на бульваре возле прачек? Как распевали там птицы! Это было совсем недавно. Вы мне дали сто су, я вам сказала: «Не нужны мне ваши деньги». Подняли вы по крайней мере монету? Вы ведь небогаты. Я не догадалась сказать вам, чтобы вы ее подняли. Солнце ярко светило, было тепло. Помните, господин Мариус? О, как я счастлива! Все, все скоро умрут.

У нее было безумное и серьезное выражение лица, раздирающее душу. Сквозь разорванную блузу виднелась ее обнаженная грудь. Разговаривая, она прижимала к ней простреленную руку, — там, где было другое отверстие, из которого порой выбивалась струйка крови, как вино из бочки с вынутой втулкой.

Мариус с глубоким состраданием смотрел на эту несчастную девушку.

— Ох, — внезапно простонала она, — опять! Я задыхаюсь!

Она вцепилась зубами в блузу, и ноги ее вытянулись на мостовой.

В этот момент на баррикаде раздался резкий петушиный голос маленького Гавроша. Мальчик, собираясь зарядить ружье, влез на стол и весело распевал популярную в то время песенку:

Увидев Лафайета,

Жандарм невзвидел света:

Бежим! Бежим! Бежим!

Эпонина приподнялась, прислушалась, потом прошептала:

— Это он. — И, повернувшись к Мариусу, добавила: — Там мой брат. Не надо, чтобы он меня видел. Он будет меня ругать.

— Ваш брат? — спросил Мариус, с горечью и болью в сердце думая о своем долге семейству Тенардье, который завещал ему отец. — Кто ваш брат?

— Этот мальчик.

— Тот, который поет?

— Да.

Мариус хотел встать.

— Не уходите! — сказала она. — Теперь уж недолго ждать!

Она почти сидела, но ее голос был едва слышен и прерывался икотой. Временами его заглушало хрипение. Эпонина приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и прибавила с каким-то странным выражением:

— Слушайте, я не хочу разыгрывать с вами комедию. В кармане у меня лежит письмо для вас. Со вчерашнего дня. Мне поручили отправить его почтой. А я его оставила у себя. Мне не хотелось, чтобы оно дошло до вас. Но, быть может, вы за это будете сердиться на меня там, где мы вскоре опять свидимся. Ведь там встречаются, правда? Возьмите письмо.

Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой, — казалось, она уже не чувствовала боли. Затем сунула его руку в карман своей блузы. Мариус в самом деле нащупал там какую-то бумагу.

— Возьмите, — сказала она.

Мариус взял письмо.

Она одобрительно и удовлетворенно кивнула головой.

— Теперь обещайте мне за мой труд...

И она запнулась.

— Что? — спросил Мариус.

— Обещайте мне!

— Обещаю.

— Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую.

Она бессильно опустила голову на колени Мариуса, и ее веки сомкнулись. Он подумал, что эта бедная душа отлетела. Эпонина не шевелилась; внезапно, когда уже Мариус решил, что она навеки уснула, она медленно открыла глаза, в которых стала проступать мрачная глубина смерти, и сказала ему с нежностью, казалось, идущей уже из другого мира:

— А ведь знаете, господин Мариус, я думаю, что была немного влюблена в вас.

Она попыталась еще раз улыбнуться и умерла.

#### Глава 7

#### Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояния

Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвенном лбу, покрытом капельками холодного пота. То не была измена Козетте; то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой.

Он не без внутреннего трепета взял письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается о чем-то важном. Ему не терпелось прочитать его. Так уж создано мужское сердце: едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он тихонько опустил Эпонину на землю и отошел от нее. Какое-то чувство ему говорило, что он не должен читать это письмо возле умершей.

Он подошел к свече в нижней зале. То была маленькая записка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес, написанный женской рукой, был следующий:

*«Господину Мариусу Понмерси, кв. г-на Курфейрака, Стекольная улица, № 16».*

Он сломал печать и прочел:

*«Мой любимый! Увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии.*

Козетта. 4 июня».

Чистота их любви была такова, что Мариус даже не знал почерка Козетты.

То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроила Эпонина. После вечера 3 июня она приняла двойное решение: расстроить замыслы отца и бандитов относительно дома на улице Плюме и разлучить Мариуса с Козеттой. Она обменялась своими лохмотьями с первым встречным молодым шалопаем, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. Это она на Марсовом поле сделала Жану Вальжану многозначительное предупреждение: *Переезжайте*. Жан Вальжан, вернувшись домой, действительно сказал Козетте: «Сегодня вечером мы уезжаем на улицу Вооруженного человека вместе с Тусен. Через неделю мы будем в Лондоне». Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, спешно написала несколько строк Мариусу. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Тусен, непривычная к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Терзаясь беспокойством, Козетта вдруг увидела сквозь решетку переодетую в мужское платье Эпонину, все время бродившую вокруг сада. Козетта подозвала «этого молодого рабочего», дала ему пять франков и письмо, сказав: «Отнесите сейчас же это письмо по адресу». Эпонина положила письмо в карман. Утром, пятого июня, она отправилась к Курфейраку на поиски Мариуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы «увидеть его», — это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса или хотя бы Курфейрака — все для того же, чтобы «увидеть его». Когда Курфейрак сказал ей: «Мы идем на баррикады», ее вдруг озарила мысль броситься навстречу этой смерти, как она бросилась бы навстречу всякой другой, и толкнуть туда Мариуса. Она последовала за Курфейраком и удостоверилась, в каком месте строится баррикада. Мариуса никто не предупреждал, письмо она перехватила; глубоко убежденная, что с наступлением ночи он, как обычно вечером, придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и от имени друзей обратилась к нему с тем призывом, который, как она надеялась, должен был привести его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шанврери. Мы уже видели, что́ она там свершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя: «Пусть никому не достанется!»

Мариус покрыл поцелуями письмо Козетты. Значит, она его любит! На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе: «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился. Ничто не изменилось в злой моей участи». Мечтателям, подобным Мариусу, свойственны минуты крайнего упадка духа, отсюда и вытекают отчаянные решения. Бремя жизни невыносимо, смерть — лучший выход. И тогда он подумал, что ему осталось выполнить два долга: уведомить Козетту о своей смерти, послав ей последнее «прости», и спасти Гавроша от неминуемой гибели, которую приуготовил себе бедный мальчуган, брат Эпонины и сын Тенардье.

У него был при себе тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки:

«Наш брак невозможен. Я просил позволения у моего деда, он отказал; у меня нет средств, и у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя. Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать это, моя душа будет уже подле тебя, она улыбнется тебе».

Мариусу нечем было запечатать это письмо, он просто сложил его вчетверо и написал адрес:

*«Мадемуазель Козетте Фошлеван, кв. г-на Фошлевана, улица Вооруженного человека, № 7».*

Сложив письмо, он немного подумал, снова взял бумажник, открыл его и тем же карандашом написал на первой странице тетради три строки:

*«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп к моему деду г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Марэ».*

Сунув бумажник в карман сюртука, он позвал Гавроша. На голос Мариуса тотчас появилась веселая и выражающая преданность рожица мальчугана.

— Хочешь сделать кое-что для меня?

— Все, что угодно, — ответил Гаврош. — Господи боже мой! Да без вас, ей-ей, мне была бы уже крышка.

— Видишь это письмо?

— Да.

— Возьми его. Уходи сейчас же с баррикады (Гаврош, забеспокоившись, стал почесывать у себя за ухом) и завтра утром вручи его по адресу, мадемуазель Козетте, проживающей у господина Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер седьмой.

Маленький герой ответил:

— Ну хорошо, но... за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет!

— По всем признакам, баррикаду не атакуют раньше чем на рассвете и не возьмут раньше чем завтра к полудню.

Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением.

— Слушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром? — спросил Гаврош.

— Будет слишком поздно. Баррикаду, вероятно, окружат, на всех улицах поставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступай сейчас же.

Гаврош не нашелся что ответить и стоял в нерешительности, печально почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению встрепенувшись, как птица, он взял письмо.

— Ладно, — сказал он.

И пустился бегом по переулку Мондетур.

Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как бы Мариус не нашел какого-либо возражения.

Вот она, эта мысль:

«Еще нет и двенадцати часов, улица Вооруженного человека недалеко, я успею отнести письмо и вовремя вернуться».

### Книга пятнадцатая

### Улица Вооруженного человека

#### Глава 1

#### Бювар-болтун

Что значит бурное волнение целого города в сравнении с душевной бурей? Человек — глубина еще более бездонная, чем народ. Жан Вальжан был во власти ужасного возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрогался так же, как Париж, на пороге грозного и неведомого переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать так же, как и о Париже: «Вот две силы. Дух света и дух тьмы схватились на мосту, над бездной. Который из двух низвергнет другого? Кто кого одолеет?»

Вечером, накануне дня 5 июня, Жан Вальжан в сопровождении Козетты и Тусен перебрался на улицу Вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы.

Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз с тех пор, как они жили вместе, желание Козетты и желание Жана Вальжана не совпали и если не вступили в борьбу, то все же противостояли друг другу. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет: переезжайте, брошенный незнакомцем Жану Вальжану, встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить.

Оба прибыли на улицу Вооруженного человека, молчаливые, не сказав друг другу ни слова, каждого обуревали собственные заботы. Жан Вальжан был так обеспокоен, что не замечал печали Козетты; Козетта была так печальна, что не замечала беспокойства Жана Вальжана.

Жан Вальжан взял с собой Тусен, чего никогда не делал в прежние отлучки. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме, и не мог ни оставить там Тусен, ни открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Тусен, словно ей от века предназначено было служить у Жана Вальжана, не знала любопытства. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором барневильской крестьянки: «Какая уродилась, такая пригодилась; свое дело сполняю; достальное меня не касаемо».

Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта окрестила «неразлучным». Тяжелые сундуки потребовали бы носильщиков, а носильщики — это свидетели. Позвали фиакр к калитке, выходящей на Вавилонскую улицу, и уехали.

Тусен лишь с большим трудом добилась позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой только шкатулку со всем, что нужно для письма, и бювар.

Чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан распорядился отъездом с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариусу. На улицу Вооруженного человека они прибыли, когда уже было совсем темно.

Спать улеглись молча.

Квартира на улице Вооруженного человека выходила окнами на задний двор, была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных комнат, столовой и прилегавшей к столовой кухни с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В жилище этом имелась вся необходимая домашняя утварь.

Люди поддаются успокоению почти так же безрассудно, как и тревоге, — такова человеческая природа.

Едва Жан Вальжан очутился на улице Вооруженного человека, как его беспокойство стихло и постепенно рассеялось. Есть места, которые умиротворяюще действуют на нашу душу. То была безвестная улица с мирными обитателями, и Жан Вальжан почувствовал, что словно заражается безмятежным покоем этой улочки старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда положенным на два столба поперечным брусом, безмолвной и глухой посреди шумного города, сумрачной среди белого дня и, если можно так выразиться, защищенной от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. На этой улице застыло забвение. Жан Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы отыскать здесь?

Его первой заботой было поставить «неразлучный» возле своей постели.

Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить: утро вечера веселее. Жан Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалась прелестной отвратительная столовая, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками Тусен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жана Вальжана.

Что касается Козетты, то она велела Тусен принести ей в комнату бульону и не выходила до самого вечера.

К пяти часам Тусен, хлопотавшая над несложным устройством их новой квартиры, подала на стол в столовой холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отведать.

Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей спальне. Жан Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности.

Во время этого скромного обеда он два или три раза смутно слышал, как Тусен, заикаясь, говорила: «Сударь, крик-шум кругом, дерутся в Париже». Но, поглощенный множеством своих соображений, он не обратил внимания на эти слова. Говоря по правде, он их толком и не разобрал.

Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, испытывая все большую умиротворенность.

Лишь только он успокоился, Козетта, его единственная забота, вновь завладела его мыслями. И не потому, что он был встревожен ее головной болью, этим небольшим нервным расстройством, девичьим капризом, мимолетным облачком, — все это минует через день или два; но он думал о будущем, и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в свою колею их счастливая жизнь. В иную минуту все кажется невозможным, в другую — все представляется легким; у Жана Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной, как день после ночи, по тому закону чередования противоположностей, которое составляет самую сущность природы и умами поверхностными именуется антитезой. В мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Козетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени. Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно, жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта! Козетта была его отечеством, Козетты было довольно для его счастья; мысль же о том, что самого его, быть может, недостаточно для счастья Козетты, — эта мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него, значит, она принадлежит ему; то был оптический обман, действие которого всем знакомо. Мысленно он устраивал, и со всеми возможными удобствами, отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там, в далеких просторах мечты, возрождается его счастье.

Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное.

Прямо напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и ясно прочел следующие четыре строки:

«Мой любимый! Увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии.

*Козетта. 4 июня».*

Жан Вальжан остановился, ничего не понимая.

Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет под зеркалом и, томясь мучительной тревогой, позабыла его там. Она даже не заметила, что оставила его открытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которое она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки эти отпечатались на пропускной бумаге бювара.

Зеркало отражало написанное.

Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением; строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение, и слова обрели свой настоящий смысл; перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариусу.

Это было просто и оглушительно.

Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечел четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация. Это было невозможно. Этого не было.

Мало-помалу его восприятие стало более точным; он взглянул на бювар Козетты, и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бювар и сказал: «Это отсюда». С лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на бюваре; опрокинутые отпечатки букв образовывали какую-то причудливую вязь, лишенную, казалось, всякого смысла. Тогда он подумал: «Но ведь это ничего не означает, здесь ничего не написано» — и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий.

Он держал бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало, и повторилось то же явление. Четыре строчки обозначались там с неумолимой четкостью. Теперь это не было миражем. Повторившееся явление — уже реальность; это было очевидно, это было письмо, правильно восстановленное зеркалом. Он понял.

Жан Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета; голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок его мутился. Он сказал себе, что все это было правдой, что свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. Тогда он услышал, как его вновь озлобившаяся душа испускает во мраке глухое рычание. Попробуйте взять у льва из клетки мясо!

Как это ни было странно и печально, но Мариус еще не получил письмо Козетты; случай предательски преподнес его Жану Вальжану раньше, чем вручить Мариусу.

До этого дня Жан Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам; ни одно из насилий, совершаемых над человеком злой его участью, не миновало его; свирепый рок, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследовал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения; он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стоическим до такой степени, что порою его, подобно мученику, можно было считать отрешившимся от самого себя. Его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, могла казаться навеки неодолимой. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул в глубь его души, то был бы вынужден признать, что она ослабевает.

Из всех мук, которые он перенес в долгой пытке, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знавал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему нерв. Увы, величайшее испытание, скажем лучше, единственное испытание — это утрата любимого существа!

Бедный старый Жан Вальжан, конечно, любил Козетту только как отец; однако, мы уже отметили выше, самое сиротство его жизни включило в это отцовское чувство все виды любви: он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа — это кредитор, не принимающий опротестованного векселя, поэтому чувство любви к женщине, наиболее стойкое из всех, смутное, слепое и чистое чистотой ослепления, безотчетное, небесное, ангельское, божественное, примешивалось ко всем другим. Оно было даже скорее инстинктом, чем чувством, скорее влечением, чем инстинктом, неощутимое и невидимое, но реальное; и в его огромной нежности к Козетте любовь в собственном смысле была подобна золотой жиле, неведомой и нетронутой в недрах горы.

Пусть теперь читатель припомнит, чем было полно его сердце; выше мы упоминали об этом. Никакой брак не был возможен между ними, даже брак духовный; и тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и любовные увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов, тех сменяющих друг друга оттенков зелени — светло-зеленых и темно-зеленых, — какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, переваливших за пятый десяток. В итоге, — как мы уже не раз упоминали, — все это внутреннее слияние чувств, все это целое, равнодействующей которого явилась высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец, сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа; отец, в котором чувствовалась и мать; отец, любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем.

И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук, неуловимая, подобно облаку или воде, когда ему предстала эта убийственная истина и он подумал: «К кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я — только отец, я больше не существую»; когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе: «Она уходит от меня!» — скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал, — и вот итог! Как же так? Оказывается, он — ничто? Тогда, как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себялюбия, и «я» зарычало в безднах души этого человека.

Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав некие глубочайшие ее основы, которые составляют нередко самое существо человека. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные, роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными самим себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая, приходит в смятение. Жан Вальжан снова взял бювар и снова убедился в страшной истине; не сводя с него глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми строчками; можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится, — такой мрачной печалью веяло от него.

Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало — ибо страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи.

Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома, он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные; он вновь увидел пропасть — все ту же пропасть; только теперь Жан Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине.

Случилось нечто неслыханное и мучительное: он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце.

Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем, в каких бледнела, и сказал себе: «Это он». Прозорливость отчаяния — это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. С первых же догадок он напал на след Мариуса: он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникавших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искателя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов, дурака и подлеца, — ведь это подлость строить глазки девушке в присутствии отца, который так ее любит.

Твердо установив, что главный виновник того, что случилось, — этот юноша и что он — источник всего, Жан Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастья обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак — Ненависть.

Великая скорбь подавляет. Она разочаровывает в жизни. Человек, познавший скорбь, чувствует, как что-то уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже — зловещим. Увы! Даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биениям сердца, полного чистой любви, еще отвечает другое, когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль — впереди, когда вы полны жизненной силы, — даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы, все более и более тускнея, ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака!

Пока он размышлял, в комнату вошла Тусен. Жан Вальжан встал и спросил ее:

— Где это происходит? Вы не знаете?

Озадаченная Тусен только и могла спросить:

— Что вам угодно?

Жан Вальжан спросил снова:

— Ведь вы мне, кажется, говорили, что где-то дерутся?

— Ах да, сударь! — ответила Тусен. — В стороне Сен-Мерри.

Нам свойственны бессознательные побуждения, вызванные без нашего ведома самой затаенной нашей мыслью. Вероятно, под влиянием такого побуждения, которое едва ли сознавал он сам, Жан Вальжан через пять минут очутился на улице.

С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивался.

Наступила ночь.

#### Глава 2

#### Гаврош — враг освещения

Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе какую-нибудь твердую точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы ответить.

Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома № 7, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот, неподвижный, словно превратившийся в ледяную статую призрак. Одно из свойств отчаяния — замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы. Перекрывая гул торопливых беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественно и не торопясь, пробили одиннадцать; ибо набат — дело рук человеческих, время — дело божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана; он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны Центрального рынка, и затем снова, еще более оглушительный; вероятно, то началась атака баррикады на улице Шанврери, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При этом двойном залпе, ярость которого, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь.

Он возобновил мрачную беседу с самим собою. Вдруг он поднял глаза, — по улице кто-то шел, неподалеку от него слышались шаги; он взглянул и при свете фонаря у здания Архива, где кончается улица, увидел бледное, юное и веселое лицо.

На улицу Вооруженного человека пришел Гаврош.

Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал. Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания.

Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз; поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей; все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом, гамен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием:

— Черт побери!

Потом снова начал смотреть вверх.

Жан Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому сам не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком.

— Малыш, — сказал он, — что тебе надо?

— Мне надо поесть, — откровенно ответил Гаврош. И прибавил: — Сами вы малыш.

Жан Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету.

Но Гаврош, принадлежавший к породе трясогузок и быстро перескакивавший с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь.

— Смотрите-ка, — сказал он, — у вас тут еще есть фонари! Вы не подчиняетесь правилам, друзья. Это непорядок. А ну-ка разобьем это светило.

И он бросил камнем в фонарь; стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие за своими укрытиями в доме напротив, закричали: «Вот и начинается девяносто третий год!»

Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно.

— Так, так, старушка-улица, — одобрил Гаврош, — надевай свой ночной колпак. — И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил: — Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду, вот было бы славно!

Жан Вальжан подошел к Гаврошу.

— Бедняжка, — пробормотал он про себя, — он хочет есть.

И сунул ему в руку пятифранковую монету.

Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого «су»; он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах; их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко. Он сказал: «Поглядим-ка на этого тигра».

Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и величественно сказал:

— Буржуа, я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя. Меня не подкупишь. Он о пяти когтях, но меня не оцарапает.

— Есть у тебя мать? — спросил Жан Вальжаи.

— Уж скорей, чем у вас, — не задумываясь, ответил ему Гаврош.

— Тогда возьми эти деньги для твоей матери, — продолжал Жан Вальжан.

Гавроша это тронуло. Кроме того, он заметил, что говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие.

— Вправду? — спросил он. — Это не для того, чтобы я не бил фонари?

— Бей, сколько хочешь.

— Вы славный малый, — заметил Гаврош.

И опустил пятифранковую монету в карман. Доверие его возросло, и он прибавил:

— Вы живете на этой улице?

— Да, а что?

— Можете вы мне показать дом номер семь?

— Зачем тебе дом номер семь?

Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием:

— Да так!

У Жана Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятой тревогой, свойственны такие озарения.

— Может быть, ты принес мне письмо, которого я ожидаю? — спросил он.

— Вам? — сказал Гаврош. — Вы не женщина.

— Письмо адресовано мадемуазель Козетте, не так ли?

— Козетте? — проворчал Гаврош. — Как будто там так и написано. Смешное имя!

— Ну так вот, — ответил Жан Вальжан, — я-то и должен передать ей письмо. Давай его сюда.

— В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады?

— Конечно, знаю.

Гаврош сунул руку в другой свой карман и вытащил сложенную вчетверо бумагу.

Затем он сделал под козырек.

— Почет депеше, — сказал он. — Она от временного правительства.

— Давай, — сказал Жан Вальжан.

Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой.

— Не думайте, что это любовная цидулка. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретки всяким дурищам.

— Давай.

— Право, вы, кажется, славный малый, — продолжал Гаврош.

— Давай скорей.

— Нате.

Он вручил бумажку Жану Вальжану.

— И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксета ждет не дождется.

Гаврош был весьма доволен своей остротой.

— Куда отнести ответ? — спросил Жан Вальжан. — К Сен-Мерри?

— Ну и ошибетесь немножко, — воскликнул Гаврош, — как говорится, пирожок — не лепешка. Это письмо с баррикады на улице Шанврери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин.

С этими словами Гаврош ушел, или, лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру, с неослабевающей быстротой метательного снаряда; улица Вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной; в мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись там, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез, если бы через несколько минут громкий треск разбитого стекла и раскатистый грохот фонаря, обрушившегося на мостовую, вдруг снова не разбудил негодующих обывателей. То орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом.

#### Глава 3

#### Пока Козетта и Тусен спят...

Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса. Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума, и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусен спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью Фюмада три или четыре спички, прежде чем он зажег одну, так сильно дрожала его рука; то, что он сейчас делал, было похоже на воровство. Наконец свеча была зажжена, он облокотился на стол, развернул записку и стал читать.

Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а, можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти ненависти или ликования; он перебегает к концу, перескакивает к началу. Внимание его лихорадочно возбуждено; оно схватывает в общих чертах, приблизительно лишь самое существенное; оно останавливается на чем-нибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан Вальжан увидел лишь следующие слова:

«...Я умираю. Когда ты будешь читать это, моя душа будет уже подле тебя».

Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость; была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с каким-то пьяным изумлением; ему представилось великолепное зрелище — смерть ненавистного существа.

В душе он испустил дикий вопль восторга. Итак, все это кончилось. Развязка наступила скорей, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Этот Мариус уходит из жизни сам, без принуждения, по доброй воле. Без его, Жана Вальжана, участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, «этот человек» скоро умрет. А может быть, уже умер. Тут, в лихорадочном своем возбуждения, он стал прикидывать в уме. Нет. Он еще не умер. Письмо было, по-видимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром; после двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полуночью, ничего не произошло; баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете; но все равно, с той минуты, как «этот человек» вовлечен в восстание, можно считать его погибшим, он попал между зубчатых колес. Жан Вальжан почувствовал, что пришло его освобождение. Итак, он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству, вновь открывалось перед ним будущее. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с «этим человеком». «Остается только не препятствовать тому, чему суждено свершиться, — думал он. — Этот человек не может спастись. Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье!»

Сказав себе все это, он стал мрачен.

Затем он спустился вниз и разбудил привратника.

Приблизительно час спустя Жан Вальжан вышел из дома, с оружием, в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка, полная патронов. Он направился в сторону Центрального рынка.

#### Глава 4

#### Излишний пыл Гавроша

Тем временем с Гаврошем произошло приключение. Добросовестно разбив камнем фонарь на улице Шом, он вышел на улицу Вьейль-Одриет и, не встретив там «даже собаки», нашел случай подходящим, чтобы затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило. Вдоль заснувших или напуганных домов посыпались следующие зажигательные куплеты:

Злословил дрозд в тени дубравы:

«Недавно с девушкой одной

Какой-то русский под сосной...»

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Дружок Пьерро, ну что за нравы,

Ты, что ни день, всегда с другой!

К чему калейдоскоп такой?

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Подчас любовь страшней отравы!

За горло нежной взят рукой,

Терял я разум и покой.

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

О, где минувших дней забавы!

Лизон играть хотела мной,

Раз, два... и обожглась игрой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Когда Сюзетта — боже правый! —

Метнет, бывало, взгляд живой,

Я весь дрожу, я сам не свой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Я перелистываю главы,

Мадлен со мной в тиши ночной,

И что мне черти с сатаной!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Но как причудницы лукавы!

Приманят ножки наготой —

И упорхнут... Адель, постой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Бледнели звезды в блеске славы,

Когда с кадрили, ангел мой,

Со мною Стелла шла домой.

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Распевая, Гаврош усиленно жестикулировал. Жест — точка опоры для припева. Он корчил причудливые рожи, и его физиономия, неисчерпаемая сокровищница гримас, передергивалась, точно прорехи рваного белья, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один, дело происходило ночью, и этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты.

Внезапно он остановился.

— Прервем романс, — сказал он.

Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот, то, что в живописи называется «ансамблем», иначе говоря, некое существо и некую вещь; вещь была ручной тележкой, а существо — спавшим на ней овернцем.

Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съежившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли.

Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяницу. Это был какой-то уличный возчик, крепко выпивший и крепко спавший.

«Вот на что годятся летние ночи, — подумал Гаврош. — Овернец засыпает в своей тележке, после чего тележку берут для Республики, а овернца оставляют монархии».

Его ум только что осенила следующая блестящая идея: «Тележка отлично подойдет для нашей баррикады».

Овернец храпел.

Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги, и минуту спустя пьяница как ни в чем не бывало покоился, растянувшись на мостовой.

Тележка была свободна.

Гаврош, привыкший во всеоружии встречать неожиданности, носил при себе все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного карандаша, подтибренный у какого-то плотника.

Он написал:

«*Французская республика.*

Тележка получена».

И подписался:

«Гаврош».

Затем он засунул записку в карман плисового жилета продолжавшего храпеть овернца, взялся обеими руками за оглобли и, толкая перед собой грохочущую тележку, пустился во всю прыть в сторону Центрального рынка, торжествуя свою победу.

Это грозило опасностью. Возле королевской типографии находилась караульня. Гаврош не подумал об этом. Ее занимал отряд национальных гвардейцев предместья. Встревоженный отряд начал шевелиться, и головы то и дело поднимались на походных койках. Два фонаря, разбитые один за другим, песенка, распеваемая во все горло, — всего этого было слишком много для улиц-трусих, для улиц, где с самого заката тянет ко сну и где так рано надеваются на свечи гасильники. А уже с час уличный мальчишка бесновался в этой мирной округе, подобно забившейся в бутылку мухе. Сержант околотка прислушался. Он выжидал. Это был человек осторожный.

Отчаянный грохот тележки переполнил меру терпения и вынудил сержанта к попытке произвести расследование.

— Они здесь, целой шайкой! — воскликнул он. — Пойдем посмотрим потихоньку.

Было ясно, что гидра анархии вылезла из своего логова и бесчинствует в квартале.

И сержант, бесшумно ступая, отважился выйти из караульни.

Внезапно, как раз у выхода с улицы Вьейль-Одриет, Гаврош и его тележка столкнулись вплотную с мундиром, кивером, плюмажем и ружьем.

Он разом остановился вторично.

— Смотри-ка, — удивился Гаврош, — он тут как тут. Добрый вечер, господин общественный порядок.

Удивление Гавроша всегда длилось очень недолго.

— Ты куда идешь, оборванец? — закричал сержант.

— Гражданин, — ответил Гаврош, — я вас еще не назвал буржуа. Почему же вы меня оскорбляете?

— Ты куда идешь, шалопай?

— Сударь, — ответил Гаврош, — может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня утром вас лишили этого звания.

— Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, негодяй?

— Вы разговариваете очень мило. Право, вам нельзя дать ваши годы. Почему бы вам не продать свою шевелюру по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков.

— Куда ты идешь? Куда идешь? Куда? Говори, бандит!

— Какие скверные слова, — заметил Гаврош. — В следующее кормление, перед тем как дать грудь, пусть вам получше вытрут рот.

Сержант выставил штык.

— Ты скажешь, наконец, куда ты идешь, злодей?

— Господин генерал, — ответил Гаврош, — я ищу доктора для моей супруги, она родит.

— К оружию! — закричал сержант.

Спастись при помощи того, что вам угрожало гибелью, — вот верх искусства сильных людей; Гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела, значит, тележка должна и выручить.

В тот миг, когда сержант готов был ринуться на Гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный изо всей мочи, бешено покатила на него, и сержант, получив удар в самое брюхо, кувырком полетел в канаву, причем ружье его тут же разрядилось в воздух.

На крик сержанта гурьбой высыпали солдаты; ружейный выстрел повлек за собой общий беспорядочный залп, затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять.

Эта пальба наугад продолжалась добрых четверть часа, и пули поразили насмерть несколько оконных стекол.

Тем временем Гаврош, без памяти бросившийся назад, остановился за пять или шесть улиц от места происшествия и, запыхавшись, уселся за тумбу, отмечающую угол улицы Красных сирот.

Он внимательно прислушался.

Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя правой по затылку. Сей выразительнейший жест, в который парижские гамены вложили всю французскую иронию, по-видимому, живуч, так как он держится уже с полвека.

Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью.

«Так, — подумал он, — я хихикаю, помираю со смеху, нахохотался всласть, но я потерял дорогу. Хочешь не хочешь, а придется дать крюк. Только бы вовремя вернуться на баррикаду!»

Вслед за этим он продолжал свой путь.

«Ах да, на чем же это я остановился?» — стал он вспоминать на бегу.

И он снова запел свою песенку, быстро ныряя из улицы в улицу, а в темноте, постепенно затихая, звучало:

Скосило время вас, как травы,

Но тверд иных бастилий строй.

Друзья, долой режим гнилой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Сразимся в кегли для забавы!

Где шар? Один удар лихой —

И трон Бурбонов стал трухой.

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Бледнея, в Лувре ждут расправы,

Народ, монархию долой!

Мети железною метлой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Решетки не задержат лавы!

Ах, Карл Десятый, срам какой,

Летит за дверь — и в грязь башкой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Вооруженное выступление караула не оказалось безрезультатным. Тележка была захвачена, пьяница взят в плен. Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом как соучастник. Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка.

Приключение Гавроша, сохранившееся в преданиях квартала Тампль, является одним из самых страшных воспоминаний старых буржуа Марэ и запечатлено в их памяти нижеследующим образом: «Ночная атака на караульное помещение Королевской типографии».

1. В новом правописании: polonais (поляки) и hongrois (венгры). [↑](#footnote-ref-1)
2. Могучий (*лат*.). [↑](#footnote-ref-2)
3. Листья и ветви (*лат*.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Эшафот (*Прим. автора*.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Лень (*лат*.). [↑](#footnote-ref-5)
6. «Последний день приговоренного к смерти». *(Прим. автора.)* [↑](#footnote-ref-6)
7. Но где снега минувших лет? (*фр*.) [↑](#footnote-ref-7)
8. Шесть крепких лошадей тащили экипаж (*фр*.). [↑](#footnote-ref-8)
9. Однако следует заметить, что mac — по‑кельтски обозначает сын. (*Прим. автора*.) [↑](#footnote-ref-9)
10. Lirlonfa — свободно импровизируемый и лишенный смысла припев к куплетам песни. [↑](#footnote-ref-10)
11. Купидона. (*Прим. автора*.) [↑](#footnote-ref-11)
12. Я не понимаю, как господь, отец людей, может мучить своих детей и внуков и слушать их вопли, не мучаясь сам. (*Прим. автора*.) [↑](#footnote-ref-12)
13. Стих, порожденный возмущением (*лат*.). **Ювенал**. Сатира, 1. [↑](#footnote-ref-13)
14. В душе (*итал*.). [↑](#footnote-ref-14)
15. Para bellum — готовься к войне (*лат*.). Произношение bellum (*лат*.) — война сходно с bel homme (*фр*.) — красивый мужчина. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mondétour (*фр*.) — извилистая гора. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pot aux Roses (горшок роз) произносится так же, как Poteau rose (розовый столб). [↑](#footnote-ref-17)
18. Скоромные карпы (*фр*.). [↑](#footnote-ref-18)
19. Carpe horas (*лат*.) — лови часы — напоминает известную строчку Горация Carpe diem — лови день. [↑](#footnote-ref-19)
20. Matelote (матлот) — рыбное блюдо; gibelotte (жиблот) — фрикасе из кролика. [↑](#footnote-ref-20)
21. Горе побежденным! (*лат*.) [↑](#footnote-ref-21)
22. Тимбрейский Аполлон (*лат*.). [↑](#footnote-ref-22)
23. Не всем дано достигнуть Коринфа (*лат*.) — античная поговорка. [↑](#footnote-ref-23)